

J $\frac{62}{160}$

J $\frac{62}{160}$

2.

1934

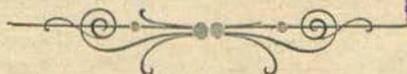
1934

B.

762.
160.
Л. Медвѣдевъ.

ВЪ ГИМНАЗИИ

СТРАНИЧКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ.



Москва—1904.

Изданіе книгопродавца М. В. Клюкина.
Моховая, д. Бенкендорфъ.

Въ книжномъ магазинѣ М. В. Ключкина

(Москва, Моховая, домъ Бенкендорфъ)

между прочими продаются слѣдующія книги:

изданія для дѣтей:

А. В. Разказы о русскихъ самоучкахъ. 1 и 2 в. ц. 35 к.

Андерсенъ Г. Избранныя сказки. Перев. подъ ред. М. Васильева, съ рис., изд. 2-е, ц. 40 к. Въ папкѣ ц. 55 к.

— Четыре разказа. Пер. подъ ред. М. Васильева, съ рис., ц. 20 к. Въ пап. 35 к.

— Гадкій утенокъ. Навозный жукъ. Двѣ сказки. Съ рисун., ц. 20 к. Въ пап. 30 к.

Бизлей. Разказы изъ Римской Имперіи. Новое изд. дополн. М. 1901 г., ц. 40 к. Въ пап. ц. 55 к.

Беклей Ар. Жизнь и ея дѣти. Очерки изъ жизни животныхъ, отъ простѣйшихъ до насѣкомыхъ. Съ рис. Пер. подъ ред. А. Никольскаго М. 1901 г., ц. 1 р.

Брассей А. „Вокругъ Свѣта въ одинадцать мѣсяцевъ“. Путевыя записки, съ рис., ц. 1 р. Въ папкѣ ц. 1 р. 25 к.

Блосовъ П. А. „Малыши“. Разск. и стихотвор. для дѣтей. Съ 35 рис. Изд. 3-е, М. 1900 г., ц. 30 к. Въ папкѣ ц. 45 к.

— „Мои дѣтства“. Разск. и стихотв. для маленькихъ дѣтей. Съ рис. Изд. 3-е. М. 1900 г., ц. 25 коп. Въ папкѣ ц. 40 к.

— „Росинки“. Разск. и стих. для дѣтей, съ рис., ц. 35 к. Въ папкѣ ц. 50 к.

— „Маминя сказки“. Съ рис., ц. 30 к. Въ папкѣ ц. 45 к.

Васильевъ М. „Въ дѣсу изъ полѣ“. Разск. для дѣтей. Съ 28 рис. въ текстѣ. Изд. 4-е М. 1901 г., ц. 30 к. Въ пап. ц. 45 к.

— „Ребятки“. Разк. и сказки для маленькихъ дѣтей. Съ 50 рис. въ тек. Изд. 3-е. М. ц. 98 г., 45 к. Въ папкѣ ц. 60 к.

— „Гурьбой“. Разк. и сказки. для маленькихъ дѣтей. Съ 25 рис. Изд. 3-е. М. 1901 г. ц. 30 к. Въ папкѣ ц. 45 к.

— „Изъ природы“. Разск. и сказ. изъ

жизни и природы. Для дѣтей младшаго возраста, съ рис. М. 98 г., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Изъ дѣтства“. Воспом. и разск. для дѣтей, съ рис. Изд. 2-е. М. 1901 г., 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Разскажи мнѣ“. Разказы изъ естест. исторіи для млад. возр. съ рис. М. 99 г., 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Изъ родного бита“. Разск. для дѣтей, съ рисун., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Изъ жизни простыхъ людей“. Разсказъ для дѣтей, съ рис., ц. 30 к. В. папкѣ 45 к.

— Маленькій работникъ, и др. разказы для дѣтей. Съ рисун., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— Сказки жизни и природы. Рус. писат., съ рис. Въ папкѣ 1 р.

— „Подростки“. Разказы и сказки русскихъ писателей, съ рис. Литвиненко. М. 99 г., 85 к. Въ папкѣ 50 к.

— „Посѣвы“. Сборникъ духовныхъ стихотвореній, ц. 40 к. Въ папкѣ 55 к.

— „Изъ прошлаго земли русской“. Сборн. стихотвор. истор. содержан. изъ русскихъ поэтовъ. Вып. I. Древняя Русь. М. 1901 г., ц. 50 к. Въ папкѣ 65 к.

— Тоже, выпускъ II. Новая Русь, цѣна 50 к. Въ папкѣ 65 к.

— Тоже выпускъ III. Богатыри, ц. 50 к. Владимировой, А. К. Въ Африкѣ на рѣкѣ Конго, перев. съ англійск., съ рисунками ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

Голова, Е. „Подруги“. Разказы для дѣтей, съ рис. изд. 2-е М. 1903 г., ц. 35 к. Въ папкѣ 50 коп.

Гофманъ и Гриммъ. Волшебныя сказки для дѣтей. Съ распр. рисунк. М. 99 г. Въ папкѣ 1 р. 25 к.

Гофманъ. Волшебныя сказки. Съ рис. М. 99 г., ц. 80 к. Въ папкѣ 1 р.

Гофманъ, Ф. Вѣднй мальчикъ.

Л. Медвѣдевъ.

762
160

ВЪ ГИМНАЗИИ

СТРАНИЧКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ.



МОСКВА.

ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА М. В. КЛЮКИНА.
Моховая, домъ Бенкендорфъ.



2007337452

Типографія Общества Распространенія Полезныхъ Книгъ,
арендуемая В. И. Вороновымъ.
Москва, Моховая, противъ Малеза, д. кн. Гагарина.

Вмѣсто предисловія.

Я очень люблю эту молодую, бодрую компанію.

Юношами ихъ назвать еще рано, дѣтьми, пожалуй, уже поздно. Это все народъ пятнадцати-шестнадцати-лѣтняго возраста. За ними уже осталось назади первое, беззаботное дѣтство, передъ ними впереди полная радостныхъ тревогъ юность, а затѣмъ широкое поле жизни...

Кто знаетъ, что ждетъ ихъ въ будущемъ? Можетъ быть это будущее для нѣкоторыхъ изъ нихъ свѣтло и радостно, какъ вешнее утро, а для другихъ темно и безпросвѣтно, какъ ненастная осенняя ночь. Можетъ быть однихъ изъ нихъ ждутъ только радости, другихъ только огорченія.

Кто можетъ знать, кто въ состояніи предреказать?..

Вѣрнѣе, всѣхъ ихъ ждетъ какъ то, такъ и другое.

Жизнь даетъ и то, и другое, однимъ меньше, другимъ больше, но для огромнаго большинства людей она чередуетъ хорошее съ дурнымъ, легкое съ тяжелымъ и пріятное съ огорченіемъ. Ихъ же жизнь только, только начинается, — она вся впереди.

Но первыя сознательныя мысли зарождаются уже теперь... И это для большинства людей лучшая пора жизни, лучшая потому, что есть много надеждъ и не наступила пора мудраго опыта и неизбѣжныхъ съ нимъ разочарованій.

Я хорошо помню эту пору своей жизни, люблю уноситься къ ней въ часы воспоминаній, когда остаюсь наединѣ съ самимъ собой и, ожидая неизбѣжнаго для всѣхъ

пехода, уже недалекаго, перебираю въ своей памяти многое изъ того, что мною пережито, передумано и перечувствовано...

Я сижу въ своей комнатѣ, а они рядомъ, за дверью, готовятъ на завтра уроки.

Не могу сказать, чтобы эти уроки готовились слишкомъ ужъ усердно... Въ промежуткахъ, и довольно частыхъ, молодежь разговариваетъ о разныхъ своихъ дѣлахъ и дѣлишкахъ.

Компанія состоитъ изъ моего сына и его товарищей по гимназiи. Собирается ихъ челоуѣкъ пять, шесть, поочередно въ разныхъ мѣстахъ: иногда у насъ, иногда въ другихъ семействахъ. Мы — взрослые — не любимъ ихъ тревожить; это тѣмъ болѣе, что и сами они ужъ не маленькіе, хотя иногда пожурить ихъ не мѣшаетъ, ибо они доказываютъ совершенно обратное: среди „серьезныхъ“ разговоровъ, вдругъ возьмутъ да и выкинутъ такое, что хоть прямо бѣги изъ дому.

До окончанія гимназическаго курса имъ остается еще почти три года, но они уже и въ настоящее время не прочь помечтать о будущемъ.

Подслушивать, что говорятъ другіе — вещь нехорошая. Я это отлично знаю, но, противъ моей воли, мнѣ приходится иногда слышать ихъ бесѣды. Согласитесь сами: не могу же я постоянно затыкать свои уши, а они, словно на зло, когда увлекутся и войдутъ, какъ говорится, въ азартъ, разсуждаютъ такъ громко, что голосъ ихъ не только слышенъ въ моей комнатѣ, а раздается рѣшительно по всей квартирѣ, не особенно, впрочемъ, большой.

— Ты, Володя, на какой факультетъ думаешь поступить? — спрашиваетъ одинъ изъ компаніи.

— На юридическій, — отвѣчаетъ Володя, при чемъ почему-то старается сказать это съ басовымъ оттѣнкомъ въ голосъ.

— А оттуда куда?

— Мало-ли куда: поступлю на службу, буду судебнымъ слѣдователемъ, потомъ прокуроромъ, а потомъ и дальше.

— Ну, вотъ, тоже, очень интересно... Неужели тебѣ приятно будетъ постоянно возиться съ ворами, мошенниками, иногда даже разбойниками?

— Я не говорю, что это приятно,—возражаетъ Володя поучительнымъ тономъ,—но за то я буду приносить пользу обществу.

Тутъ въ разговоръ вступаютъ другіе и начинается самое подробное обсужденіе достоинствъ и недостатковъ судебного поприща.

— А я, господа,—говоритъ кто-то другой,—рѣшилъ пойти на математическій факультетъ, а потомъ перейду или въ технологическій или въ горный институтъ, вообще по какой нибудь такой части.

— Такъ, вѣдь, этакъ тебѣ придется еще, Богъ знаетъ сколько времени, учиться.

— Ну, что же изъ того?

— А то, что надоѣсть. Мы ужъ будемъ дѣйствовать, а ты еще будешь студентомъ.

— За то потомъ большое поприще,—говоритъ будущій математикъ.

— Что же въ немъ особеннаго?

— Какъ что? Я сдѣлаюсь инженеромъ. У меня дядя инженеръ путей сообщенія.

— Ну, такъ что же, что дядя? Развѣ племянникъ непременно обязанъ сдѣлаться тѣмъ, что его дядя. У меня, вотъ, дядя купецъ, а я купцомъ быть не хочу,—вступаетъ въ разговоръ новый собесѣдникъ.

Будущій инженеръ, однако, возражаетъ довольно разумно:

— Да я и не говорю, что всякій племянникъ долженъ подражать своему дядѣ, а просто мнѣ это дѣло нравится. Къ тому же этотъ родъ дѣятельности и деньги хорошія приноситъ.

Очевидно, этотъ молодой человѣкъ смотритъ на жизнь, главнымъ образомъ, съ практической стороны и, помимо той пользы, которую намѣренъ приносить обществу въ качествѣ инженера, не хочешь забывать и своихъ личныхъ интересовъ.

Мой сынъ колеблется: онъ еще не выбралъ себѣ окончательной профессіи, но, кажется, собирается сдѣлаться докторомъ.

— Облегчать человѣческія страдапія—это великая вещь,—говоритъ онъ.—Вотъ, напримѣръ, хотя бы мама моя. Она совѣмъ умирала, мы такъ боялись за нее, а профессоръ сдѣлалъ ей операцію и, оправившись, она теперь совершенно здорова.

— Такъ ты, выходишь, прямо въ знаменитости намѣренъ попасть?—спрашиваетъ кто-то изъ собесѣдниковъ, и спрашиваетъ не безъ нѣкоторой язвительности.

— Этого я не знаю, можетъ и знаменитостью буду, а можетъ быть и самымъ обыкновеннымъ докторомъ. Во всякомъ случаѣ, задача облегчать страданія...

— И получать за это по рублю за визитъ, — насмѣшливо перебиваетъ тотъ мальчикъ, который намѣревается сдѣлаться инженеромъ.

— За то не попаду подъ судъ!—рѣзко отвѣчаетъ будущій цѣлитель человѣческихъ немощей.

— То есть, какъ подъ судъ?—спрашиваетъ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ инженеръ.

— Да такъ, очень просто: возьмутъ и отдадутъ подъ судъ,—сердито отвѣчаетъ докторъ.

— За что?

— А вотъ будешь гнилыя шпалы ставить на желѣзную дорогу, возьмутъ и засудятъ.

Инженеръ начинаетъ тоже сердиться. Почему это инженеры непременно должны ставить гнилыя шпалы? Правда, бываютъ и такіе, но онъ то ужъ такимъ никогда не будетъ, онъ станетъ поставлять самыя прекрасныя шпалы. Дядя его никогда гнилыхъ шпалъ не ставилъ, а, однако, имѣетъ два собственныхъ дома. Наконецъ, онъ знаетъ такихъ докторовъ, которые умышленно затягиваютъ болѣзнь своихъ пациентовъ съ цѣлью получить побольше денегъ.

— Почему ты предполагаешь, что я буду затягивать болѣзнь?—грозно спрашиваетъ будущій докторъ.

— Я о тебѣ не говорю, но какое ты имѣешь право

утверждать, что я попаду подъ судъ за гнилыя шпалы?—
вопрошаетъ инженеръ свирѣпымъ голосомъ.

Готова вспыхнуть ссора, такъ какъ оба—и инженеръ
и медикъ—уязвлены въ самыхъ лучшихъ своихъ чувст-
вахъ и мечтаніяхъ. Но на помощь приходитъ новое ли-
цо, которое, вообще, отличается гораздо большей молча-
ливостью и скромностью, нежели всѣ остальные члены
компаніи.

— Господа,—раздается протяжный и довольно пѣ-
вучій голосъ, до того времени не слышный,—перестаньте
спорить, а то вы еще, пожалуй, подеретесь, какъ перво-
классники.

— А почему же онъ говорить!..

— Съ какой стати онъ смѣетъ!..

Такъ единовременно, съ горячностью, восклицаютъ
оба спорщика.

— Все это чепуха,—говоритъ примиритель.—Ты мо-
жешь быть самымъ честнымъ докторомъ, а онъ самымъ
порядочнымъ инженеромъ. А если оба вы станете плу-
товать, такъ тутъ ужъ вмѣшается Володя.

— Почему Володя?—спрашиваютъ инженеръ и док-
торъ.

— А потому что, какъ судебное лицо, онъ обязанъ
будетъ вмѣшаться, и тогда обоихъ васъ засадятъ подъ
замокъ, а то еще зашлютъ, куда Макаръ телять не го-
няетъ.

Раздается веселый смѣхъ и ссора забыта. Примиритель—Вася Костяковъ. Это самый кроткій изъ всей
компаніи. У него тоже есть планы на будущее и онъ,
обыкновенно молчаливый и задумчивый, иногда съ боль-
шимъ одушевленіемъ говорить о томъ, какъ, по окончаніи
гимназій, поступитъ на филологическій факультетъ и
сдѣлается учителемъ словесности или исторіи.

— Ну, вотъ, тоже охота,—возражаютъ ему другіе,—
возиться съ какими-то тамъ мальчуганами и ставить имъ
единицы.

— Почему же непременно единицы?—недоумѣваетъ
будущій педагогъ.

— Всѣ они на одинъ покрой... Поймать, когда не знаешь урока и влѣпить единицу.

— Ну, это, братцы, чушь. За что, скажи на милость, я зря единицу тебѣ ставить буду?.. Мнѣ самому пріятнѣе удовлетворительную отмѣтку поставить...

— Такъ развѣ можно ставить только хорошіе баллы?— изумляется компанія, которая уже видала на своемъ вѣку всякіе виды, отъ пятерки до единицы включительно, и отлично знаетъ, что безъ послѣдняго предмета никакъ при иныхъ обстоятельствахъ обойтись немислимо.

— Да я не говорю этого,—возражаетъ Вася,—иногда, конечно, ничего не подѣлаешь, но, согласитесь сами, что вѣдь это вы чушь говорите, что всякій учитель только и старается о томъ, чтобы сбить ученика.

Начинаются по этому поводу разсужденія. Въ концѣ концовъ торжествуетъ мнѣніе Васи.

— Такъ-то оно такъ,—говоритъ кто-то,—а все таки, братъ Васыка, незавидная это доля быть учителемъ.

— Ну, это какъ кому, а мнѣ лучшаго не надо. Мнѣ это дѣло по душѣ, я люблю словесность, люблю исторію и хочу, чтобы и другіе любили.

Мнѣ лично Вася нравится больше всѣхъ товарищей моего сына. Всѣ они славные ребята и всѣхъ ихъ я очень люблю, но Вася самый развитой и самый толковый изъ нихъ. Учится онъ не хуже и не лучше другихъ, но по любимымъ предметамъ работаетъ очень серьезно. Весь кружокъ и думаетъ, и читаетъ, но Вася, кажется, одинъ прочелъ столько, сколько всѣ остальные взяты вмѣстѣ, и прочелъ толково, критически относясь къ прочитанному. Мнѣ думается, что Вася пробуетъ иногда самъ писать... Объ этомъ я съ нимъ никогда, почему то, не говорилъ, хотя, вообще, бесѣдовалъ съ нимъ чаще, чѣмъ съ другими, такъ какъ онъ часто беретъ у меня на прочтеніе разныя книги, преимущественно по русской литературѣ. Ему только пятнадцать лѣтъ, а корифеевъ нашей словесности—Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, гр. Толстого, Бѣлинскаго и многихъ другихъ онъ знаетъ чуть ли что не наизусть.

Можетъ быть, именно по этой причинѣ я нѣсколько пристрастенъ къ нему... По общности склонностей, такъ сказать. Спорить не стану.

— Господа,—вдругъ раздается голосъ какого нибудь изъ будущихъ дѣятелей,—какъ вы думаете, кто самый сильный у насъ въ классѣ?

— Сеницынъ!—откликается кто-то.

— Кулаковскій!—воскликаетъ другой.

— Ну, тоже сказалъ, куда онъ ходитъ твой Кулаковскій. Помнишь, какъ тогда они боролись.

— Такъ что-же?

— А то, что Сеницынъ его подмялъ подъ себя такъ, что мы даже испугались,

— Такъ это было неправильно, онъ ему подставилъ ногу.

— Да все равно онъ сильнѣе!

— Нѣтъ, нѣтъ, Кулаковскій сильнѣе. Сеницынъ только ловче, а Кулаковскій силенъ, какъ медвѣдь.

И тутъ ужъ совершенно позабываются будущія профессіи. Инженеръ кричитъ, что сильнѣе всѣхъ Кулаковскій, юристъ доказываетъ, что Кулаковскому далеко до Сеницына, какъ небу до земли, и даже серьезный и вдумчивый филологъ Вася Костяковъ принимаетъ въ этомъ спорѣ самое живое участіе. Пятнадцатилѣтніе подростки, считающіе себя уже „большими“, становятся совершенными дѣтьми и съ рвеніемъ, достойнымъ гораздо болѣе почетной участи, спорять о такомъ въ сущности нелѣпомъ вопросѣ.

— А кто изъ насъ сильнѣе?—вдругъ задаетъ вопросъ, склонный къ юриспруденціи Володя.

— Я!—кричитъ человекъ съ медицинскими наклонностями.

— Нѣтъ, я!—перебиваетъ инженеръ.

— Давай поборемся.

— Давай!

Сказано, сдѣлано. Я уже слышу глухую возню въ сосѣдней комнатѣ. Кто-то кого-то повалилъ.

— Осторожнѣе, господа, столъ перевернете, — раздается голосъ Васи Костякова.

Но на него не обращаютъ ни малѣйшаго вниманія. Возня усиливается; очевидно, и другіе приняли въ ней непосредственное участіе. Докторъ и прочая компанія несомнѣнно увлеклись... Скоро поднимается превеликая кутерьма...

Вдругъ въ прихожей раздается звонокъ.

Кто-бы это могъ быть?..

Черезъ нѣсколько мгновеній въ дверяхъ моей комнаты показывается фигура нашей кухарки. На лицѣ у нея не то недовольное, не то таинственное выраженіе.

Спрашиваю, кто пришелъ?

— Кухарка отъ нижняго квартиранта, — шепотомъ говоритъ она.

— Что ей нужно?

И, дѣйствительно, я рѣшительно не могу сообразить, для какой надобности могла пожаловать ко мнѣ кухарка нижняго квартиранта.

— Ихній баринъ жалуются.

— На что?..

— На безпокойство жалуются. Мочи моей, говорятъ, нѣтути.

— Какой мочи, почему?

— Отъ емназистовъ этихъ самыхъ: топочуть, говорятъ, надъ самой головой, ровно цѣльный табунъ лошадиный.

Такъ вотъ оно въ чемъ суть. Въ самомъ дѣлѣ, нижній квартирантъ совершенно правъ. У него въ гостяхъ нѣтъ ни будущаго доктора, ни будущаго юриста, ему, наконецъ, нѣтъ ровно никакого дѣла до ихъ будущей дѣятельности, но есть полное основаніе желать спокойствія. Возражать тутъ нечего. Я говорю своей кухаркѣ, чтобы она сказала нижней кухаркѣ, что возможные мѣры для водворенія тишины и спокойствія будутъ мною приняты.

И я вызываю сына и обращаюсь къ нему съ соотвѣтственной рѣчью...

Ничего не подѣлаешь, это моя нравственная обязанность по отношенію къ нижнему квартиранту, который,

какъ никакъ, все таки мой ближній, ибо смертенъ, какъ и я, а слѣдовательно вполне основательно желаетъ покоя и въ этой жизни.

Сынъ возвращается къ товарищамъ, что-то тихонько говоритъ имъ и, вотъ, кто нибудь болѣе благоразумный предлагаетъ.

— Однако, господа, надо продолжать занятія.

— Давайте,—откликается общій хоръ.

— Что у насъ тамъ осталось?

— Алгебра.

И черезъ минуту изъ комнаты, гдѣ водворяется относительная тишина, до меня доносятся слова:

— Извлечъ корень кубическій...

И нѣкоторое время комната представляетъ изъ себя самый настоящій храмъ чистѣйшей математической науки.

Я слышу, какъ будущій инженеръ бойко разъясняетъ будущимъ докторамъ и юристамъ не совѣмъ легкія для нихъ тайны алгебры.

Надолго-ли только это спокойствіе?.. Кажется, кто-то ужъ спросилъ, скоро ли въ гимназіи будетъ литературно-музыкальный вечеръ.

По окончаніи уроковъ компанія пьетъ чай, слегка перекусываетъ, чѣмъ Богъ послалъ, потомъ опять учиняетъ что-то шумное и, наконецъ, расходится, при чемъ въ прихожей бесѣдуетъ минутъ по меньшей мѣрѣ десять о самыхъ разнородныхъ предметахъ.

Сегодня наша очередь, а завтра они сойдутся уже у другого товарища, и если тамъ кухарка нижняго квартиранта не придетъ жаловаться родителямъ, то только лишь по той причинѣ, что родители сами живутъ въ нижнемъ этажѣ...

А по уходѣ гостей, когда и дома все улягутся, я остаюсь одинъ и невольно отдаюсь воспоминаніямъ.

Когда-то я переживалъ такія же минуты и хорошо, весело мнѣ было. Это „когда-то“ было уже давно, но многое изъ прошлаго сохранилось съ моей памяти настолько отчетливо и ясно, какъ будто происходило вчера.

Я въ свое время тоже собирался сдѣлаться...

Боже мой! Кѣмъ только я не собирался тогда сдѣлаться.

Прежде всего, это я очень хорошо помню, меня охватывало неудержимое стремленіе сдѣлаться... уланомъ. Да, именно, не драгуномъ, не кирасиромъ и даже не гусаромъ, а непременно уланомъ, и при томъ гвардейскимъ. Тогда была война, черезъ нашъ городъ проходила масса войскъ всякаго рода оружія, но больше всего произвели на меня впечатлѣніе гвардейскіе уланы. И мнѣ тогда казалось, что именно они самые храбрые изъ нашихъ солдатъ... Храбра пѣхота, храбра артиллерія, храбры казаки, но уланы, конечно, храбрѣе всѣхъ.

Впрочемъ, уланомъ я желалъ быть относительно недолго. Въ скоромъ времени послѣ того мое настроеніе перемѣнилось.

Я не видалъ моря, но ощутилъ въ себѣ серьезныя склонности настоящаго морского волка и хотѣлъ сдѣлаться морякомъ, а такъ какъ мнѣ въ то же время все таки хотѣлось еще и повоевать немножко, то непременно военнымъ морякомъ.

Но въ разгаръ таковыхъ мечтаній мнѣ случилось побывать на Черномъ морѣ и проѣхать на пароходѣ. Меня укачало, я испыталъ всѣ непріятности, такъ называемой, морской болѣзни и послѣ этого получилъ изрядное отвращеніе къ горько-соленой водѣ.

Послѣ этого меня стали плѣнять уже не военныя, а гражданскія доблести. Долгое время я, какъ и мой сынъ, собирался сдѣлаться докторомъ, потомъ хотѣлъ преподавать исторію, затѣмъ возымѣлъ непреодолимое влеченіе быть ученымъ натуралистомъ-естественникомъ и, наконецъ, правда недолго, меня прельщала слава астронома.

Вотъ только, могу это вспомнить съ твердой увѣренностью, никогда въ моихъ мозгахъ не зарождалось желаніе стать инженеромъ. Почему именно я не хотѣлъ этой вполне почтенной дѣятельности, не знаю, но знаю то, что никогда не хотѣлъ.

Изъ всѣхъ своихъ желаній я не осуществилъ ни одного, ибо судьба судила иное...

Многіе, какъ и я, думали одно, а случилось иное... Весьма вѣроятно, что тотъ товарищъ моего сына, который хочетъ быть инженеромъ, сдѣлается врачомъ, а мой сынъ инженеромъ...

Не въ этомъ дѣло... пусть только все они будутъ честными гражданами своей родины.

А вообще, отрадно помечтать на зарѣ своей юности.

У каждаго человѣка найдется интересное въ жизни, каждый имѣетъ что рассказать.

Что касается писателей въ частности, то „рассказывать“ даже прямо входитъ въ кругъ ихъ обязанностей. Юные сотоварищи моего сына напомнили мнѣ товарищей моей школьной жизни, а потому я, по мѣрѣ силъ и умѣнія, постараюсь рассказать то, что найду нужнымъ изъ своего ученическаго прошлаго.

Было въ немъ и радостное, было и горестное... Что касается меня лично, то я предпочитаю вспоминать о первомъ...

Вспоминая, снова переживаешь то, что когда-то было, а пережить хорошее такъ приятно, такъ сладко...

II

Мундиръ.

I

Первый разъ въ теченіе девяти лѣтъ моего пребыванія въ гимназій я сидѣлъ въ многочисленномъ обществѣ такихъ же приблизительно юныхъ представителей чело-вѣчества, какъ и я самъ, въ какой-то очень большой комна-тѣ, уставленной рядами длинныхъ, черныхъ скамеекъ.

За отдѣльнымъ столомъ, покрытымъ темнозеленымъ сукномъ, сидѣлъ священникъ, уже совсѣмъ старый, съ сѣдыми волосами, и нѣсколько другихъ лицъ, одѣтыхъ одинаково—въ темносиніе фраки съ золотыми пугови-цами.

Кромѣ нихъ, какъ разъ около той скамейки, на которой сидѣлъ я, стоялъ высокій господинъ въ очкахъ, въ такомъ же, какъ и всѣ, форменномъ фракѣ, и произносили слова громовымъ, какъ мнѣ тогда казалось, голосомъ.

Мнѣ было не то, что жутко, а прямо страшно. Отъ природы я вообще отличался застѣнчивостью, переходящею, порою, въ дикость, а непривычная обстановка пугала меня еще болѣе.

Высокій господинъ въ очкахъ диктовалъ, а я, какъ и прочіе, находящіеся здѣсь мальчики, писалъ...

„По дорогѣ имъ попадались разные люди — двоеточіе — мужики съ косами, бабы съ ведрами...“

Не помню ужъ теперь, что именно еще попадалось имъ по дорогѣ, кромѣ этого двоеточія, этихъ мужиковъ и бабъ, но хорошо запомнилъ, что двоеточіе попало навѣрно.

Я записалъ буквально то, что продиктовалъ высокій господинъ, а потому и былъ не мало смущенъ, когда онъ, взявъ отъ меня неписанный листокъ, разобрался въ нацарапанныхъ мною каракуляхъ и съ улыбкой замѣтилъ:

— Что же это вы написали?

Я молчалъ, ибо даже и не помнилъ, что именно написалъ.

— Вы тутъ написали, что имъ встрѣчалось двоеточіе.

Голосъ высокаго господина былъ ласковый, но мною овладѣло чувство окончательнаго страха. Все, что я въ то время понималъ, это то, что мнѣ, во-первыхъ, надо что-нибудь отвѣтить на вопросъ, а во-вторыхъ, куда-нибудь посмотреть. Второе я разрѣшилъ довольно удачно и быстро, — сталъ внимательно смотрѣть на полъ, хотя этотъ полъ ничего особеннаго изъ себя не представлялъ: полъ, какъ всякій полъ, окрашенный въ коричневую краску. Первое было труднѣе. Что отвѣтить?... А отвѣтить надо. Наконецъ, давась словами, я пролепеталъ:

— Вы такъ сказали.

— Такъ и надо было поставить двѣ точки, такъ какъ тутъ слѣдуетъ перечисленіе того, что встрѣтилось по дорогѣ, — сказалъ высокій господинъ.

Тутъ и я разомъ уразумѣлъ, въ чемъ дѣло. Знакъ прешинанія дома называли „двѣ точки“, а учитель выразился „двосточіе“... Съ перепугу я не сообразилъ, и получилось такое недоразумѣніе, которое, впрочемъ, никакихъ вредныхъ послѣдствій для меня не имѣло, такъ-какъ, за исключеніемъ этого попавшагося на дорогѣ двосточія, все остальное обстояло вполне благополучно.

— А басни вы знаете?—спросилъ меня высокій господинъ.

— Знаю!

Еще бы: я ихъ зналъ по меньшей мѣрѣ штукъ двадцать.

— Прочитайте какую-нибудь, — сказалъ высокій господинъ.

Я снова внимательно посмотрѣлъ на полъ.

— Какую?—рѣшился я, наконецъ, спросить.

— Какую хотите, какая вамъ больше нравится.

Какая басня мнѣ больше прочихъ нравится, я не зналъ, но единымъ духомъ выпалилъ крыловскую басню „Мартышка и очки“.

— Хорошо, — сказалъ высокій господинъ и, оставивъ меня въ покоѣ, сталъ спрашивать моего сосѣда.

Потомъ меня подозвали къ столу. Старикъ-священникъ спросилъ меня о выходѣ евреевъ изъ Египта и „Отче нашъ“. Это я зналъ твердо и, хоть дрожалъ всѣмъ тѣломъ, отвѣтилъ безъ запинки.

— Отлично, — сказали экзаменаторъ.

Осталось еще только одно испытаніе. Оно было тѣмъ ужаснѣе, что на этотъ разъ меня подозвали къ доскѣ, такой огромной, такой черной, какой мнѣ до того времени и видѣть не приходилось. Въ рукахъ у меня оказался кусокъ мѣлу, которымъ я совершенно плохо дѣйствовалъ и съ величайшимъ трудомъ начерталъ на доскѣ нѣкоторыя подобія цифръ, которыя мнѣ предложили разделить на какое-то число... Я, было, даже запутался въ какихъ-то пустякахъ, но, собравъ всю силу характера, подбодрился и довелъ дѣленіе до конца.

Послѣ этого мнѣ сказали, что я могу идти. Куда,—я

не зналъ, но мнѣ разъяснили, что я могу выйти изъ экзаменаціонной комнаты въ корридоръ. Не чувствуя подъ собою ногъ, едва давая себѣ отчетъ во всемъ, что со мною произошло, я открылъ дверь и вышелъ въ корридоръ. Если признаться откровенно, то мнѣ болѣе всего хотѣлось заплакать, и это, пожалуй, случилось бы, но, на мое счастье, первое лицо, встрѣтившееся мнѣ въ корридорѣ, былъ отецъ...

Присутствіе родного, близкаго человѣка успокоило меня, нервы выдержали, и слезъ не было...

Но, видно, и отецъ былъ въ тревожномъ настроеніи духа. Онъ взялъ меня за руку и вмѣстѣ со мною пошелъ вдоль по длиннѣйшему изъ корридоровъ, какіе только приходилось мнѣ видѣть до того времени...

Надо сказать вообще, что мнѣ, — привыкшему только къ своимъ, близкимъ людямъ, смѣлому только въ родномъ кружкѣ, — все, что я видѣлъ въ этотъ знаменательный для меня день, казалось чѣмъ-то слишкомъ особеннымъ, черезчуръ страннымъ. Еслибы кто-нибудь сталъ увѣрять меня, что черезъ какія-нибудь нѣсколько недѣль я ко всему этому привыкну такъ, что буду чувствовать себя лучше, нежели рыба въ водѣ, то я бы, конечно, никогда не повѣрилъ.

— Ну, что, какъ? — на ходу спрашивалъ отецъ.

— Не знаю, — отвѣтилъ я.

Лицо отца приняло озабоченный видъ.

— Что сказали по „русскому“?

— Сказали „хорошо“.

— А по „Закону“?

— Отлично.

Лицо папы прояснилось.

— А по ариметикѣ? — спросилъ онъ.

— Не знаю, — отвѣтилъ я.

— Что же тебѣ сказали? — не безъ тревоги спросилъ отецъ.

— Ничего не сказали.

И мнѣ, дѣйствительно, ничего не сказали. Но отецъ продолжалъ спрашивать:

— О чемъ тебя спросили?

— Дѣленіе.

— И ты вѣрно рѣшилъ?

— Кажется, вѣрно,—сказалъ я, ибо и самъ этого въ точности не зналъ.

— Ну, будь, что будетъ... подождемъ и узнаемъ,—со вздохомъ проговорилъ отецъ.

А ждать намъ пришлось-таки долго, часа, по меньшей мѣрѣ, три. Экзамены продолжались. Въ это время отецъ сталъ разговаривать съ какимъ-то другимъ господиномъ, испытывавшимъ, вѣроятно, тѣ же чувства, что и папа. Я ходилъ рядомъ съ отцомъ, а рядомъ съ господиномъ шагала его сынъ, мальчуганъ приблизительно моего возраста. Но, насколько были разговорчивы родители, настолько молчаливы оказались дѣти. Твердо помню, что въ тотъ день ни я, ни тотъ мальчикъ не обмѣнялись ни единымъ словомъ. А между тѣмъ впоследствии оба мы никогда молчаливостью не отличались и оказались далеко не такими тихонями, какъ могло показаться по первому впечатлѣнію. А ужъ если говорить правду, то въ самомъ непродолжительномъ будущемъ за нами можно было уемотрѣть совѣмъ противоположныя свойства; мы сдѣлались сорви-головами первѣйшаго сорта.

Но всему бываетъ конецъ, а слѣдовательно — и приѣмнымъ экзаменамъ въ приготовительный классъ К-ской 2-й гимназіи.

Экзаменаторы на время удалились въ совѣщательную комнату, „инспекторскую“, какъ мы ее называли потомъ, куда насъ частенько таскали „на расправу“ за разные грѣхи юныхъ дней. Совѣщались они тамъ довольно долго, а затѣмъ всѣхъ родителей пригласили въ ту комнату, гдѣ происходилъ экзамень.

— Постой здѣсь, подожди меня,—торопливо сказалъ папа и въ общей толпѣ родителей, отцовъ и матерей, направился по приглашенію. Куча мальчугановъ продолжала толкаться по коридору. Болѣе смѣлые стояли у самыхъ дверей страшной комнаты, при чемъ нѣкоторые даже подпрыгивали и старались заглянуть туда сквозь стекла, а болѣе робкіе жались у стѣнъ. Я принадлежалъ къ по-

слѣднимъ: у меня не было опыта какой-нибудь предварительной, начальной школы, какъ у многихъ другихъ. Я попалъ въ такой серьезный храмъ наукъ, какъ гимназія, прямо изъ-подъ семейнаго крылышка. Побывавшіе же въ школахъ не трусили... Они, на досугѣ, пробовали заводить между собою болѣе близкія отношенія и мѣстами вступали даже въ драки и ссоры...

Но вотъ двери снова распахнулись... Я быстро усмотрѣлъ отца и подбѣжалъ къ нему. Онъ выглядѣлъ очень весело.

— Поздравляю, братъ, приняли,—проговорилъ онъ и поцѣловалъ меня.

— Приняли?—переспросилъ я.

— Молодецъ, приняли, приняли!—говорилъ папа, съ довольнымъ видомъ потирая руки.

— Bravo!..

И я, совершенно забывъ свой недавній страхъ, подпрыгнулъ и захлопалъ въ ладоши...

Отецъ засмѣялся; засмѣялся и проходящій мимо господинъ въ форменномъ фракѣ, именно тотъ самый, съ которымъ у меня вышло маленькое недоразумѣніе относительно поповагося на дорогѣ двоеточія.

Мы вышли на улицу. Отецъ подозвалъ перваго попавшагося намъ навстрѣчу извозчика и, не торгуясь, велѣлъ ему ѣхать туда, гдѣ мы жили. Но не успѣли мы проѣхать и нѣсколькихъ десятковъ шаговъ, какъ онъ что-то припомнилъ и измѣнилъ свое рѣшеніе.

— Поѣзжай прямо.

И мы покатали на главную улицу города. У магазина, торгующаго готовыми шляпами, папа приказалъ остановиться.

— Слѣзай,—обратился онъ ко мнѣ.

Мы вошли въ магазинъ.

— Подберите-ка этому господину гимназическую фуражку,—сказалъ отецъ суетливому приказчику.

Я затрепеталъ отъ радости. Не стану описывать во всѣхъ подробностяхъ процесса примѣрки, скажу только, что чувство радости смѣнилось чувствомъ величайшей

гордости, когда, посмотрѣвъ въ зеркало, я увидѣлъ себя въ форменномъ кепи съ серебрянымъ гербомъ, на которомъ красовалось: „К. 2. Г.“.

Мнѣ казалось, что никогда еще до этого дня я не былъ такъ прекрасенъ, какъ въ этотъ разъ. Какимъ жалкимъ ничтожествомъ представлялась мнѣ моя соломенная шляпа въ сравненіи съ этимъ головнымъ уборомъ.

— Прикажете спрятать въ картонку?—спросилъ приказчикъ, когда отецъ уплатилъ деньги; но я рѣшительно запротестовалъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы спрячьте туда старую, а эту я надѣну. Папочка, можно?...

— Ну, конечно, ты вѣдь теперь гимназистъ,—согласился отецъ.

И когда, по выходѣ изъ магазина, мы снова сѣли на извозничій экипажъ, чтобы уже прямо ѣхать домой, я почувствовалъ себя другимъ человѣкомъ. Мнѣ казалось, что и тотъ извозчикъ, на которомъ мы ѣхали, и вся вообще проходящая мимо насъ публика,—все смотрѣли на меня съ величайшимъ уваженіемъ.

— Какъ ты думаешь,—спрашивалъ я отца,—сильно удивится мама?

— Еще бы,—стараясь казаться серьезнымъ, отвѣчалъ мнѣ отецъ.

— А бабушка, вѣроятно, еще больше?—продолжалъ я дѣлать дальнѣйшія предположенія.

— Бабушка, конечно, еще больше, — соглашался отецъ.

Я разговаривалъ исключительно только на одну эту тему и, должно быть, изрядно надоѣлъ своему родителю; но для меня эта бесѣда имѣла особенную прелесть, и я не замѣтилъ, какъ мы подъѣхали къ нашему дому.

И когда домашніе высыпали намъ навстрѣчу, чтобы узнать о результатахъ экзамена, всякіе разспросы оказались излишними, — форменная фуражка безъ словъ сказала все.

II.

Я былъ героемъ дня. Во время обѣда даже пили за мое здорovie. Не знаю, какъ прочіе, но кузина Лидочка была, дѣйствительно, удивлена и взволнована событіемъ.

— Къ тебѣ ужасно идетъ кепп, уж-а-асно идетъ, — говорила она, какъ-то особенно внушительно растягивая буквы.

Я, считая себя теперь достаточно важной особой, старался хранить степенный видъ и ничего не отвѣчалъ, хотя и самъ въ глубинѣ души находилъ, что форменная фуражка ко мнѣ „ужасно идетъ“. Я даже какъ-то особенно часто проходилъ въ этотъ день по залѣ, гдѣ стояло большое зеркало. Тамъ ясно отражалась моя фигура, и я не могъ отказать себѣ въ удовольствіи посмотрѣть на нее нѣсколько лишнихъ разъ.

Но главное торжество ждало меня спустя нѣсколько дней, хотя оно и было отчасти омрачено однимъ событіемъ, о которомъ скажу ниже...

Рано утромъ, на другой день послѣ экзамена, меня позвали въ кабинетъ къ отцу. Тамъ находились—отецъ, мачеха и какой-то человѣкъ съ рыжими волосами, огромнымъ птичьимъ носомъ и въ такомъ засаленномъ лапсердакѣ, какой мнѣ рѣдко когда приходилось видѣть. Это былъ нашъ постоянный портной, еврей, Лейба Зильберманъ или Зильберштейнъ... въ точности ужъ не помню его фамиліи.

— Снимите-ка съ него мѣрку, — сказала папа.

Эта исторія продолжалась довольно долго, при чемъ меня все время поворачивали въ разныя стороны, заставляли нагибаться и тому подобное...

— Когда будетъ готово?—спросилъ отецъ, послѣ того какъ мѣрка была снята.

Портной обѣщалъ принести „мундиръ“ для примѣрки черезъ четыре дня.

— Смотрите-же, Лейба, постарайтесь хорошенько сшить,

не испортить; сукно вѣдь дорогое,—говорилъ папа, когда портной собрался уходить.

— Ахъ, и что вы, Михаилъ Петровичъ, беспокоитесь. И развѣ я не знаю, какъ шить хорошее платье. И развѣ я уже не шилъ для господъ гимназистовъ. Я уже сшилъ, можетъ, не одну сотню мундировъ, и всегда меня паны только благодарили и всегда мнѣ говорили, что „ты, Лейба, шьешь гораздо лучше всѣхъ и берешь гораздо дешевле всѣхъ“.

Черезъ четыре дня Лейба, дѣйствительно, какъ и обѣщаль, принесъ „мундиръ“ для примѣрки. Пока это было еще нѣчто безформенное, безъ рукавовъ и пуговицъ, сшитое, какъ говорится, на живую нитку. Примѣривъ и сдѣлавъ какія-то отмѣтки мѣломъ по сукну, портной удалился, а дня черезъ два появился вновь съ готовымъ мундиромъ.

Вотъ тутъ-то и произошелъ вышеупомянутый эпизодъ, нѣсколько омрачившій мое блаженство.

По моему глубокому убѣжденію, это былъ самый восхитительный изъ мундировъ. Синій цвѣтъ сукна, блестящія „серебряныя“ пуговицы, „серебряный“ галунъ на воротникѣ—все это было идеаломъ красоты. Но отецъ и мачеха посмотрѣли на дѣло нѣсколько иначе: они, послѣ внимательнаго осмотра, пришли къ заключенію, что въ плечахъ мундиръ тѣсенъ.

— Помилуйте, пань, что вы изволите говорить, — горячо протестовалъ Лейба, — развѣ такъ бываетъ тѣсно? Тутъ вовсе не тѣсно, тутъ сидитъ, какъ вылитое, и въ этомъ мундирѣ молодой паничъ смотритъ настоящимъ красавцемъ.

— Папочка,—поддерживалъ и я, хотя, надо сказать правду, въ плечахъ изрядно жало, — мундиръ вовсе не тѣсенъ.

Но отецъ былъ неумолимъ и приказалъ передѣлать. Портной съ обидчивымъ видомъ удалился, а я былъ серьезно огорченъ. Теперь, почувствовавъ всю прелесть хождения въ мундирѣ, хотя и на короткій срокъ, я уже сознавалъ, что во всякомъ другомъ костюмѣ буду не-

счастливымъ человѣкомъ. Я сталъ желать мундира всѣми силами своей души, я понималъ, что даже форменная фуражка по сравненію съ мундиромъ—вещь совершенно ничтожная. И вотъ, пришлось ждать еще цѣлыхъ два дня, пока, наконецъ, снова появился Лейба съ завѣтнымъ узломъ.

На этотъ разъ все было хорошо.

— Ну, теперь, пока что, сними мундиръ. Черезъ три дня пойдешь въ гимназію, тогда надѣнешь, — сказалъ отецъ.

Боже мой!... Только что надѣлъ и вдругъ — снять. Я прямо почувствовалъ, что начинаю холодѣть.

— Папочка, — взмолился я, — позволь мнѣ сегодня остаться въ мундирѣ, позволь мнѣ немножко погулять въ немъ.

Отецъ умѣхнулся и обратился къ мачехѣ:

— Ты какъ думаешь?

— Пусть его немножко погуляетъ, — улыбаясь, отвѣтила мачеха.

Я былъ спасенъ.

— Спасибо, мамочка, спасибо, — бросился я обнимать мачеху.

Надо сказать, что родной матери я почти не помнилъ, а мачеха у насъ была женщина рѣдкой доброты и относилась къ намъ такъ ласково и душевно, что мы, въ свою очередь, горячо любили ее, считая такой же близкой, какъ и родную мать.

Я немедленно надѣлъ фуражку и вышелъ на дворъ. Когда, проходя по залѣ, я увидѣлъ себя въ зеркалѣ, то не могъ не остановиться, чтобы не полюбоваться на себя. Мундиръ былъ длинный, ниже колѣнъ, рукава доходили до самаго конца пальцевъ, воротникъ упирался въ подбородокъ, такъ что голову приходилось держать неестественно приподнятой (дѣло въ томъ, что отецъ, рассчитывая на мой быстрый ростъ, распорядился сшить форменный нарядъ съ „запасомъ“), но на мой взглядъ лучше ничего не могло даже и быть.

Я смотрѣлъ въ зеркало и самъ на себя дивился.

Въ самый разгаръ моего восхищенія самимъ собой, въ комнату шумно вбѣжала Лидочка.

— Покажись-ка, покажись, — кричала она на ходу... И вдругъ слова замерли на ея устахъ. Она остановилась, вся пораженная чуднымъ зрѣлищемъ, испустила протяжный вздохъ и, наконецъ, вымолвила:

— Миша, ты прекрасенъ!

Я и самъ зналъ, что я прекрасенъ, но сохранилъ достоинство и ничего не отвѣтилъ.

— Миша, ты красавчикъ! — снова воскликнула Лидочка.

Я промолчалъ и на это. Тутъ Лидочка пришла окончательно въ восторгъ. Она хлопнула въ ладоши и бросилась меня обнимать.

— Ну, довольно, — сурово остановилъ я изліянія ея чувствъ, — что за телячьи нѣжности! Ты мнѣ запачкаешь мундиръ.

И дѣйствительно, запачкать знаменитый мундиръ казалось мнѣ тогда величайшимъ изъ преступленій. Увы, могъ ли я даже на моментъ допустить мысль, что черезъ какихъ-нибудь двѣ, самое большее три недѣли этотъ мундиръ будетъ весь въ самыхъ разнообразныхъ пятнахъ отъ жировыхъ до чернильныхъ включительно, что горничной Катѣ придется съ огромными усиліями очищать его отъ мѣла...

— Ну, однако, я пойду немножко пройтись, — сказалъ я и, бросивъ еще разъ взглядъ на зеркало, величественно направилъ свои стопы къ выходу.

— Ты куда же? — побѣжала Лидочка слѣдомъ за мною.

— Да такъ, пройдуся, — неопредѣленно отвѣтилъ я на ея вопросъ.

— И я съ тобой, только шляпку надѣну. Подожди чуточку, Миша, — быстро заговорила Лидочка и засуетилась, собираясь бѣжать за шляпкой.

Но въ мои соображенія отнюдь не входила прогулка „съ маленькой дѣвочкой“. Лидочка только на нѣсколько недѣль была моложе меня, но я, какъ никакъ, былъ уже гимназистомъ, а она еще „ничто“, такъ какъ отдать ее

въ учебное заведеніе, по причинѣ слабаго здоровья, предполагалось лишь черезъ два года. А потому я довольно сурово сказалъ:

— Я хочу пойти одинъ.

— Почему?—изумилась Лидочка.

— Мой отказъ былъ для кузины совершенной неожиданностью, такъ какъ до этого времени мы жили съ ней душа въ душу и были, такъ сказать, неразлучны.

Я хотѣлъ было промолчать, но Лидочка со слезами на глазахъ повторила „почему“, — и я долженъ былъ дать какой-нибудь отвѣтъ. И я далъ его съ чувствомъ величайшаго достоинства.

— Иногда человѣку хочется побыть одному. Я сегодня въ такомъ настроеніи.

И съ этими словами я направился къ выходу.

Лидочка, видимо, не только обидѣлась, но и разсердилась.

— Подумаешь... заважничаль!—пустила она мнѣ вдогонку.

Но я оставилъ ея замѣчаніе безъ всякаго вниманія и ушелъ съ твердымъ намѣреніемъ погулять по нашей улицѣ.

Къ моему глубокому удивленію, появленіе мое на улицѣ не вызвало никакого смятенія. Прохожіе не останавливались, ртовъ не раскрывали отъ удивленія, и всѣ шли по своимъ дѣламъ.

Впрочемъ, какой-то мальчуганъ, вынырнувъ изъ подворотни, сказалъ по моему адресу нѣчто довольно непочтительное и именно по той причинѣ, что я—гимназистъ. Спустя нѣкоторое время, въ подобныхъ случаяхъ я отстаивалъ честь гимназическаго мундира съ оружіемъ въ рукахъ, то-есть, попросту вступалъ съ обидчикомъ въ сраженіе, но на этотъ разъ я поступилъ иначе. Въ тотъ достопамятный день меня не столько интересовала честь моего мундира, сколько его новизна, чистота и блестящій видъ.

Я не вступилъ съ оскорбителемъ въ рукопашную и даже ничего ему не отвѣтилъ, ограничившись лишь уни-

чтожающимъ взглядомъ въ его сторону. Связываться съ разной мелюзгой мнѣ показалось ниже моего достоинства.

Я прошелъ и по другимъ улицамъ, но и тамъ моя особа тоже не произвела какого-нибудь исключительнаго впечатлѣнія, только проходящая мимо меня дама сказала своему спутнику:

— Вотъ потѣшный мальчуганъ.

Въ общемъ, наединѣ со своими мыслями я оставался часовъ около трехъ, послѣ чего почувствовалъ, что мнѣ ужасно хочется ѣсть. Я повернулъ домой и пришелъ какъ разъ во время, къ самому обѣду.

Мачеха сдѣлала было попытку предложить мнѣ переодѣться въ обычное „штатское“ платье, но я такъ горячо воспротивился этому предложенію и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ убѣдительно просилъ позволенія пообѣдать въ моемъ новомъ мундирѣ, что могло бы смягчиться и каменное сердце. А мачеха обладала не каменнымъ, а самымъ мягкимъ изъ сердець и потому не стала настаивать на своемъ предложеніи.

— Хорошо, — сказала она, — но только, пожалуйста, подвяжись салфеткой, чтобы не залить мундира супомъ или не закапать соусомъ.

Въ сущности условія были довольно унижительны. Два послѣдніе года я усиленно боролся противъ салфетки, которую, по моему мнѣнію, подобало подвязывать только самымъ маленькимъ дѣтямъ, и своего достигъ: въ обычное время подвязываться салфеткой меня не принуждали. На этотъ разъ я, однако, безпрекословно согласился относительно салфетки: слишкомъ ужъ мнѣ не хотѣлось разстаться съ восхитительнымъ мундиромъ.

Послѣ обѣда я снова гулялъ, теперь уже не по улицѣ, а по двору и саду. Лидочка ходила рядомъ со мною. Она уже позабыла обиду. Сынъ нашего садовника, Омелько, глядѣвшій на меня не только съ восхищеніемъ, но и съ глубокимъ уваженіемъ, тоже сопровождалъ насъ, но мы прохаживались вполнѣ солидно и разговаривали на самыя серьезныя темы. Была одна попытка перейти къ болѣе легкомысленному занятію, но окончилась неудачно.

— Давай поиграемъ во что-нибудь, — предложила Лидочка.

— Нѣтъ, мнѣ сегодня что-то не хочется, — отвѣтила я и, вѣроятно, голосъ мой звучалъ такъ твердо и рѣшительно, что Лидочка, которой, повидимому, надоѣло ходить медленнымъ шагомъ и очень хотѣлось немножко побѣгать и порѣзвиться, даже не рѣшилась повторить свое предложеніе.

.....
— Ну, десять часовъ, пора и спать, — говорила мачеха поздно вечеромъ.

— Мамочка, позвольте еще немножечко посидѣть, — умолялъ я соннымъ голосомъ.

— Но вѣдь ты такъ въ мундирѣ и заснешь.

— О, нѣтъ, мамочка, я только еще десять минутъ.

— Ну, какъ знаешь.

И мачеха пошла укладывать Лидочку.

Я остался въ столовой на большомъ креслѣ. Тревоги пережитаго дня, долгія прогулки сильно меня утомили. Глаза мои слипались; однако, желая продлить наслажденіе, я боролся со сномъ, сколько могъ.

Но вотъ все земное стало меня покидать... Мнѣ стало такъ сладко, такъ хорошо... Мундиръ сталъ отходить въ область забвенія и, не думая уже ровно ни о чемъ, я погрузился въ сонъ...

— Такъ-таки и заснулъ въ новомъ платьѣ, — говорила мачеха, стараясь разбудить меня черезъ нѣсколько времени.

Я машинально перешелъ въ дѣтскую и тамъ, надо полагать, или самъ раздѣлся, или меня раздѣли...

Проснувшись на слѣдующій день, я уже отнесся къ мундиру болѣе равнодушно. Я сознавалъ, что, заснувъ, сдѣлалъ нѣкоторый промахъ и не настаивалъ на дозволеніи непременно облачиться въ мундиръ. Я надѣлъ его, спустя нѣсколько дней, когда пришлось впервые пойти въ гимназію.

Первый день.

Въ домѣ совершалось важное событіе.

Всѣ поднялись чуть ли, какъ говорится, не съ пѣтухами.

Въ гимназію мнѣ предстояло явиться къ девяти часамъ утра, но нужно было снарядить меня, какъ слѣдуетъ, а потому рѣшительно вся семья, включительно съ прислугой, посчитала своимъ нравственнымъ долгомъ принять участіе въ моемъ снаряженіи.

Впрочемъ, правилъ безъ исключенія, какъ извѣстно, не бываетъ, а потому и въ данномъ случаѣ было единственное исключеніе—мой старшій братъ...

Очъ, которому тоже сегодня надо было итти въ реальное училище, какъ человѣкъ бывалый и выдавшій на своемъ вѣку и не такіе еще виды, относился къ событію, столь важному для меня, довольно равнодушно, и одинъ въ цѣломъ домѣ продолжалъ спать, когда всѣ остальные находились въ тревогѣ и хлопотахъ.

Больше всѣхъ, даже, пожалуй, больше главнаго виновника этого знаменательнаго событія, т. е., вашего покорнаго слуги, волновалась кухня Лидочка. Эта почтенная и милая дѣвица носилась по всему дому, какъ угорѣлая, отдавала приказанія прислугѣ, дѣлала разнаго рода замѣчанія мнѣ (на что я, впрочемъ, отвѣчалъ довольно неучтиво, говоря, что все это не ея — дѣвченки дѣло и что я отлично знаю, какъ мнѣ нужно поступить въ томъ или иномъ отношеніи), давала совѣты мачехѣ и бабушкѣ, поминутно освѣдомлялась, который часъ, дабы не произошло опозданія, и такъ далѣе. Она простерла свои заботы даже настолько, что предложила проводить меня.

Но, увы, именно это-то, особенно любезное и даже, можно сказать, не только вполне безкорыстное, но и самоотверженное предложеніе, привело меня въ полное негодованіе.

— Убирайся ты со своимъ провожаніемъ. Очень мнѣ нужно, — возопилъ я такимъ свирѣпымъ голосомъ, что Лидочка больше уже не пробовала дѣлать дальнѣйшихъ попытокъ въ этомъ направленіи.

— Катя, гдѣ мои сапоги? — отчаянно взывалъ я по адресу горничной.

— Да они стоятъ около кровати, — суежилась Катя и шарила по всеѣмъ направленіямъ, но сапогъ ни около кровати, ни подъ кроватью не было.

— Куда жъ они дѣвались?! Я же, помните, сама подавала ихъ сюда, — волновалась прислужница.

— Катя, — снова кричалъ я, — гдѣ же сапоги? Вы ихъ, вѣроятно, оставили въ кухнѣ... Бѣгите скорѣй, а то я опоздаю.

Катя неслась въ кухню, но безъ успѣха: сапогъ и тамъ не было.

— Куда же они дѣлись... О, Господи-Боже, вотъ еще несчастіе на мою голову, — бормотала Катя.

— Опоздаю, ей Богу, опоздаю! — волновался я.

— Барышня! — обращалась Катя къ Лидочкѣ, — гдѣ панычевы сапоги? Можетъ, вы видѣли сапоги... Ей же Богу, я сама ихъ тутъ, около кровати, поставила.

— Не знаю, не видѣла, — отвѣчала ей Лидочка и сама принялась шарить, гдѣ только можно было.

И вдругъ Лидочка воскликнула.

— Да они у него на ногахъ, онъ уже надѣлъ ихъ.

Дѣйствительно, сапоги давнымъ давно были на своемъ законномъ мѣстѣ, т. е., на моихъ ногахъ, но отъ волненія я не замѣтилъ этого.

— Какъ же вы не видѣли, Катя? — укоризненно говорилъ ей я, словно именно она, а не я, должна была знать, что сапоги мною надѣты.

И Катя не возражала, неизвѣстно по какой причинѣ признавая себя виновной.

Но вотъ все сдѣлано. Я приведенъ въ должный порядокъ.

Книги, которыми я набилъ полный ранецъ еще съ кануннаго вечера, и учебныя пособія уложены. Въ ранцѣ, кромѣ книгъ, такая масса тетрадей, карандашей, перьевъ, писчей бумаги, которыхъ, при самомъ щедромъ расходованіи, должно хватить по меньшей мѣрѣ на полгода для самаго ученаго и письменнаго человѣка. Тяжесть ранца такова, какъ у добраго солдата, отправляющагося въ далекій походъ противъ басурманъ...

Теперь я могу пойти пить чай.

Эту операцію, на сей разъ, я произвожу уже въ полной гимназической формѣ. Теперь относительно мундира не возникаетъ никакихъ сомнѣній и никто не думаетъ о томъ, что я могу запачкать его, залить чаемъ или молокомъ.

Въ столовой всѣ, кромѣ вышеупомянутаго брата, въ полномъ сборѣ.

На лицахъ у всѣхъ печать полной торжественности.

Отецъ, вставшій изъ-за меня значительно раньше, оглядываетъ меня съ особенной нѣжностью.

— Ничего, молодцомъ, — одобрительно произноситъ онъ, — словно подбодряя меня, какъ подбодряетъ опытный полководецъ своихъ солдатъ передъ рѣшительнымъ сраженіемъ.

Мачеха смотритъ озабоченно.

— Пей, пей чай, — говоритъ она, — вотъ булка съ масломъ. Ъшь, а то проголодаешься.

Бабушка не говоритъ ничего, но какъ-то многозначительно вздыхаетъ.

Лидочка суетится.

У дверей Катя, и въ ея рукахъ мой ранецъ, набитый учебнымъ скарбомъ. Катя въ данномъ случаѣ напоминаетъ оруженосца при какомъ-нибудь знаменитомъ рыцарѣ.

Съ чаемъ, однако, покончено. Наступаетъ знаменательный моментъ.

Всѣ поднимаются съ мѣста.

Мачеха вручаетъ мнѣ какой-то внушительный свертокъ, обернутый въ газетную бумагу и тщательно завязанный бечевкой.

— Вотъ, возьми,—говоритъ она.

— Это что же такое?—спрашиваю я съ полнымъ изумленіемъ,—взято и приготовлено, кажись, рѣшительно все, что необходимо для исправнаго и исполнительнаго гимназиста, ученика приготовительнаго класа такой-то и такой-то классической гимназіи извѣстнаго губернскаго города. Кажется, все, но это такъ только кажется: заботливая женщина видитъ и предусматриваетъ все гораздо лучше, нежели мы—мужчины.

— Это твой завтракъ,—говоритъ она.—Захочешь поѣсть—найдешь, что надо.

И вдругъ происходитъ неожиданное вмѣшательство молчавшей до сихъ поръ бабушки.

— А кто же его проводить?—произноситъ она, вопросительно смотря на мачеху и отца.

— Какъ кто?—спрашиваетъ отецъ.

— Вѣдь не одинъ же онъ пойдетъ въ такую даль,—говоритъ бабушка...

Судя по ея тону, она не допускаетъ даже и мысли, что я могу пойти въ гимназію одинъ, безъ провожатаго.

— Ну, вотъ еще,—говоритъ отецъ примирительно,—онъ уже не такъ малъ и отлично найдетъ дорогу самъ.

— Въ такую даль!—повторяетъ бабушка.

— Но это вовсе не такъ далеко,—возражаетъ отецъ.

— Ахъ, Боже мой, нельзя же его пускать одного,—снова протестуетъ бабушка.

— Бабушка!—съ полнымъ отчаяніемъ восклицаю я.

Мнѣ даже жутко становится. Неужели же она осилитъ, неужели отецъ согласится послѣдовать ея совѣту. Это былъ бы прямо ужасный, несмываемый позоръ. Такая важная личность, какъ ученикъ приготовительнаго класса, и будетъ отправленъ въ гимназію подъ надзоромъ чуть ли не няньки, какъ какой-нибудь жалкій молкосось.

Но, слава Создателю, отецъ держится иного мнѣнія.

— Пустяки,—говорить онъ даже съ нѣкоторой до-
садой,—всѣ такъ ходятъ.

— Но мало ли что съ ребенкомъ можетъ слу-
читься,—произноситъ бабушка довольно язвительнымъ и
отчасти пророческимъ тономъ.

— Бабушка!—опять восклицаю я.

Я все еще боюсь, что, чего добраго, она все-таки на-
стоитъ на своемъ.

— Но что же можетъ случиться?—спрашиваетъ отецъ
и мнѣ совсѣмъ уже кажется, что онъ начинаетъ коле-
баться.

Бабушка говоритъ, что, во-первыхъ, я страшный ро-
тозей и меня при переходѣ черезъ улицу можетъ пере-
ѣхать извозчикъ, во-вторыхъ—на улицахъ встрѣчается
очень много пьяныхъ, которымъ рѣшительно ничего не
стоитъ обидѣть всякаго беззащитнаго ребенка, въ-треть-
ихъ—съ любого изъ строящихся домовъ можетъ свалить-
ся огромное бревно или цѣлый кирпичъ („теперь,—гово-
ритъ она,—это очень часто случается и о случаяхъ по-
добнаго рода ежедневно можно прочесть въ газетѣ“) и
если я не буду убитъ на мѣстѣ, то, во всякомъ случаѣ,
останусь калѣжкой на всю мою дальнѣйшую жизнь... Въ
четвертыхъ...

Словомъ, бабушка приводитъ множество могущихъ
случиться по пути моего слѣдованія случаевъ. Она, прав-
да, не упоминаетъ о томъ, что на меня можетъ напасть
шайка свирѣпыхъ разбойниковъ, что можетъ случиться
землетрясеніе или потопъ (утро превосходное и никаки-
ми стихійными бѣдствіями не грозитъ), что могутъ вой-
ти въ городъ непріатели и если не убитъ, то взять ме-
ня въ плѣнъ, не говоритъ она также и о томъ, что ме-
ня можетъ растерзать голодный тигръ или ужалить ядо-
витая змѣя, но, вѣроятно, все это она находитъ воз-
можнымъ.

Ея рѣчь настолько убѣдительна, что мачеха тоже
поколеблена.

— Въ самомъ дѣлѣ,—произноситъ она,—не послать
ли его съ Катей.

— Мама!—съ отчаяніемъ и мольбой въ голосъ, уже почти со слезами на глазахъ, восклицаю я.

Но, на мое счастье, папа гораздо тверже въ своихъ убѣжденіяхъ, чѣмъ это можно было предполагать.

— Пустяки, пустяки,—говоритъ онъ.

— Восемь часовъ... остается только часъ, — торжественно произноситъ Лидочка.

— Ну, иди, иди же... пора,—рѣшительнымъ тономъ говоритъ отецъ.

Катя подаетъ мнѣ ранецъ. Какъ отважный рыцарь надѣваетъ передъ боемъ латы и шлемъ, такъ и я напяливаю на свои плечи тяжеловѣсный ранецъ, надѣваю на голову гимназическую фуражку.

Мачеха креститъ меня, бабушка обнимаетъ съ такой отчаянной порывистостью, какъ будто прощается со мною передъ вѣчной разлукой.

— Будь осторожень, Бога ради, будь осторожень,—напутствуетъ она меня.

И торжественная процессія направляется къ параднымъ дверямъ.

Кстати сказать, въ парадныя двери я ушелъ изъ дому въ гимназію еще раза два, самое большее три, а потомъ всегда самымъ унижительнымъ, но зато гораздо болѣе удобнымъ образомъ уходилъ черезъ черный, кухонный ходъ.

Въ дверяхъ происходитъ еще одно трогательное прощаніе съ бабушкой и... я на улицѣ.

Я иду по тротуару бодро и смѣло, не поворачивая головы назадъ. Но я чувствую, что тамъ, у дверей отчаго дома, за мною слѣдятъ нѣсколько паръ сочувствующихъ глазъ...

Я иду и иду впередъ. Вотъ и конецъ нашей улицы, я поворачиваю за уголъ.

Съ каждымъ шагомъ я приближаюсь къ храму науки...

Приближаюсь съ наслажденіемъ и трепетомъ, ибо не знаю въ точности, что ожидаетъ меня тамъ, за желтыми стѣнами учебнаго заведенія....

Долженъ признаться откровенно, что въ дальнѣйшемъ, которое наступило черезъ нѣсколько дней и продолжалось потомъ неукоснительно, изо дня въ день, за исключеніемъ только воскресныхъ дней и праздниковъ, чувства, волновавшія меня по пути въ гимназію, были уже совершенно иного свойства: я приближался къ ней, не испытывая ни малѣйшаго трепета, но вмѣстѣ съ тѣмъ не чувствуя и наслажденія...

И торжественность проводовъ продолжалась весьма недолго...

Меня не только не провожали съ напутствіями, но къ моему уходу никто уже и не думалъ вставать съ кровати.

Даже бабушка, и та въ скоромъ времени позорно измѣнила. И если я возвращался не совѣмъ благополучно, т. е. съ синякомъ подъ глазами или шишкой на лбу, то вмѣсто соболѣзнованія (что всегда случалось въ первые дни), она только укоризненно покачивала головой и говорила:

— Хорошъ, нечего сказать.

А Лидочка!.. О, дерзкая дѣвченка, которую слѣдовало бы называть не Лидой, не Лидочкой, а самой скверной Лидкой... Она, потерявъ всякое уваженіе къ моей особѣ, частенько, при размолвкахъ, называла меня...

Нѣтъ, я даже не скажу, что она мнѣ говорила... А, впрочемъ, буду ужъ правдивымъ до конца. Прошлое умерло, а мертвые сраму не имутъ.

Она мнѣ часто говорила:

— Несчастный приготовишка!

Что еще сказать объ этомъ „первомъ днѣ“. Что чувствуютъ въ гимназій „новички“ — это большинству читателей извѣстно, а потому распространяться я не стану. Въ общемъ было и весело, и страшно.

Возвращеніе мое домой было тоже крайне торжественно... Разспросовъ было такое множество, что съ успѣхомъ могло бы быть и меньше, но я всемъ и каждому (отцу, мачехѣ, Лидочкѣ, горничной Катѣ и всемъ прочимъ) отвѣчалъ очень подробно и весьма охотно.

Однако, объдать (къ великой тревогѣ бабушки, находившей, что отсутствіе аппетита происходитъ отъ нервности, думавшей, что я даже нѣсколько нездоровъ и предлагавшей, на всякій случай, послать за докторомъ) я не могъ. И не могъ вотъ по какой причинѣ: когда, во время первой въ моей жизни „большой перемѣны“, я развернулъ данный мнѣ мачехой свертокъ (завернутый, какъ я уже говорилъ, въ газетную бумагу и тщательно перевязанный бечевкой), то тамъ оказалась такая уйма всякой снѣди, которой смѣло хватило бы и на пятерыхъ молодыхъ людей моего возраста.

Но я былъ добросовѣстенъ. Чтобы подкрѣпить утомленные уметвенной работой (мы въ первый день ничего не дѣлали) силы, я съѣлъ рѣшительно все, что у меня было, все до послѣдней крошки.

Впослѣдствіи я предпочиталъ получать вмѣсто завтрака натурой „пять копеекъ на завтракъ“.

И я всегда тратилъ этотъ капиталъ на что-нибудь... сладкое.

А на объдъ набрасывался, какъ голодный волкъ, такъ что бабушка нерѣдко замѣчала:

— Ну, и аппетитъ у этого ребенка. Право, даже страшно становится... Онъ можетъ объѣсться и заболѣть, такъ что придется посылать за докторомъ.

IV

„Карандаши“ и „паштеты“.

— Сегодня у насъ назначена драка съ „паштетами“. Ты пойдешь?

Съ такими словами, въ одинъ прекрасный день, во время большой перемѣны, ко мнѣ обратился одинъ изъ товарищей-второгодниковъ.

Въ качествѣ „хорошаго товарища“ я, конечно, былъ не прочь отъ того, чтобы съ кѣмъ угодно устроить дра-

ку, но для меня, еще повичка и младенца во всякаго рода гимназическихъ дѣлахъ, было совершенно непонятно, съ кѣмъ именно придется драться.

Какіе такіе „паштеты“?

Мои познанія по кухонной части простирались настолько, что я зналъ, что паштетомъ называется особеннаго рода пирогъ, но не съ пирогами же товарищъ предложилъ мнѣ вступить въ борьбу.

Это было бы совершенно непроизводительное и, по меньшей мѣрѣ, нелѣпное препровожденіе времени.

Съѣсть пирогъ, конечно, я согласился бы съ величайшимъ удовольствіемъ, но вступить съ нимъ въ сраженіе считалъ совершенно несомвѣстнымъ съ собственнымъ достоинствомъ.

Предложеніе почтеннѣйшаго „второгодника“ поставило меня въ крайне затруднительное положеніе. Съ одной стороны, изъ чувства товарищества, я не счелъ возможнымъ отказаться отъ лестнаго участія въ столь странномъ предпріятіи, съ другой же стороны, не желалъ дѣлать завѣдомую чепуху.

Нѣтъ, слѣдовательно, ровно ничего удивительнаго въ томъ, что я стоялъ противъ товарища съ разинутымъ отъ удивленія ртомъ и выпученными глазами.

Я даже немного испугался: мнѣ показалось, что товарищъ мой не совѣмъ въ здоровомъ умѣ и не вполне твердой памяти...

Бываютъ вѣдь внезапныя умопомѣшательства!

— Что ты сказалъ,—промолвилъ я, наконецъ,—съ кѣмъ назначена драка?

— Съ „паштетами“.

— Съ какими?—переспросилъ я.

— Какъ съ какими? Обыкновенно какіе „паштеты“ бываютъ,—отозвался товарищъ, и тѣмъ окончательно сбилъ меня съ толку.

Я могъ только сказать:

— Не знаю.

И только что я сказалъ это слово, какъ лицо товарища приняло самое пренебрежительное выраженіе.

— Не знаешь,—отозвался онъ не то съ сожалѣніемъ, не то съ презрѣніемъ,—а еще смѣешь называться гимназистомъ.

Но это не помогло дѣлу: я все-таки не зналъ.

Товарищъ чуть-чуть помолчалъ, а я стоялъ передъ нимъ довольно сконфуженный и ждалъ соответственныхъ разъясненій.

Но по началу онъ довольно странно разъяснилъ мое незнаніе.

— Эхъ ты, молокососъ,—сказалъ онъ.

Вмѣсто товарищескаго разъясненія—и оскорбленіе. Это мнѣ не понравилось.

Во мнѣ, благодаря обидному слову, немедленно же разыгралъ духъ гордости.

— Ты не ругайся,—сердито замѣтилъ я,—а то, хоть ты и второгодникъ, а я на это не посмотрю...

Не знаю ужъ, видѣ ли у меня былъ достаточно бодрый и молодцоватый или товарищъ мой находился въ миролюбивомъ настроеніи духа, но только, на этотъ разъ, нашъ разговоръ не принялъ въ дальнѣйшемъ враждебнаго характера.

Товарищъ сказалъ:

— Ну, если ужъ ты не знаешь, такъ слушай.

И тутъ только онъ сдѣлалъ то, съ чего, въ сущности, слѣдовало начать.

Онъ объяснилъ мнѣ, что „паштетами“ называются ученики другой гимназій города. Почему ихъ такъ именно называютъ, онъ въ точности и самъ не зналъ. Кажется, ихъ такъ называютъ по той причинѣ, что пансіонерамъ этой гимназій даютъ на завтракъ по воскресеньямъ какіе-то паштеты (долженъ сказать, что врядъ ли это справедливое объясненіе, ибо черезъ нѣсколько лѣтъ я перешелъ въ эту гимназію, поступилъ въ пансіонъ, но совершенно не помню, чтобы намъ давали на воскресный завтракъ паштеты; правда, пироги иногда по праздникамъ бывали, но никогда на завтракъ, а на обѣдъ, при томъ очень и очень рѣдко), а потому ихъ и называютъ „паштетами“. Вотъ и все, да это и не важно, по какой причинѣ ихъ

такъ называютъ. „Паштетъ“, и все тутъ! А разъ это такъ—„ихъ слѣдуетъ дуть“.

Узналъ я и другую интересную вещь, а именно то, что гимназистовъ нашей гимназіи называютъ „карандашами“. Почему—это тоже не вполне точно извѣстно. „Паштетъ“, по словамъ моего товарища, утверждаютъ, что въ давно прошедшіе годы одинъ изъ нашихъ гимназистовъ гдѣ-то (но гдѣ—этого никто сказать не могъ) „укралъ“ карандашъ, былъ уличенъ съ поличнымъ, даже, кажется, исключенъ за свое преступное дѣяніе изъ гимназіи, и съ этой поры за нами и утвердилось прозваніе „карандашей“...

Были еще „чижики“. Такъ назывались ученики прогимназіи. Но ихъ, въ качествѣ „прогимназистовъ“, а не настоящихъ гимназистовъ, въ счетъ какъ-то не принимали и интересовались ими очень мало.

Зато „паштетъ“ и „карандаши“ неустанно враждовали между собою и при всякой встрѣчѣ устраивали изрядныя потасовки.

Послѣ такого разъясненія я, конечно, вполне согласился съ тѣмъ, что „паштетовъ слѣдуетъ дуть“ и выразилъ полную готовность присоединиться къ выступающему противъ нихъ отряду нашихъ гимназистовъ. Готовность моя была тѣмъ охотнѣе, что я узналъ, что на этихъ дняхъ „паштетъ“, собравшись въ большомъ количествѣ въ университетскомъ ботаническомъ саду, напали на небольшое количество „нашихъ“ и послѣ упорнаго сраженія „нашимъ“ пришлось отступить. Проще говоря, насъ изрядно оттузили. Пораженіе требовало отмщенія. „Нашихъ“ на сей разъ должно было собраться изрядное число.

Участіе въ походѣ сильно волновало меня, и я съ большимъ нетерпѣніемъ ожидалъ окончанія уроковъ...

Здѣсь я долженъ сказать, что постоянныя ссоры двухъ гимназій (однако, только младшихъ, не далѣе третьяго класса учениковъ), заводимыя при томъ нерѣдко на улицахъ, уже давно обратили вниманіе гимназическаго начальства. Драки были запрещены и участники ихъ подвергались взысканію, но, разумѣется, задорныхъ мальчу-

гановъ было довольно трудно удержать. Тогда, во избѣжаніе уличныхъ сборищъ большого количества гимназистовъ враждующихъ гимназій, было рѣшено начинать учебныя занятія въ разное время. Мы начинали и кончали уроки на полчаса ранѣе воспитанниковъ первой гимназій. Но и эта мѣра мало помогла. Ради великаго удовольствія сразиться съ „паштетами“, мы, по окончаніи уроковъ, жертвовали получасомъ свободнаго времени и поджидали нашихъ враговъ частью на улицѣ, а частью въ какомъ-нибудь излюбленномъ для этого мѣстѣ, чаще всего въ вышеупомянутомъ ботаническомъ саду.

И „паштеты“, которые были не менѣе насъ—„карандашей“ задорны и отважны, всегда съ величайшимъ удовольствіемъ принимали вызовъ.

„Бой“ начинался всегда почти по одному давно уже установившемуся порядку.

„Паштеты“ и „карандаши“ въ томъ или другомъ мѣстѣ встрѣчались.

Начиналось взаимное хожденіе взадъ и впередъ и бросаніе побѣдоносныхъ и вызывающихъ взглядовъ другъ на друга.

Затѣмъ какой-нибудь малышъ, проходя мимо одного изъ непріятелей, какъ будто бы совершенно нечаянно, толкалъ его и произносилъ:

— „Паштетъ“!..

Въ это же самое время кто-нибудь изъ другой гимназій проходилъ мимо „нашего“, задѣвалъ его и съ презрѣніемъ бросалъ:

— „Карандашъ“!

Затѣмъ слѣдовало:

— Чего толкаешься?

— А ты чего?

— Вотъ я тебѣ покажу.

— А ну-ка, толкни еще разъ.

— А ты думаешь, не толкну?

— Попробуй.

Послѣ этого слѣдовалъ второй толчокъ, болѣе энергичный. Тогда подходилъ кто-нибудь изъ товарищей и заявлялъ:

— Ты его зачѣмъ трогаешь?

— А тебѣ какое дѣло, — говорить сейчасъ же появляющійся союзникъ толкнувшаго.

— Не позволю трогать товарища.

— И я не позволю.

Тутъ постепенно начинали подходить новые и новые сотоварищи.

Собиралась изрядная кучка. Разговоры становились все оживленнѣе и громче. Нѣкоторые вызывающе „толкались“, а черезъ какихъ-нибудь пять минутъ всѣ уже отчаянно галдѣли.

Наконецъ, съ чьей-нибудь стороны (чаще съ той, гдѣ чувствовали свое численное превосходство) раздавалось рѣшительное восклицаніе:

— Что съ ними разговаривать... Дуй ихъ, ребята.

И это было сигналомъ. Моментально завязывалась общая свалка.

Въ итогѣ побѣжденные спасались бѣгствомъ, а побѣдители преслѣдовали ихъ по пятамъ. Бывало и такъ, что въ то время, когда какая-либо изъ сторонъ уже изнемогала и начинала уступать, неожиданно подходила вторая группа изъ гимназистовъ той же гимназій.

Съ криками „не робѣй, ребята, ура!“ эта новая группа, со свѣжими силами, бросалась на выручку, а изнемогающіе, видя подкрѣпленіе и снова почувствовавъ приливъ храбрости, устремлялись на враговъ.

Военное счастье, какъ извѣстно, переменчиво и тѣ, которые считали себя несомнѣнными побѣдителями, смѣшались и обращались въ безпорядочное и постыдное бѣгство.

Бывало и такъ, что обѣ стороны сражались съ одинаковымъ упорствомъ. Въ чью пользу рѣшилась битва, опредѣлить было трудно.

Тогда раздавались крики „довольно, довольно“. Устанавливалось перемиріе и доходило даже до того, что, если дѣло происходило въ ботаническомъ саду, непріатели въ концѣ концовъ начинали какую-нибудь совмѣстную игру, при чемъ, для справедливости, „партіи“ дѣли-

лись съ тѣмъ расчетомъ, чтобы въ составъ каждой непременно входили гимназисты обѣихъ гимназій.

Наигравшись вдоволь, расходились по домамъ, но, идя по наружности довольно мирными группами, уже снова впадали въ воинственное настроеніе.

— А на слѣдующій разъ мы вамъ покажемъ,—говорили одни.

— Попробуйте... руки коротки,—отвѣчали другіе.

Строго говоря, эта глупѣйшая вражда особеннаго вреда не приносила, но иногда все-таки дѣло кончалось порядочными синяками и шишками....

Бой, въ которомъ мнѣ впервые пришлось принять участіе, окончился очень неудачно для „карандашей“. Несмотря на то, что насъ собралось много, „паштеты“ явились еще въ большемъ количествѣ. Сражались мы храбро (читатель видитъ, что я совершенно правдивъ, не скрываю факта нашего пораженія, а потому нѣтъ основанія сомнѣваться въ нашей храбрости; сила солону ломить), но въ концѣ концовъ были сломлены превосходными силами враговъ и удирали съ мѣста сраженія во все лопатки...

По окончаніи битвы, уже въ безопасномъ отъ присутствія „паштетовъ“ мѣстѣ, какъ въ Лермонтовскомъ „Бородинѣ“

«считать мы стали раны,
Товарищей считать».

Не помню ужъ, какъ у другихъ, но у меня было нѣсколько синяковъ, изъ коихъ одинъ, и весьма красивый, подъ лѣвымъ глазомъ, а на головѣ огромная шишка. Она была замѣтна самымъ предательскимъ образомъ, такъ какъ, какъ разъ наканунѣ моей первой битвы, меня остригли подъ гребенку.

Лично я придавалъ моимъ поврежденіямъ очень мало значенія и если ощущалъ что-либо, то только чувство глубочайшей мести. Я давалъ себѣ клятву, что при слѣдующей встрѣчѣ постараюсь постоять за себя и возвратить всѣ свои увѣчія моимъ врагамъ съ огромнымъ процентомъ.

Но не такъ отнеслись къ моимъ почетнымъ ранамъ дома.

Мачеха прямо въ ужасъ пришла:

— Кто это такъ тебя разукрасилъ?—воскликнула она, едва только я успѣлъ войти въ комнату.

И когда я сказалъ, что все это пустяки, что мы только подрались съ „паштетами“, то мачеха, какъ и самъ я раньше, долго не могла понять, что это за „паштеты“ такіе.

Я объяснилъ, насколько могъ, ибо теперь уже хорошо зналъ, что такое „паштеты“, а кромѣ того, на основаніи личнаго опыта, зналъ и то, что они превосходно умѣютъ ставить синяки...

И на все убѣжденія, что драться глупо, что гимназисты первой гимназіи такіе же мальчишки, какъ и мы, я съ полнымъ убѣжденіемъ отвѣчалъ:

— Ничего, мы ихъ отдуемъ.

Черезъ нѣсколько дней произошелъ новый бой. На этотъ разъ мы, собравшись съ внушительными силами, одержали блестящую побѣду.

— А мы здорово вздули паштетовъ!—ликующимъ тономъ отрапортовалъ я, вбѣгая домой.

Мачеха осмотрѣла меня; старыя поврежденія еще не прошли окончательно (шшка, однако, уже уменьшилась, а синякъ сталъ желтымъ), но новыхъ не было.

— Ну, скажи, пожалуйста,—спросила она меня за обѣдомъ,—почему же, собственно говоря, вы деретесь съ первогимназистами?

На это я отвѣтилъ весьма доказательно:

— За то самое, что они смѣютъ называть насъ „карандашами“.

И болѣе ничего не могъ сказать.

Вѣроятно, если бы я былъ ученикомъ первой гимназіи, то на такой же вопросъ, отвѣтилъ:

— А потому, что они называютъ насъ „паштетами“.

Послѣдніе могикане.

Онъ поразилъ меня необычайно... А между тѣмъ я былъ уже достаточно опытный гимназистъ, выдавшій всякіе виды, такъ какъ уже вступилъ въ третій годъ гимназической жизни.

Я только что перешелъ во второй классъ.

— Хочешь играть въ перья? — раздался надо мною такой басистый голосъ, что я невольно удивился и съ недоумѣніемъ повернулъ голову по тому направленію, откуда исходилъ этотъ басъ.

Передо мной стоялъ цѣлый великанъ.

Я и раньше, въ прошломъ году, видѣлъ его ходящимъ по коридору или, во время „большой перемѣны“, гуляющимъ по двору, но всегда былъ твердо убѣжденъ, что это по меньшей мѣрѣ ученикъ восьмого класса, и то изъ болѣе старшихъ по возрасту. Эта увѣренность была во мнѣ настолько сильна, что я никогда о немъ ни у кого не спрашивалъ, ибо могъ ли меня, одного изъ самыхъ крохотныхъ „малышей“ перваго класса, интересовать восьмиклассникъ, до котораго мнѣ далеко, какъ до звѣзды небесной и который, конечно, не только не станетъ имѣть со мною какое-нибудь дѣло, но врядъ ли даже соблаговолитъ снисходительно кинуть на меня свой благосклонный взоръ.

И вдругъ это совершенно неожиданное:

— Хочешь ли играть въ перья?

Смотрѣть на него я могъ только изрядно задравъ свою голову кверху, такъ какъ его голова терялась гдѣ-то, если не въ облакахъ, то у потолка. Онъ былъ очень высокъ, довольно плотнаго тѣлосложенія и съ довольно опредѣленными усами... Было даже, кажись, нѣчто въ родѣ начи-

нающей пробиваться бороды. Въ точности теперъ ужъ не могу вспомнить, но, во всякомъ случаѣ, въ сравненіи со мною онъ былъ человѣкомъ весьма зрѣлыхъ, если не преклонныхъ лѣтъ.

Отъ изумленія и отчасти отъ испуга я ничего не отвѣтилъ.

— Ты развѣ не умѣешь играть въ перья? — задалъ онъ новый вопросъ.

— Умѣю,—пролепеталъ я.

Я, само собой разумѣется, хорошо умѣлъ играть въ перья. Я не былъ бы „настоящимъ“ гимназистомъ, если бы не обладалъ этимъ искусствомъ. Играть въ перья намъ, въ сущности, было запрещено, а такъ какъ запрещенный плодъ сладокъ въ особенности, то нѣтъ ничего удивительнаго, что, за весьма рѣдкими исключеніями, мы все поголовно предавались этому почтенному занятію, посвящая ему свой досугъ во время перемѣнъ. Да и начальство смотрѣло на это неизбежное зло довольно снисходительно, не прибѣгая къ карательнымъ мѣрамъ. Если слишкомъ увлекающіеся игроки попадались надзирателю съ поличнымъ, то, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, все кончалось лишь замѣчаніемъ и конфискаціей игорнаго матеріала, т. е., перьевъ.

Итакъ, я даже въ нѣкоторой степени долженъ былъ сказать, что въ перья играть умѣю.

— А перья есть? — вновь раздался голосъ гиганта.

— Есть,—отвѣтилъ я не безъ волненія.

— Ну, такъ давай играть.

Путей для отступленія не было, вопросъ былъ поставленъ ребромъ. Я вытащилъ имѣющійся у меня капиталъ, приблизительно десятка полтора перьевъ. Гигантъ засунулъ руку въ карманъ, вытащилъ оттуда цѣлую пригоршню перьевъ и направился къ окну...

— Какъ твоя фамилія?—спросилъ онъ.

Я назвалъся.

— А ваша? — робкимъ голосомъ освѣдомился я въ свою очередь.

Сказать „ты“ такому солидному господину я, по пер-

вому началу, не рѣшился. Но великанъ вывелъ меня изъ неловкаго положенія.

— Моя фамилія Кулинскій, а только ты мнѣ не „выкай“: мы товарищи и должны другъ другу „тыкать“...

„Выкать“ и „тыкать“—два глагола, которыхъ въ словаряхъ, кажется, не имѣется. Это специально изобрѣтенные глаголы, произведенные отъ мѣстоимѣній „вы“ и „ты“, но между гимназистами они пріобрѣли право полного гражданства и употреблялись довольно часто, особенно въ происходящихъ иногда ссорахъ. Дипломатическія отношенія прерывались именно заявленіемъ какой-нибудь изъ враждующихъ сторонъ.

— Не смѣй мнѣ „тыкать“, я не хочу имѣть съ тобою дѣла.

— Ишь какое „выкало“ отыскалось,—говорилъ другой изъ враждующихъ.

И если какая-нибудь сторона продолжала упорствовать въ „тыканьи“, то иногда изъ-за одной только этой причины доходило до рукопашной.

Что касается „хорошихъ товарищей“, то между ними отношенія были „на ты“, а потому великанъ Кулинскій, предлагая мнѣ „тыкать“, этимъ самымъ доказывалъ, что желаетъ находиться со мною въ добрыхъ отношеніяхъ и нисколько не гордится своей величиною.

Разумѣется, я былъ польщенъ. И самый страхъ, испытываемый мною, прошелъ послѣ столь дружескаго и фамиліарнаго предложенія. Я даже уменьшилъ степень своего уваженія, сталъ чувствовать себя въ своей тарелкѣ и началъ энергично играть въ перья.

Въ эту „перемѣну“ я выигралъ у него штукъ пять перьевъ.

— А ты здорово играешь! — похвалилъ меня Кулинскій.

Я ничего не сказалъ, но въ глубинѣ души испытывалъ чувство гордости: еще бы, я ли не умѣю играть!...

Увы!... Я и не подозрѣвалъ, сколько коварства таится въ этой дружеской похвалѣ. Долгое лишь время спустя я постигъ свою слѣпоту и понялъ, что былъ жертвой,

во-первыхъ, своего самообольщенія, а, во-вторыхъ, тонко обдуманнаго плана военныхъ дѣйствій...

Кулинскій, котораго весь классъ фамилиарно называлъ „кулина-малина“, игралъ въ перья съ переменнымъ счастьемъ; никогда почти у одного и того же противника онъ не выигрывалъ двухъ разъ подъ рядъ, но странное дѣло: когда счастье было на моей сторонѣ, мой выигрышъ рѣдко превышалъ пять перьевъ, а когда удача сопутствовала Кулинскому, то мнѣ это обходилось въ добрый десятокъ, а то и больше...

Кулинскій былъ великій мастеръ своего дѣла, а потому перьевъ у него было множество. И они были источникомъ его благополучія. Эта была его размѣнная монета. Если у кого-нибудь не бывало перьевъ, то Кулинскій немедленно же предлагалъ разныя выгодныя коммерческія операціи.

— Промѣняй мнѣ завтракъ.

— За сколько?

— Я тебѣ дамъ двадцать перьевъ.

Соблазнъ былъ великъ, но хотѣлось выгодать больше.

— Дай тридцать.

— Ого-го!... Ишь ты какой, да развѣ онъ, твой несчастный завтракъ стоитъ столько?... Что у тебя тамъ?...

— Булка съ масломъ и сыромъ.

— Покажи.

И соблазняемый лѣзъ въ ранецъ, извлекалъ оттуда что-нибудь съѣдобное и показывалъ Кулинскому. Тотъ внимательно осматривалъ, взвѣшивалъ, обнюхивалъ и говорилъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, хотя и не безъ плохо скрываемаго аппетита:

— Тридцати не дамъ, не стоитъ.

— А сколько же?—спрашивалъ обладатель завтрака.

Ему теперь страшно хотѣлось устроить мѣну.

— Двадцать три пѣра.

— Ну, дай хоть двадцать пять.

— Двадцать четыре, и ни одного больше, — рѣшительно объявлялъ Кулинскій, возвращая товаръ по принадлежности.

А у обладателя завтрака страсти разыгрывались все сильнѣе и сильнѣе.

— Давай!...

Кулинскій отсчитывалъ двадцать четыре пера, получалъ завтракъ и немедленно же принимался за его уничтоженіе съ величайшимъ изъ аппетитовъ. Вѣроятно, онъ былъ вѣчно голоденъ. Мальчуганъ, продавшій завтракъ и обреченный на голодъ вплоть до возвращенія домой къ обѣду, сгоралъ отъ пылкаго нетерпѣнія снова сразиться „въ перья“.

— Ну, идемъ играть,—приставалъ онъ.

— Погоди, успеешь,—жуя съѣстное отвѣчалъ Кулинскій,—дай сперва съѣсть.

По истребленіи приобрѣтенной снѣди, онъ приступалъ къ игрѣ, выигрывая или проигрывая, смотря по соображенію.

Онъ вымѣнивалъ не только завтраки, но рѣшительно все, что угодно: карандаши, перочинные ножи, иностранныя почтовые марки для коллекцій, пеналы, картинки сводныя и рельефныя и все, что только предлагалось ему въ обмѣнъ. Но этого мало: онъ охотно продавалъ перья на наличныя деньги, даже съ особенной охотой, такъ какъ въ такихъ случаяхъ не торговался и былъ необычайно уступчивъ. Въ то время, какъ въ магазинѣ приходилось платить десять копеекъ за одну дюжину перьевъ, Кулинскій установилъ таксу, по которой давалъ за копейку цѣлыхъ пять перьевъ на выборъ, хотя бы это были даже „наполеоны“... Перья съ изображеніемъ этого французскаго императора отличались необычайной устойчивостью и при игрѣ ихъ было очень трудно „сбить“, т. е., перевернуть такъ, чтобы они легли на ребро, въ чемъ именно и состояло искусство игры...

Дешевизна, надо признаться, поразительная.

Все дѣло, однако, въ томъ, что почтеннѣйшій Кулинскій, продавая свои перья столь дешево, ровно ничѣмъ не рисковалъ. Постепенно они опять переходили въ его собственность, а „наполеоновъ“ онъ нисколько не боялся, такъ какъ, несмотря на ихъ стойкость, отлично „сбивалъ“

ихъ... Къ тому же онъ постоянно „упражнялся“, и если не игралъ съ кѣмъ-либо, то игралъ самъ съ собою.

Вѣроятно, первое впечатлѣніе, произведенное мною на Кулинскаго было благоприятно, потому что, по окончаніи первой стычки на полѣ брани, онъ не только похвалилъ меня, сказавъ, что я играю здорово, но сдѣлалъ еще крайне лестное для меня предложеніе:

— Ты парень хорошій, хочешь сидѣть рядомъ со мною?

Это была, дѣйствительно, высокая честь. Я выбралъ, было, себѣ мѣсто на одной изъ переднихъ „партъ“, гдѣ сидѣли, главнымъ образомъ, самые младшіе изъ гимназистовъ второго класса. Кулинскій же обиталъ на самой задней скамьѣ (наша встрѣча произошла на второй или третій день послѣ начала ученія и Кулинскій въ этотъ день появился въ первый разъ; вотъ почему я и не видѣлъ его въ классѣ до этого времени), гдѣ преимущественно основался народъ наиболѣе почтенный, главнымъ образомъ изъ „второгодниковъ“, въ числѣ коихъ мой новый пріятель былъ настоящимъ патриархомъ.

Само собой разумѣется, я съ величайшей радостью и готовностью откликнулся на столь любезное предложеніе и перебрался со своимъ ранцемъ въ обитель маститаго второклассника.

— Ты хорошо умѣешь подсказывать?— задалъ мнѣ Кулинскій важный вопросъ немедленно послѣ моего переселенія къ нему.

— О, умѣю!—отвѣчалъ я съ гордостью, ибо дѣйствительно умѣлъ.

— Это отлично, ты будешь мнѣ подсказывать,— дружески хлопнулъ меня по плечу почтенный коллега.

— Буду!—отвѣчалъ я съ полной охотой.

Я учился все-таки недурно, и уже черезъ н сколько дней мнѣ пришлось показать свое искусство: Кулинскаго вызвали изъ латыни...

Онъ не зналъ ровно ничего, но съ моей суфлерской помощью получилъ съ грѣхомъ пополамъ тройку съ минусомъ. Онъ былъ очень доволенъ и послѣ урока сказалъ:

— Молодецъ, ты хорошій товарищъ. Ты всегда такъ подсказывай.

— Не безпокойся, я, братъ, кулина-малина, самъ знаю, — отвѣтилъ я съ гордостью.

И я многократно выручалъ своего друга (на роль „друга“ я имѣлъ полное право, такъ какъ однажды, послѣ одной очень удачной подсказки по Закону Божию, Кулинскій прямо мнѣ заявилъ, что отнынѣ онъ мой другъ), но, къ величайшему сожалѣнiю, это не всегда представлялось возможнымъ. Когда вызывали „съ парты“ все проходило благополучно, но когда вызывали „къ доскѣ“ (а, напримѣръ, по ариѳметикѣ это было неизбѣжно), дѣло принимало иной оборотъ.

Простоявши нѣкоторое время у доски съ мѣломъ въ рукахъ, Кулинскій, сознавая, что изъ этого ровно ничего не выйдетъ, конфузливо заявлялъ, что онъ „не могъ приготовить урока“.

— Почему же?—допытывался преподаватель.

— У меня сестра вышла замужъ, вчера у насъ въ домѣ была свадьба.

Въ другихъ случаяхъ у него внезапно заболѣвала бабушка, приѣзжалъ „только на одинъ день“ какой-нибудь дядя изъ самага отдаленнаго уголка нашего отечества рождалась сестра и т. д. Поводовъ была масса. Учителя вообще относились къ Кулинскому съ нѣкоторымъ уваженiемъ, тревожили его рѣдко, ибо отлично знали, что до третьяго класса ему все равно не добратъся. Но причины повторялись слишкомъ ужъ часто, дядя приѣзжалъ „на одинъ день“ приблизительно разъ въ недѣлю, въ теченiе какого-нибудь мѣсяца въ его семьѣ рождались двѣ сестры и одинъ братъ, бабушка заболѣвала такъ внезапно, что даже трудно было допустить, какъ такая болѣзненная старушка можетъ еще существовать на бѣломъ свѣтѣ... Учителя, волей-неволей, пожимали плечами и прямо при- нуждены были ставить единицы.

Въ такихъ случаяхъ Кулинскій принималъ огорченный видъ и, несмотря на свой почтенный возрастъ,

слезливо моргалъ глазами и уходилъ на свое мѣсто съ какимъ-то жалобнымъ бормотаніемъ...

Но, садясь на парту, онъ успѣвалъ кого-нибудь ущипнуть или дать щелчокъ.

О, я хорошо помню эти щелчки: на мою долю, благодаря нашей тѣсной дружбѣ, ихъ перепадало достаточное количество. Отъ нихъ прямо шумѣло въ головѣ, и единственно чувство товарищества и нежеланіе подвести „друга“ подъ отвѣтственность удерживало меня отъ дикаго вопля. Я только почесывалъ свой затылокъ и старался отомстить другу тѣмъ же оружіемъ. Но что значили мои ничтожные щелчки или щипки для такого Геркулеса, какъ Кулинскій... Онъ былъ слонъ, я муха... Правда, какъ истинная муха, я всячески старался допечь нашего слона и постоянно тревожилъ его, но онъ отличался рѣдкимъ добродушіемъ, никогда не сердился и если причинялъ боль своими щелчками, то не желая обидѣть, а отъ простоты душевной и избытка силъ, которыя необходимо было израсходовать.

Кулинскому было по меньшей мѣрѣ двадцать лѣтъ. Какъ могло случиться, что онъ оказался въ компаніи одиннадцати и двѣнадцатилѣтнихъ мальчугановъ я не знаю, но знаю, что, начиная съ приготовительнаго класса, онъ каждый разъ оставался на второй годъ. Въ приготовительномъ же классѣ, кажется, по особенному ходатайству, въ виду болѣзни, ему разрѣшили оставаться три года. Поступилъ онъ тоже уже довольно солидныхъ лѣтъ; въ то далекое сравнительно время это еще было возможно...

Словомъ, по той или иной причинѣ, а ему было, по моему, не менѣе двадцати лѣтъ... Дальнѣйшее показало, что возрастъ его былъ, дѣйствительно, не изъ молодыхъ для второго класса.

Кулинскій представлялъ собою уже „вымирающій“ типъ. Кромѣ него въ гимназій было еще нѣсколько подобныхъ же экземпляровъ въ третьемъ и четвертомъ классахъ. По сравненію съ нами они напоминали какихъ-то допотопныхъ мамонтовъ или ихтиозавровъ и медленно вымирали... Вымирали, конечно, не въ буквальномъ смыслѣ

этого слова, а просто-на-просто оставались на третій годъ и были увольняемы за малоуспѣшность, покидая, такимъ образомъ, многотерпѣливыя стѣны гимназiи и полагая возможный предѣлъ снисходительности самаго снисходительнаго начальства, которое, въ нашемъ, по крайней мѣрѣ, учебномъ заведенiи, отличалось исключительною добротою...

Помимо Кулинскаго, я очень хорошо помню нѣкоего Бублика. Онъ замѣчательно отважно дрался въ снѣжки, но, вѣроятно, учился довольно печально. Я съ нимъ не былъ, онъ былъ въ третьемъ классѣ, гдѣ ариметику и алгебру преподавалъ нашъ инспекторъ, человѣкъ рѣдкой души, большой снисходительности.

Неоднократно мнѣ приходилось наблюдать такую картину: по окончанiи урока инспекторъ, съ журналомъ подъ мышкой, быстрыми шагами шелъ въ инспекторскую, а за нимъ, весь въ слезахъ, бѣжалъ Бубликъ...

Бубликъ былъ выше инспектора (не особенно низкаго по росту человѣка) по меньшей мѣрѣ на голову. Онъ бѣжалъ и жалобнымъ голосомъ причиталъ:

— Онисимъ Ивановичъ, вычеркните единицу.

— Да не могу же я, Бубликъ, — отвѣчалъ инспекторъ, ускоряя шаги, чтобъ скорѣе скрыться въ надежное убѣжищѣ инспекторской комнаты.

— Вычеркните, Бога ради! — отчаянно стоналъ Бубликъ.

— Дорогой мой, не могу, поймите же не могу, — увѣрялъ Онисимъ Ивановичъ, скрываясь за дверью.

Бубликъ оставался передъ дверьми, моргалъ нѣкоторое время глазами, а потомъ находилъ кого-нибудь изъ своихъ старинныхъ товарищей, бывшихъ уже въ седьмомъ или восьмомъ классѣ и предлагалъ:

— Пойдемъ, покуримъ.

Куда въ концѣ концовъ онъ запропалъ, я не знаю. Когда я перешелъ въ третій классъ его уже не было въ гимназiи: онъ остался на третій годъ и удалился изъ храма науки, избравъ другую, болѣе подходящую ему дѣятельность.

Что же касается Кулинскаго, то его судьба рѣшилась на моихъ, такъ сказать, глазахъ...

Онъ ушелъ изъ гимназіи съ честью, не дождавшись пока его оставятъ за малоуспѣшность на третій годъ и изгонять со срамомъ.

Тогда было тревожное время, канунъ послѣдней освободительной войны русскихъ съ турками. Возстала и боролась съ врагами славянства Герцеговина, поднялись и потерявшіе терпѣніе сносить турецкій гнетъ сербы. Изъ Россіи ѣхали въ Сербію добровольцы и черезъ К., гдѣ находилась наша гимназія, ихъ проѣзжала масса, такъ какъ, ѣдучи въ Сербію, трудно было миновать этотъ городъ.

Быль у насъ преподавателемъ русскаго языка нѣкто, нынѣ уже давно покойный, Николай Петровичъ Задерацкій, человѣкъ горячо любившій славянство и небезызвѣстный и въ литературѣ по этому вопросу.

Онъ много намъ говорилъ о славянахъ, объ ихъ страданіяхъ подъ турецкимъ игомъ, собиралъ пожертвованія для сербовъ и герцеговинцевъ и постоянно читалъ намъ выдержки изъ газетъ обо всѣхъ главныхъ событіяхъ этой тревожной эпохи...

Онъ умѣлъ вызвать сочувствіе въ отзывчивыхъ дѣтскихъ сердцахъ и умѣлъ заинтересовать насъ происходящей великой борьбой съ поработителями славянской свободы.

И вотъ, произошло нѣчто совершенно неожиданное...

Однажды онъ „вызвалъ“ Кулинскаго. По обыкновенію, Кулинскій урока не зналъ, а тутъ, словно на зло, пришлось идти отвѣчать къ доскѣ.

Понятно, несмотря на то, что переднія парты всѣми силами старались выручить почтеннѣйшаго „кулину-малину“ и подсказывали ему, изъ этого ровно ничего не вышло. Кулинскій привелъ одно изъ обычныхъ оправданій не то о больной бабушкѣ, не то о пріѣзжемъ родственникѣ...

Сверхъ всякаго ожиданія, Задерацкій не поставилъ ему вполнѣ заслуженной единицы. Онъ грустно улыбнулся и сказалъ:

— Эхъ, Кулинскій, хорошій вы человѣкъ, но не на мѣстѣ. Право, простите меня, а неужели не надоѣло вамъ сидѣть тутъ съ мелюзгой? Все равно вѣдь ничего не выйдетъ. Я говорю съ вами, какъ равный съ равнымъ... Вы уже не дитя. Охота вамъ сидѣть... шли бы ужъ лучше въ добровольцы. Право, тамъ вы хотя бы пользу какую нибудь принесли.

Сказаль онъ это безъ всякой насмѣшки, какъ обыкновенно говорили съ Кулинскимъ другіе учителя, и махнулъ рукой...

— Садитесь!

Кулинскій сѣлъ на мѣсто и на этотъ разъ никому не далъ щелчка.

Нѣсколько дней онъ былъ задумчивъ и даже въ перья не игралъ. А если кто-нибудь приставаль къ нему, онъ отмахивался съ досадою и говорилъ:

— Отстань, убирайся.

И вотъ, въ одинъ прекрасный день, на урокъ Задерацкаго, онъ заявилъ:

— Николай Петровичъ, мнѣ необходимо съ вами поговорить послѣ урока.

Задерацкій посмотрѣлъ на него удивленно и сказалъ:

— Хорошо.

Послѣ урока Задерацкій и Кулинскій вышли вмѣстѣ. Мы, заинтересованные, окружили ихъ.

— Скажите, чтобы они ушли, — мрачно заявилъ Кулинскій.

— Уходите, дѣти, — обратился къ намъ учитель.

Мы отошли, но остались недалеко... Ученикъ и учитель разговаривали долго (была большая перемѣна), затѣмъ до насъ донеслись слова Задерацкаго:

— И это вы серьезно обдумали?

— Да, — отвѣтилъ Кулинскій.

Тутъ произошло нѣчто странное. Задерацкій пожалъ руку Кулинскому

— Молодецъ, хвалю.

И они разошлись.

На наши приставапія и распросы Кулинскій отвѣчалъ односложно:

— Отстаньте, не до васъ.

На слѣдующій день онъ уже не пришелъ въ гимназію, и вообще больше не приходилъ.

Сначала мы думали, что онъ боленъ, а потомъ сообразили, что онъ оставилъ гимназію. Сперва поговорили объ этомъ, а потомъ и забыли...

Прошло около двухъ лѣтъ. Я былъ уже въ четвертомъ классѣ. Освободительная война приближалась къ развязкѣ.

Однажды я шелъ по улицѣ изъ пансіонскаго отпуска въ субботу (я былъ уже въ другой гимназіи и пансіонеромъ), впереди меня шла какая-то дама съ дѣвочкой. Вдругъ изъ переулка вынырнула высокая фигура въ подозрительномъ костюмѣ, но въ такой шапочкѣ, какую носили сербскія войска.

— Сударыня,—произнесла подозрительная фигура,— пожертвуйте что-нибудь бѣдному сербскому добровольцу... Жена, дѣти...

Остановилась дама, остановился и я...

И я чуть не заоралъ во все горло. Это былъ Кулинскій, сомнѣній быть не могло.

Я даже испугался этой встрѣчи и торопливо пошелъ въ сторону.

Не знаю, какъ все это произошло. Не знаю навѣрно и того, дѣйствительно ли Кулинскій ѣздилъ воевать съ турками или просто сбился съ житейскаго пути по причинѣ непроходимой лѣни.

Больше я его никогда не видѣлъ.

Искатели приключеній.

Необозримыя преріи, дѣвственные лѣса Америки!..

Какое юное сердце не билось желаніемъ повидать васъ, какой гимназистъ младшихъ классовъ былъ въ состояніи удержаться отъ великаго соблазна предпринять исполненный опасностей походъ въ ваши таинственные предѣлы?..

Озеро Онтарио, Калифорнія, Техасъ, гдѣ такъ распространенъ страшный судъ Линча, Скалистыя горы—дикій пріютъ свирѣпаго сѣраго медвѣдя-гризли, степные разбойники, которыхъ во всѣхъ этихъ благословенныхъ мѣстахъ такая куча, что имъ, казалось бы, должно быть тѣснѣе, нежели сельдямъ въ боченкѣ!..

Какъ вы заманчивы, какъ прекрасны!

А индѣйцы?.. Павніи и Сіуксы, Апахи и Команчи, Делавары и Гуроны... Ихъ такая уйма, что даже одни названія племенъ перечислить трудно. Если кого дѣйствительно пріятно „сразить мѣткимъ выстрѣломъ изъ карабина“, такъ это, само собою разумѣется, краснокожаго. Не совсѣмъ, правда, пріятно попасться имъ въ руки. Тогда они имѣютъ довольно безцеремонное обыкновение сдирать кожу съ головы „блѣднолицаго“, но, по странной прихоти судьбы, имъ это удается относительно рѣдко, такъ какъ, въ самый критическій моментъ, на помощь попавшемуся въ плѣнъ бѣлому, обыкновенно появляются избавители. А ужъ ежели суждено потерять „скальпъ“, то нужно потерять его, по возможности, съ наибольшимъ присутвіемъ духа, стараясь не орать благимъ матомъ, а, наоборотъ, стиснувъ зубы, усиленно молчать, чтобы разозлить своихъ мучителей. Впрочемъ, еще того лучше ругаться самыми послѣдними словами, обзывая дикарей презрѣнными собаками, жалкими трусами и прочими по-

носными прозвищами. Такимъ способомъ можно довести индѣйцевъ до такой степени свирѣпости, что они уже не ограничатся простымъ содраніемъ скальпа, а сдерутъ кожу и съ другихъ мѣстъ тѣла. Не подлежитъ сомнѣнію, что все это очень больно, но зато можно порядкомъ взбѣсить даже такихъ хладнокровныхъ по наружности людей, каковы, по описаніямъ господъ романистовъ, бываютъ индѣйцы.

Да и помимо индѣйцевъ, въ Америкѣ есть не мало хорошаго: негры, мулаты, метисы и, наконецъ, бандиты, съ которыми тоже довольно пріятно встрѣтиться, то скрываясь отъ ихъ преслѣдованій, то, въ свою очередь, преслѣдуя ихъ самихъ.

Въ свободное отъ этихъ занятій время можно охотиться на дикихъ звѣрей и бизоновъ, можно укрощать степныхъ мустанговъ и, наконецъ, если ужъ совершенно нечего дѣлать, можно ухаживать за прелестными мексиканками, которыми тамъ хоть прудъ пруди, такое ихъ множество, а въ результатѣ тамъ, когда достаточно надоѣстъ заниматься опасностями для жизни, можно и жениться на какой-нибудь черноокой сеньоритѣ. У нихъ обыкновенно самыя нѣжныя имена—Розарита, Пахита, Микаэла, Мерседесъ—и за ними всегда даютъ въ приданое огромную гаціенду или ферму, приносящую колоссальный доходъ. Удобно тутъ, главнымъ образомъ, то, что послѣ этого начинается самая спокойная и пріятная жизнь. Только иногда, для развлечения, вашу мексиканскую жену вздумаетъ похитить какой-нибудь отчаянный разбойникъ или жестокой предводитель индѣйскаго племени... Но тогда вы снова можете вооружиться съ ногъ до головы и пуститься въ погоню. Жену вы непременно найдете и спасете изъ рукъ злодѣевъ, послѣ чего, благополучно возвратясь домой, можете успокоиться развѣ навсегда: васъ уже рѣшительно никто не потревожитъ. Это было бы совершенно напрасно, такъ какъ, если бы даже и потревожили, толку изъ этого не будетъ ровно никакого: вы опять разрушите всѣ ковы и коварства вашихъ враговъ.

Такъ, по крайней мѣрѣ, всегда бываетъ въ романахъ изъ американской жизни. А врать сочинителемъ, согласитесь сами, нѣтъ ровно никакого основанія.

Всего этого вполне достаточно для того, чтобы нарушить душевное спокойствіе всякаго школьника и заставить его, хоть на нѣкоторое время, оставить свою родину и попытаться счастья въ далекихъ краяхъ.

Въ свое время и я былъ не хуже другихъ.

Обыкновенно это дѣлается въ третьемъ классѣ, рѣже во второмъ и еще рѣже въ первомъ. Сообразно съ классомъ измѣряется и разстояніе: третьекласснику удастся забраться подалеже отъ родного дома, первокласснику чаще всего до первой желѣзнодорожной станціи.

Что касается меня, то я удралъ въ Америку въ самомъ началѣ перваго класса.

Удралъ я не одинъ. Мнѣ сопутствовали мои хорошіе друзья: Саша Натаровъ и Коля Бирюковъ.

Возникъ, было, вопросъ о Лидочкѣ, но послѣ краткаго обсужденія былъ единогласно отвергнутъ. Лидочка, во-первыхъ, какъ представительница слабаго пола, могла не выдержать всѣхъ трудностей предстоящаго путешествія, а, во-вторыхъ, что всего хуже, по женской болтливости, могла и проговориться передъ родителями, что совершенно не входило въ наши соображенія и могло намъ помѣшать.

— Ну, ихъ, этихъ бабъ, — мрачно сказала Саша Натаровъ.

Я вполне согласился, а Коля Бирюковъ, которому Лидочка нравилась (онъ даже, кажется, собирался на ней жениться, конечно, со временемъ, если не по окончаніи гимназіи, то послѣ окончанія университета), хотя и выказалъ нѣкоторую, до нѣкоторой степени простительную въ его положеніи нерѣшительность, но, не желая отставать отъ прочихъ „мужчинъ“, присоединился къ намъ.

Было сказано нѣсколько словъ и относительно Омельки. Его можно было приспособить въ качествѣ вакера или погонщика муловъ, но такъ какъ, будучи весьма

плохо грамотнымъ, онъ по части Америки ровно ничего не смыслилъ, то его рѣшили не брать съ собою.

Время мы выбрали весьма подходящее. Сами обстоятельства требовали присутствія въ Америкѣ отважныхъ и энергичныхъ людей. Мы прочитали въ газетахъ о возстаніи индѣйцевъ Вороновъ противъ правительства Соединенныхъ Штатовъ. Возмутившимися дикарями быть истребленъ цѣлый отрядъ регулярныхъ американскихъ войскъ, и предполагалась серьезная экспедиція для обузданія непокорныхъ.

Конечно, нужны были и волонтеры.

Я считалъ себя хорошимъ развѣдчикомъ и рѣшилъ ѣхать только ради славы. Саша Натаровъ тоже отлично умѣлъ искать слѣды, но, какъ болѣе практическая натура, рѣшилъ, помимо войны съ индѣйцами, заняться исканіемъ золота, и я обѣщалъ ему помогать, ибо почему же, при случаѣ, и не составить себѣ состояніе, развѣ къ тому представляется возможность. Что касается Коли Бирюкова, то, по своимъ наклонностямъ, онъ былъ человѣкъ мирный, тяготящійся къ тихому домашнему счастью, но изъ чувства вѣрной дружбы рѣшился насъ не покидать.

Все было обдуманно основательно. Въ субботу мы должны были пораньше лечь спать, а рано утромъ въ воскресенье пуститься въ далекій путь.

У меня былъ превосходный камышевый лукъ. Саша Натаровъ имѣлъ еще лучшее вооруженіе — монте-кресто, Коля Бирюковъ раздобылъ прекрасный кухонный ножъ, очень похожій на самый настоящій кинжалъ.

Провизию заранѣе мы приобрѣли въ бакалейной лавкѣ. Каждый изъ трехъ участниковъ экспедиціи купилъ то, что считалъ болѣе по вкусу. Въ общемъ были: хлѣбъ, ветчина, колбаса, сыръ, какая-то копченая рыба. Это мы называли консервами. Конечно, мы и сами сознавали, что всего этого можетъ хватить лишь на относительно короткое время, но я хорошо стрѣлялъ изъ лука, а у Саши было „ружье“, слѣдовательно, мы могли поддерживать свое существованіе охотой. Каждый убитый заяцъ могъ смѣло

прокормить насъ не менѣе сутокъ. Кромѣ того мы могли вѣдь стрѣлять дикихъ гусей, утокъ и другую, болѣе мелкую дичь.

Денегъ, безъ которыхъ, понятное дѣло, пускаться въ далекое странствованіе неразумно, у насъ было достаточно, на первое время, по крайней мѣрѣ. Мы копили ихъ довольно долго (экспедиція была задумана еще въ началѣ каникулъ) и накопили веѣ трое рублей около пятнадцати. По предварительному плану, мы должны были добраться до Одессы или какого-нибудь другого Черноморскаго порта, а оттуда махнуть прямо въ Америку. Конечно, мы, какъ люди разумные, положительные и не увлекающіеся всякими несбыточными фантазіями, знали, что за пятнадцать цѣлковыхъ не только что встроимъ, но и въ одиночку до Америки не доберешся. На этотъ счетъ у насъ было все предусмотрѣно: капитанъ какого-нибудь корабля или парохода, отходящаго въ Америку, конечно, не откажется взять насъ на свое судно, какъ юнгъ. Придется хорошенько поработать, но это не бѣда, лишь бы какъ-нибудь добраться до какого-нибудь американскаго порта. Отъ работы же и всякихъ трудовъ мы отказываться не намѣревались, а наоборотъ.

Что мы смотрѣли на затѣянное предпріятіе совершенно серьезно, доказывало и то, что мы захватили съ собою и географическую карту, даже не одну карту, а цѣлый атласъ... Слѣдовательно, мы пускались не наобумъ. На тотъ случай, если бы мы сбились съ дороги, что тоже можно было допустить, у насъ былъ превосходный компасъ, за который мы заплатили цѣлый полтинникъ.

Желая окончательно запутать свои слѣды на тотъ случай, если бы насъ вздумали преслѣдовать родители, мы рѣшили не садиться на желѣзную дорогу. Рѣшено было идти пѣшкомъ. Это, помимо перваго соображенія, было полезно и въ томъ смыслѣ, что должно было, уже на родной почвѣ, приучить насъ къ выносливости и пѣшему хожденію.

Мы знали, что по русскимъ законамъ похищать ло-

шадей не полагается, а сверхъ того никто изъ насъ не былъ конокрадомъ по убѣжденію. Запастись лошадьми мы намѣревались уже по прибытіи въ Америку, да и то не въ моментъ пріѣзда, а потомъ, когда доберемся до прерій. Тамъ, во-первыхъ, масса дикихъ мустанговъ, а во-вторыхъ, никто не почитаетъ предосудительнымъ, если завладѣтъ лошадью убитаго или взятаго въ плѣнъ не-пріятеля.

А пока что, надо было шествовать пѣшкомъ.

Словомъ, все было предусмотрѣно, тщательно взвѣшено и такъ строго обдуманно, что сомнѣваться въ успѣхѣ нашего предпріятія не было положительно никакого основанія...

Срокъ отправленія мы нѣсколько оттягивали, желая получше приготовится, но, наконецъ, рѣшительный моментъ наступилъ...

Сборъ былъ назначенъ у меня. Къ этому насъ побуждало нѣсколько весьма основательныхъ причинъ. Прежде всего то, что окна комнаты, гдѣ помѣщались я и братъ, выходили въ садъ. Отсюда удобно было подать сигналъ. Были высказаны сомнѣнія относительно того, что братъ можетъ проснуться и помѣшать нашему предпріятію, но я зналъ, что братъ Александръ обладаетъ прекраснымъ сномъ, особенно по праздничнымъ днямъ, когда не надо было учиться. Въ такіе дни онъ спалъ, по меньшей мѣрѣ, до десяти часовъ утра и спалъ, какъ убитый. Да и въ будни его нелегко было добудиться, а самъ, по собственной волѣ, онъ не вставалъ почти никогда. За это его и называли дома „соней“...

Другой важной и способствующей нашему плану причиной было отсутствіе папы, кабинетъ котораго находился рядомъ съ нашей комнатой!

Отцу моему, по роду его занятій, нерѣдко приходилось отправляться въ служебныя командировки, продолжавшіяся неопредѣленный срокъ. Иногда онъ уѣзжалъ дня на два, иногда на недѣлю и болѣе.

Отецъ вставалъ рано даже и по праздничнымъ днямъ, а потому въ его присутствіи бѣгство въ далекія страны

было дѣломъ нелегкимъ. Онъ, вѣроятно, замѣтилъ бы наши намѣренія.

На этотъ разъ онъ уѣхалъ въ субботу и, слѣдовательно, „бѣжать“ утромъ въ воскресенье было болѣе, чѣмъ удобно.

Мы, какъ я уже сказалъ выше, уговорились лечь пораньше. И я, дѣйствительно, пошелъ укладываться часовъ въ девять вечера.

Это даже возбудило нѣкоторое легкое безпокойство между домашними.

Обыкновенно, подъ праздникъ, меня трудно было уложить, а тутъ, какъ нарочно, я выказалъ непривычное съ моей стороны желаніе.

— Ужъ не боленъ ли ты?—спросила мачеха съ участіемъ.

— Нѣтъ, а только такъ, немного голова болитъ, — отвѣтилъ я.

Бабушка немедленно же предложила дать мнѣ нѣкоторую порцію касторки, утверждая, что это медицинское средство полезно рѣшительно во всѣхъ мало-мальски сомнительныхъ случаяхъ.

— Если ты нездоровъ,—пояснила она,—то касторка тебѣ поможетъ, а если это такъ, просто и ты здоровъ, то никакого вреда отъ кастороваго масла тебѣ все равно не будетъ.

Отъ касторки, которую, признаюсь откровенно, весьма не долюбивалъ, я, однако, благополучно отдѣлался съ тѣмъ, впрочемъ, условіемъ, что, если къ утру у меня будутъ какія-либо сомнѣнія относительно здоровья, я непременно ее приму.

Это я обѣщалъ.

— Завтра никакая касторка на свѣтѣ мнѣ не страшна,—думалъ я про себя, — завтра въ это время я буду уже далеко.

Но уснуть я долго не могъ и все ворочался съ боку на бокъ, показывая, однако, видъ, что сплю крѣпчайшимъ образомъ. А не спалось мнѣ по причинѣ многочисленныхъ думъ, волновавшихъ мою душу.

Въ самомъ дѣлѣ, я рѣшался на важный шагъ. Покинуть отчий домъ, ради неизвѣстной и опасной будущности, штука не легкая. Кто знаетъ, что меня ждетъ въ далекихъ странахъ? Быть-можетъ, при первой же встрѣчѣ съ краснокожими или разбойниками прерій я буду убитъ? Правда, я надѣялся на свою ловкость и отвагу, предполагалъ, что въ силахъ буду разрушить ковы многочисленныхъ враговъ, а все-таки, мало ли что можетъ случиться. И на старуху бываетъ проруха: вдругъ возьму, да и попадусь. Кромѣ того я отлично понималъ, что сильно огорчу своихъ домашнихъ. Всѣ будутъ опечалены, вѣроятно, даже станутъ плакать. Это, конечно, такъ, но что же тутъ дѣлать, какъ быть? Вѣдь если бы я объявилъ о своемъ рѣшеніи, меня ни за какія деньги не отпустили бы. За это можно было смѣло поручиться, а не могъ же я не отправиться въ путь, разъ это было рѣшено нами тремя. Въ такомъ случаѣ я покрылъ-бы себя вѣчнымъ срамомъ передъ лицомъ товарищей. Оставался, слѣдовательно, только единственный выходъ изъ затруднительнаго положенія — бѣжать тайно.

Понятно, такія мысли сильно меня смущали. Но въ предпріятіи нашемъ были и хорошія, по моему мнѣнію, стороны. Если все обойдется благополучно, то, вѣдь, рано или поздно, я возвращусь обратно. И при томъ возвращусь не какъ-нибудь, а прославленнымъ героемъ. Возвращусь, разумѣется, и не съ пустыми руками. Во-первыхъ, будетъ золото, а, во-вторыхъ, привезу массу шкуръ дикихъ звѣрей и индѣйскихъ скальповъ. Изъ шкуръ всѣмъ можно будетъ нашить превосходныхъ шубъ. Я даже живо представлялъ себѣ Лидочку въ изящной шубкѣ на ягуаровомъ мѣху. На что мнѣ понадобятся скальпы, я въ точности не зналъ (вполнѣ вѣроятно и возможно, что ма-чеха и особенно бабушка назвали бы это „гадостью“ и не согласились держать въ комнатѣ кожу съ мертвецовъ), но, во всякомъ случаѣ, это были бы все-таки трофеи, свидѣтельствующіе о моей исключительной отвагѣ. А главное—это моментъ возвращенія.

Всѣ уже потеряли всякую надежду когда-либо уви-

дѣть меня, а я вдругъ, въ одинъ прекрасный день, возьму да и вернусь, упаду, словно снѣгъ на голову.

То-то будетъ радость, то-то начнется всеобщее ликование. Да ради одного подобнаго момента можно простить виновному все временныя огорченія, причиненныя имъ.

Такія соображенія подѣйствовали на меня успокоительно, я сталъ забываться, и въ концѣ концовъ заснулъ, при томъ крѣпчайшимъ образомъ. Очевидно, сама судьба хотѣла, чтобы будущій странникъ отдохнулъ передъ дальней дорогой основательно.

Спалъ я настолько хорошо, что даже не видѣлъ равно никакихъ сновъ, а если и видѣлъ, то не могъ вспомнить ихъ содержанія.

Положимъ, не до того мнѣ и было утормъ, чтобы вспоминать сны.

Протяжное кошачье мяуканье раздавалось за окномъ. Котъ, вѣроятно, былъ огромный и голосъ его прозвучалъ настолько громко, что я невольно проснулся.

По первому началу я ничего не могъ сообразить.

Мяуканье повторилось.

Братъ, кровать котораго стояла у противоположной стѣны нашей комнаты, тоже открылъ глаза и пробормоталъ соннымъ голосомъ:

— Проклятые коты, не дадутъ поспать.

Впрочемъ, онъ моментально опять погрузился въ сладкій сонъ.

Теперь я понялъ въ чемъ дѣло и страшно обрадовался тому обстоятельству, что „соня“ заснулъ.

Мнѣ подавали сигналъ.

Между нами было условлено, что Саша Натаровъ три раза промяукаетъ по-кошачьи.

По настоящему слѣдовало, какъ имѣютъ обыкновеніе дѣлать индѣйцы, испустить троекратный крикъ совы. Такъ оно, въ сущности, и было рѣшено. Но оказалось, что никто изъ насъ никогда не слышалъ совиного крика, а потому сову пришлось замѣнить кошкой. Подражать же

котамъ мы всё умѣли очень хорошо, а Саша Натаровъ знать это дѣло внѣ конкуренціи.

Я быстро соскочилъ съ постели и безшумно сталъ напяливать на себя различныя принадлежности костюма. И когда за окномъ раздался третій, уже довольно нетерпѣливый сигналъ, я былъ готовъ.

Осторожно прокрался я черезъ прихожую, тихо отодвинулъ дверной запоръ и черезъ минуту уже находился въ саду.

Оба товарищи ждали.

— Молодецъ,—произнесъ Саша Натаровъ по моему адресу,—а я уже думалъ, что ты струсишь.

Это задѣло мое самолюбіе.

— Я-то струшу?.. Ну ужъ, братъ, это ты... того, самъ скорѣе струсишь,—отвѣтилъ я.

Но пререкается не было времени.

— Идемъ, идемъ скорѣе,—торопилъ Саша.

Въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ сада находился нашъ багажъ. Мы его хорошенько спрятали въ кустахъ еще наканунѣ.

Мы раздѣлили тяжесть поровну и черезъ нѣсколько минутъ уже торопливо шагали по переулку.

Шли мы въ полномъ молчаніи, стараясь, чтобы на насъ поменьше обращали вниманія прохожіе, очень, впрочемъ, немногочисленные въ эту пору утра. Попадались больше все кухарки, часть которыхъ шла на рынокъ съ пустыми корзинками, а часть уже возвращалась отсюда съ полными провизіи кошицами.

Переулокъ мы прошли быстро и свернули на улицу. Тутъ мы еще болѣе ускорили шаги, маршируя нога въ ногу, какъ хорошо обученные солдаты. Это занятіе даже увлекло насъ настолько, что Коля Бирюковъ, желая, вѣроятно, еще болѣе подбодрить себя (онъ былъ самый нерѣшительный изъ насъ) сталъ приговаривать.

— Лѣвый, правый!.. Разъ, два!..

И вдругъ...

— Миша, постой... Куда это васъ несетъ въ такую рань? Я невольно повернулъ голову и весь застылъ отъ ужа-

са: посреди улицы, на сквернѣйшемъ извозчикѣ, возсѣдалъ папа.

Этого я ждалъ менѣе всего...

Я открылъ ротъ, чтобы что-то такое сказать, но не былъ въ состояніи издать хоть какое-либо подобіе звука. Я остался въ позѣ жены библейскаго Лота, превращенной въ соляной столбъ.

— Вы это куда? — повторилъ отецъ, слѣзая съ дрожекъ и направляясь въ нашу сторону.

Саша и Коля, пораженные и испуганные не менѣе меня, тоже остановились, а потомъ, когда отецъ мой уже подходилъ къ тротуару, сдѣлали энергичное движеніе впередъ и... бросились наутекъ. Въ одно мгновеніе они скрылись изъ глазъ, стремительно повернувъ въ ближайшій переулокъ.

— Куда же это вы собрались? Ровно ничего не понимаю? — говорилъ отецъ.

Я, наконецъ, сообразилъ что далѣе молчать нельзя.

— Хотѣли прогуляться, — пробормоталъ я.

— Странно, — проговорилъ папа, — но въ такомъ случаѣ, почему же Коля и Саша убѣжали?

Что я могъ отвѣтить на это?

— Не знаю.

— Да спросился ли ты у мамы? — задалъ мнѣ папа новый вопросъ.

Я настолько еще не могъ прійти въ себя, что снова отвѣтилъ,

— Не знаю.

Это было уже вполнѣ нелѣпно. Отецъ прямо не выдержалъ, но не разсердился, а расхохотался самымъ искреннимъ образомъ.

— Ну, и я, братъ, не знаю, если ты самъ не знаешь. Однако, садись-ка на извозчика, дома разберемся. Тутъ что-то да не такъ. Почему товарищи убѣжали, какъ зайцы? Я, чай, не волкъ, не собирался ихъ ѣсть. Ба! — вдругъ воскликнулъ папа, — это у тебя что за мѣшокъ?..

Проклятые припасы, они окончательно выдали меня.

А извозчикъ тѣмъ временемъ уже приближался къ

дому. Я чувствовалъ, что покрытъ несмываемымъ позоромъ и лучшее, что могъ сдѣлать, это набраться храбрости и признаться откровенно въ своихъ замыслахъ.

— Прости меня, папочка, — лепеталъ я, окончивъ свое признаніе.

Но отецъ хохоталъ, какъ сумасшедшій, безпрестанно повторяя.

— Въ Америку!.. Ахъ ты, американецъ, этакій... И какъ это васъ дурней угораздило?

Дома меня не успѣли хватиться, а потому переполоха не произошло...

За чаемъ, однако, когда отецъ разсказалъ подробности, я пережилъ пренепріятныя минуты.

Смѣялся отецъ, смѣялась мачеха, дико заливался самымъ беззаастѣнчивымъ хохотомъ братъ Александръ...

Только бабушка сердилась, говоря, что это Богъ знаетъ что, что такъ можно „пропасть окончательно“, да Лидочка глядѣла серьезно. Она одна, кажется, сочувствовала мнѣ.

Впрочемъ, сжалившись подъ конецъ надъ моимъ жалкимъ видомъ, папа и самъ признался, что въ дни своей первой молодости тоже однажды убѣждалъ путешествовать.

— Только, братецъ мой, — закончилъ онъ, — съ нами тогда не церемонились... А попросту, безъ лишнихъ затѣй, разложили...

Оказалось, что отецъ вернулся со своей командировки ранѣе, нежели самъ предполагалъ.

И только благодаря этому случайному обстоятельству намъ не удалось побывать въ Америкѣ.

Иногда ничтожная причина противодѣйствуетъ великимъ событіямъ.

Чтобы не смущать меня, объ этомъ случаѣ упоминали мало, да скоро и вообще забыли о немъ.

Лидочкѣ я повѣдалъ свои неудавшіеся планы обстоятельно... Она волновалась, сердилась, что я ей ничего не сказалъ, но вообще относилась ко мнѣ съ сочувствіемъ.

Она только замѣтила.

— Ну, и отчаянные же вы все-таки.

Въ ея глазахъ я былъ до нѣкоторой степени героемъ, но зато братъ, самый, очевидно, злопамятный человекъ, часто дразнилъ меня, а первое время такъ и прямо не давалъ прохода.

— Ахъ ты, американецъ, американецъ!..

Этими словами онъ доводилъ меня до ярости.

VII.

Иванъ Максимовичъ.

Въ классѣ происходилъ невообразимый беспорядокъ. Около сорока мальчишекъ одинъ передъ другимъ старались шумѣть, какъ только возможно. Можно было подумать, что вся цѣль ихъ жизни состояла единственно въ томъ, чтобы наглядно доказать свою дикость.

— Цыцъ!..

Но шумъ и разговоры не прекращались.

— Цыцъ, говорятъ вамъ.

Гвалтъ и кавардакъ оставались въ полной силѣ.

— Шо-жь, я васъ въ углы ставить буду, у карцеръ захотѣли?..

Но и эта угроза произнесенная строжайшимъ голосомъ, не дѣйствовала. Тогда Иванъ Максимовичъ устремлялся по направленію къ какому-нибудь особенно усердствующему мальчугану, схватывалъ его прямо за воротникъ, извлекалъ изъ-за парты, тащилъ черезъ всю классную комнату и совалъ носомъ въ одинъ изъ угловъ.

— Стой о-туть весь урокъ на посмѣшище всему Божьему міру.

Затѣмъ онъ направлялся къ каѳедрѣ, но шумъ не унимался.

— Цыцъ, я говорю же вамъ.

И опять повторялось то же самое. Иванъ Максимовичъ снова приходилъ въ негодованіе, вновь устремлялся на какую-нибудь производящую безпорядокъ жертву и соваль ея въ другой уголь.

— Стой о-тутъ весь урокъ, какъ поганое языческое идолище.

Когда, такимъ образомъ, все углы были уже заняты, а еще человекъ три стояли около классной доски и вдоль стѣнъ, наступало успокоеніе и шумъ на нѣкоторое время прекращался.

На все это, въ общемъ, принимая во вниманіе быстроту и натискъ со стороны Ивана Максимовича, требовалось какихъ-нибудь пять минутъ, не больше...

Тогда Иванъ Максимовичъ торжественно направлялся къ каедрѣ, становился тамъ и, указуя рукой на стоящихъ въ углахъ мальчугановъ, съ торжествующимъ видомъ обращался къ классу:

— Отъ, прошу любить и жаловать. Полюбуйтесь на нихъ. Каковы, а?!!

Классъ очень весело любовался. Нѣкоторые изъ стоящихъ, „какъ языческія идолища“ на посмѣшище всему Божьему міру, показывали любующимся языки, гримасничали, какъ обезьяны, дѣлали носъ и прочее, что въ такихъ случаяхъ полагается.

А Иванъ Максимовичъ продолжалъ величественно и укоризненно:

— Молодцы, одно слово молодцы! Любо посмотрѣть на такихъ молодцовъ, право, любо! Вотъ каковы должны быть дѣти благородныхъ родителей, которые послѣдній грошъ тратятъ въ надеждѣ, что, можетъ-быть, изъ ихъ дитяти выйдетъ, если не писатель и художникъ, то, быть-можетъ, хоть чѣмъ-нибудь полезный для своего отечества чиновникъ.

— Ага, ты смѣешься, ну, такъ иди же къ нимъ.

Иванъ Максимовичъ моментально устремлялся съ каедры и увлекать въ уголь какую-нибудь новую жертву легкомыслія, которая не удержалась отъ смѣха при видѣ необычайно смѣшной рожицы одного изъ наказанныхъ,

единовременно показавшаго языкъ, сдѣлавшаго огромный „носъ“ и при томъ еще, вмѣсто того, чтобы выразить раскаяніе, самымъ беззаботнымъ образомъ подпрыгнувшаго въ своемъ позорномъ углу.

И, водворивъ легкомысліе въ надлежащемъ мѣстѣ, Иванъ Максимовичъ снова поднимался на кафедру.

— И вамъ не стыдно? — обращался онъ къ наказаннымъ.

Тѣ молчали.

— Не стыдно? — снова спрашивалъ Иванъ Максимовичъ.

Но слѣдовало новое молчаніе.

Тогда Иванъ Максимовичъ обращался уже къ кому-нибудь изъ благонаравно сидѣвшихъ на партахъ и вопрошалъ:

— Ну, хоть ты, Магденко, скажи по чистой совѣсти — стыдно ли имъ?

— Стыдно, — конфузливо отвѣчалъ Магденко, словно стыдясь за своихъ товарищей и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько удивляясь, почему это онъ сегодня не попалъ въ число стоящихъ, хотя самъ принималъ весьма дѣятельное участіе въ той невообразимой кутерьмѣ, которая происходила въ началѣ урока.

— Да, я знаю, что имъ очень стыдно, — говорилъ Иванъ Максимовичъ, — потому что и не можетъ быть не стыдно. Но я знаю, что вы хорошія дѣти, а потому ступайте на мѣсто и будемъ писать.

Тѣ, которымъ было очень стыдно, немедленно бѣжали на свои мѣста. На учиненіе преступленія и понесеніе наказанія, въ общемъ, требовалось не болѣе десяти минутъ.

Начинался урокъ чистописанія и продолжался уже довольно тихо и благополучно. Шуму все-таки было достаточно, но учитель находилъ, что при такомъ положеніи дѣлъ можно было и не раздражаться.

Иванъ Максимовичъ много уже лѣтъ преподавалъ въ нашей гимназіи чистописаніе обязательно и рисованіе желающимъ.

Это былъ очень, насколько помнится, высокій старикъ, котораго мы, почему-то, именовали „метелкой“, необычайно худой, сѣдой, какъ лунь, и всегда плохо выбритый.

Насколько быстро онъ раздражался, настолько же быстро „отходилъ“, а вообще былъ добръ, но добръ на рѣдкость, на исключеніе. Было очевидно, что онъ любилъ насѣдѣтей какой-то особенной, граничащей съ чисто родительской любовью.

Мы писали съ прописи. Иванъ Максимовичъ ходилъ отъ одного къ другому, внимательно заглядывая въ наши тетради.

— Хорошо, о такъ надо писать, — говорилъ онъ въ одномъ мѣстѣ.

— Фу!.. Чисто курица грязными лапами ходила, — негодовалъ онъ въ другомъ случаѣ.

А иногда, если ужъ очень плохо выходило, онъ задумчиво смотрѣлъ на тетрадь и произносилъ стихами на малорусскомъ языкѣ:

Буквы мои, буквы мои,
Лыхо мени зъ вами!
На що стали на папери
Сумными рядами?...

Въ переводѣ на русскій языкъ это означало: „буквы мои, буквы мои, горе мнѣ съ вами. Зачѣмъ вы стоите на бумагѣ скучными рядами?“

Мы, конечно, не знали, что Иванъ Максимовичъ шуточно декламируетъ стихи великаго украинскаго поэта, замѣняя лишь слово „думы“ словомъ „буквы“.

Вообще, онъ, хоть и говорилъ хорошо по-русски, но всегда съ сильнымъ хохлацкимъ акцентомъ.

По окончаніи урока, по пути въ инспекторскую комнату, около Ивана Максимовича увивалась цѣлая куча дѣтишекъ. Они прыгали около него, тормошили, щекотали старика, а онъ ласково ухмылялся и говорилъ:

— Та ну-те васъ, вотъ распрыгались, словно молодые телята. Та нѣтъ, не телята, а сущіе поросята, около свиньи въ солнечный день.

И онъ, на ходу, то погладитъ кого-нибудь по головѣ, то дастъ легкаго щелчка по лбу, то ущипнетъ за щеку...

А ужъ не шумѣть мы не могли, такова дѣтская натура.

Но я рѣшительно не знаю случая, когда бы Иванъ Максимовичъ доводилъ о чьей-нибудь шалости до свѣдѣнія высшаго начальства. Даже если шалость эта выходила изъ ряда вонъ, онъ и тогда предпочиталъ обойтись какъ нибудь собственными средствами.

И за это мы все, все поголовно, буквально не чаяли въ немъ души. Не было между нами такого мальчика, который бы сказалъ о нашемъ старикѣ, что нибудь худое; больше того: я думаю, что не было такихъ, которые позволили бы себѣ даже непочтительно подумать о немъ.

Иванъ Максимовичъ былъ не простой учитель чистописанія и рисованія. По части чистописанія онъ самъ не особенно отличался, такъ какъ у него отъ старости уже дрожали руки, но рисовалъ прекрасно, а въ былое время превосходно писалъ масляными красками. Тѣмъ, которые необязательно учились рисованію, онъ иногда показывалъ свои работы, и это были, въ полномъ смыслѣ слова, работы настоящаго художника.

Не знаю, писалъ ли онъ что-нибудь въ то время, но разъ намъ таки пришлось увидѣть его работу.

Онъ сталъ пропускать уроки. Мы въ сущности противъ этого ровно ничего не имѣли, — все-таки свободное время, — но при случаѣ спрашивали о причинѣ такихъ пропусковъ.

— Вы больны, Иванъ Максимовичъ?

— Здоровъ, какъ и вы, хлопчики, а только занятъ теперь важнымъ дѣломъ.

— Какимъ?

— А такъ, поручили.

— Что такое?

— Если все будете знать, скоро состаритесь, при томъ любопытство — мать всѣхъ пороковъ. Въ свое время все узнаете и, дастъ Богъ, увидите.

— Да что же такое?— продолжали мы допытываться.

— Не ваше дѣло.

— Иванъ Максимовичъ, голубчикъ, скажите, пожалуйста,—хоромъ приставали мы, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ очень интересовались.

Тогда Иванъ Максимовичъ говорилъ нѣсколько загадочно, такъ что понять было довольно трудно.

— Траншпорантъ.

Слово это было для насъ непонятно. Оказалось вотъ что: въ К. ожидался скорый пріѣздъ Императора Александра II, и Ивану Максимовичу было поручено написать прозрачный вензель для иллюминаціи. Это-то онъ и называлъ „траншпорантомъ“, произнося по своему—„траншпорантъ“.

Дѣйствительно, когда Государь пріѣхалъ, а наша гимназія, вмѣстѣ съ другими зданіями, была иллюминирована, то вензель съ переплетенными буквами начальныхъ буквъ именъ Государя и Государыни, нарисованный Иванъ Максимовичемъ, привлекалъ цѣлыя тысячи зрителей...

Это было, хоть и не сложное по замыслу, но вполне художественное произведеніе.

Конечно, мы поздравляли Ивана Максимовича. А онъ въ отвѣтъ, чувствуя, что, съ полнымъ основаніемъ имѣетъ право гордиться, говорилъ:

— Ага, видѣли! Отъ-то-то и есть, что и я, старый, на что-нибудь пригодился.

Отношенія его съ нами были просты до необычайности. Такъ, иногда, увидѣвъ у какого-нибудь мальчугана завтракъ, состоящій изъ какой-либо особенной колбасы домашняго приготовленія, онъ, забывая свое учительское достоинство, говорилъ:

— А ну-ка, что у тебя тамъ?.. Ага, добрая ковбаса. Давай-ка попробовать.

Мальчуганъ, конечно, съ величайшимъ удовольствіемъ соглашался.

Иванъ Максимовичъ вынималъ изъ кармана перочинный ножъ, отрѣзалъ кусокъ колбасы, отправлялъ его въ

ротъ и медленно пережевываль, опредѣляя ея вкусовыя качества.

— Гм... добрая ковбаса... скажи матери, что добрая ковбаса и что она мастерица великаго женскаго дѣла: умѣеть такъ стряпать, какъ настоящая хозяйка. Да, добрая, такъ скажу тебѣ, ковбаса.

— Да вы, Иванъ Максимовичъ, еще...

— Ну, это уже не полагается. Попробоваль — и будетъ. Вѣшь самъ на доброе здоровье, Да только не теперь, не во время урока, потому нельзя за урокомъ, а потомъ, когда прозвонять перемѣну.

Но, не желая пользоваться даровымъ угощеніемъ, Иванъ Максимовичъ тутъ же, такъ-сказать, отдариваль: даваль мальчику карандашъ, ручку, листъ какой-нибудь особенной бумаги, резину для стиранія написаннаго, вообще что-нибудь подобное.

Потомъ еще была у него изумительная страсть къ стальнымъ перьямъ...

У него была ихъ огромная коллекція, самыхъ разнообразныхъ. И если у кого-нибудь изъ учениковъ онъ усматриваль такое перо, котораго у него было, то тутъ же безъ всякой церемоніи заявляль:

— А доброе перо. Отдай-ка его мнѣ; тебѣ все равно какимъ ни писать, я тебѣ дамъ нѣсколько штукъ самыхъ лучшихъ, а ты мнѣ отдай это.

И тутъ же проходила мѣна, при томъ къ обоюдному удовольствію, такъ какъ Иванъ Максимовичъ всегда вознаграждалъ, если не сторицею, то въ десять разъ во всякомъ случаѣ.

Но особенно были интересны уроки рисовація.

Здѣсь, вѣдь, не было принужденія и обязательности, такъ что тѣ, которые учились рисовать, занимались добровольно, а слѣдовательно и съ нѣкоторымъ увлеченіемъ.

И Иванъ Максимовичъ очень цѣнилъ такихъ рисовальщиковъ.

— Доброе дѣло, доброе дѣло,—поощряль онъ всѣхъ такихъ.

Если ученикъ подавалъ надежды, имѣлъ способности, то Иванъ Максимовичъ восклицалъ:

— Ну, братикъ, можетъ Брюллова, изъ тебя и не выйдетъ, а рисуешь ты добре, ей же Богу, добре. Повѣрь моему слову, я врать не стану. Развивай Божій даръ, старайся.

Кажется, въ дни своей молодости, учась въ Академіи художествъ, онъ былъ ученикомъ знаменитаго нашего живописца Брюллова и проникся къ его генію величайшимъ уваженіемъ.

Если же рисунокъ его не удовлетворялъ, то онъ нѣсколько сердито говорилъ:

— Э, братикъ, такъ, братикъ, нельзя. Что же это у тебя такое, какая линія, какая тушовка? Ужь если ты учишься, то старайся, вѣдь за это родители деньги платятъ (за рисованіе у насъ полагалась отдѣльная, хотя и незначительная плата).

А ученикамъ, обладавшимъ средними способностями, онъ любилъ говорить:

— Ну, Брюллова изъ тебя не выйдетъ, а рисовать ты все-таки можешь, ей-Богу можешь. Такъ ужъ старайся, да рисуй хоть такъ, какъ рисовалъ покойный Тарасъ.

Тутъ Иванъ Максимовичъ складывалъ пальцы въ крестное знаменіе, задумчиво осѣнялъ себя широкимъ крестомъ и набожно произносилъ:

— Царство ему небесное!..

Кто такой этотъ Тарасъ, онъ намъ не объяснялъ, да мы и не спрашивали, потому что Иванъ Максимовичъ, вспоминая о таинственномъ Тарасѣ, всегда очень грустилъ. Мы думали, что это, по всей вѣроятности, какойнибудь его родственникъ.

Много послѣ я слышалъ, что нашъ старый учитель рисованія и чистописанія, Иванъ Максимовичъ, въ годы своей юности былъ близкимъ другомъ, учившагося тогда въ Петербургской Академіи художествъ, знаменитаго малорусскаго поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Онъ, какъ видно, не могъ, хоть и много ужъ прошло времени, забыть своего покойнаго друга, умершаго еще въ 1861 году.

Пансіонъ.

I.

Это былъ довольно тяжелый, довольно трудный день въ моей жизни.

Мой дядя и вмѣстѣ съ тѣмъ опекунъ, привезшій меня съ тѣмъ, чтобы сдать въ пансіонъ 1-й К—ской классической гимназіи, говорилъ съ инспекторомъ.

Я не слышалъ сути разговора, такъ какъ находился въ нѣкоторомъ отдаленіи. Я стоялъ и, какъ говорится, хлопалъ глазами. Мнѣ было, если сказать правду, очень не по себѣ. По сей день я учился въ другой гимназіи города, но не въ пансіонѣ, а приходящимъ, жилъ въ чужой, но хорошей семьѣ, куда попалъ послѣ смерти отца и гдѣ считался своимъ человѣкомъ. Тамъ я чувствовалъ себя достаточно свободной личностью, которой было дозволено не только дружитья, а въ случаѣ надобности и драться съ уличными мальчишками или на безконечно большое разстояніе провожать солдатъ, когда они съ музыкой шли по городу, но даже бѣгать на пожаръ и вступать тамъ въ споры и распри съ лицами, наблюдающими порядокъ и благочиніе во время этого общественнаго бѣдствія. На пожарахъ иногда даже я съ гордостью игралъ роль общественнаго дѣятеля: раза два или три я, вмѣстѣ съ прочими добровольцами разныхъ званій и сословій, качалъ воду.

Теперь я очень грустилъ, ибо отлично сознавалъ свое новое положеніе, понималъ, что свободѣ въ томъ видѣ, какова она была до сихъ поръ, приходитъ конецъ: сдѣлавшись пансіонеромъ, я, вѣ всякаго сомнѣнія, попаду уже

въ совѣмъ иную, стѣнительную для меня обстановку и лишусь многихъ привиллегій и вольностей, добытыхъ мною въ теченіе всѣхъ тринадцати лѣтъ моего земного существованія. Провожать солдатъ уже не придется, драки съ мальчишками возможны лишь въ праздничные дни, когда меня обѣщали „брать въ отпускъ“, а съ пожарами и совѣмъ придется проститься.

Согласитесь сами, что меня ждала незавидная, сравнительно со всѣмъ предшествующимъ, будущность для человѣка, сознающаго свое достоинство.

Я хлопалъ глазами и отъ нечего дѣлать осматривалъ „инспекторскую комнату“, гдѣ находился въ данное время. Инспекторская (въ другихъ мѣстахъ она называется „учительской“, ибо въ ней происходитъ отдохновеніе преподавателей во время перемѣнъ) новой гимназійи напоминала собою нашу прежнюю инспекторскую, куда, за разнаго рода провинности и нарушенія гимназическихъ правилъ, меня неоднократно призывали и, выслушавъ мои объясненія, или отпускали съ миромъ (это бывало относительно рѣдко), или налагали соотвѣтственную мѣру взысканія (это бывало значительно чаще). Впрочемъ, всѣ почти инспекторскія или учительскія (называйте ихъ, какъ вамъ будетъ угодно, ибо не въ имени дѣло) комнаты удивительно похожи одна на другую.

Инспекторской, окончивъ мой осмотръ, я остался совершенно доволенъ, такъ какъ, по моему крайнему разумѣнію, она была именно такова, каковой ей и надлежало быть. Но за то новый инспекторъ мнѣ не очень-то пришелся по вкусу. Онъ нисколько не напоминалъ своей наружностью нашего прежняго инспектора, Описима Ивановича, который такъ страшно кричалъ на насъ, но котораго, попривыкнувъ къ его громовому голосу, мы нисколько не боялись, зная, что, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, дѣло только этимъ грознымъ шумомъ и ограничится...

Новый инспекторъ былъ высокій господинъ съ быстро бѣгающими маленькими глазами, тоненькимъ голосомъ и, что самое скверное, рыжими волосами, таковыми же усами

и огненной бородой. Всѣ же рыжіе люди, такъ, по крайней мѣрѣ въ то время, думалъ я, неминуемо должны обладать достаточно злымъ характеромъ.

— „Стъ этого не отвертись, его не проведешь, съ нимъ шутки плохи“.

Таковы были, удручавшія меня, далеко не веселаго свойства мысли.

Тѣмъ временемъ разговоръ съ начальствомъ пришелъ, какъ и все на свѣтѣ, къ концу. Мой дядя обратился ко мнѣ съ подобающей случаю рѣчью, въ которой внушилъ мнѣ нѣсколько наиболѣе важныхъ и существенныхъ параграфовъ изъ правилъ тихаго поведенія и доброй правдивности, сказалъ, что, въ случаѣ хорошаго образа дѣйствій съ моей стороны, меня постоянно, по праздничнымъ днямъ, стануть брать въ отпускъ, далъ мнѣ, съ разрѣшенія господина инспектора, три рубля денегъ, поцѣловалъ меня въ голову, перекрестилъ, потомъ раскланялся съ инспекторомъ, сказалъ ему еще два-три прощальныхъ слова и удалился...

Въ первый моментъ мнѣ стало совѣмъ не по себѣ, я чувствовалъ себя въ положеніи мыши, попавшей въ мышеловку. Теперь я былъ одинъ, въ полномъ распоряженіи „рыжаго“. Такъ я окрестилъ новаго моего начальника и, какъ оказалось, будучи отъ природы умнымъ и наблюдательнымъ мальчикомъ, нисколько не ошибся въ опредѣленіи: вся гимназія поголовно именовала почтеннѣйшаго Юліана Ивановича именно этимъ словомъ. Исключеніе составляли только тѣ воспитанники, которыхъ природѣ заблагоразсудилось надѣлать волосами того же цвѣта, каковъ былъ у нашего инспектора. Эти слово „рыжіи“ благоразумно замалчивали.

Долженъ, однако, сказать, что, въ результатѣ результатовъ, какъ оно почти всегда и бываетъ, чортъ оказался совѣмъ не такимъ ужъ страшнымъ, какъ его малюютъ. Мало того: Юліанъ Ивановичъ, несмотря на свою внѣшнюю суровость, былъ прежде всего на рѣдкость справедливый человѣкъ, что дѣтьми всегда особенно цѣнится, и очень добрый, любившій, какъ свое отвѣтственное дѣло,

такъ и находящихся подъ его вѣдѣніемъ питомцевъ, особенно маленькихъ.

Помню, когда года черезъ два послѣ моего поступленія въ пансіонъ, Юліана Ивановича перевели куда-то директоромъ и онъ долженъ былъ насъ покинуть, при трогательномъ прощаніи съ нашимъ „рыжимъ“, многіе плакали совершенно искренно, а онъ, несмотря на повышение по службѣ, долго крѣпился, потомъ махнулъ рукой и самъ заплакалъ...

Но перехожу къ повѣствованію.

— Теперь, дѣти, я прикажу проводить васъ къ Ричарду Ричардовичу, — послышался голосъ инспектора.

Эта фраза вывела меня изъ задучивости. Какія такія дѣти, когда тутъ всего одно дитя, и притомъ довольно скверное. Я невольно оглянулся вокругъ и увидѣлъ, что, кромѣ насъ двухъ, т.е., инспектора и вашего покорнаго слуги, въ инспекторской находилось еще третье живое существо. Какъ я могъ его проглядѣть — не знаю, но, вѣроятно, я былъ сильно удрученъ, а потому и не замѣтилъ его. На одномъ изъ стоявшихъ у правой стѣны стульевъ, подъ портретомъ внушительнаго генерала съ орлинымъ взоромъ и сѣдыми баками (какъ оказалось потомъ, это было изображеніе одного изъ бывшихъ попечителей учебнаго округа), сидѣлъ довольно высокаго роста, худенькій бѣлокурый мальчикъ съ веснучатымъ лицомъ.

Инспекторъ сдѣлалъ пояснительный жестъ рукой. Бѣлокурый мальчикъ быстро поднялся и моментально, выразивъ на своемъ лицѣ глубочайшее почтеніе, вытянулся въ струнку.

— Антонъ!

Такъ сказалъ, вѣрнѣе выкрикнулъ, инспекторъ и на зовъ, въ одно мгновеніе, словно вынырнувъ откуда-то изъ-подъ земли, безшумно появилась высочайшаго роста и поразительной худобы фигура въ унтеръ-офицерскомъ мундирѣ, съ галунами и нѣсколькими серебряными и мѣдными медалями на груди.

Это былъ „недель“ Антонъ, господинъ, какъ пришлось мнѣ убѣдиться въ недалекомъ будущемъ, дѣятельный,

зоркій, неутомимый, относящійся крайне враждебно къ гимназистамъ, платившимъ ему взаимно тою же монетою. Впрочемъ, имѣть съ нимъ дѣло приходилось, главнымъ образомъ, „приходящимъ“ воспитанникамъ гимназій, а мы — „пасіонеры“ — сталкивались съ нимъ относительно рѣдко, да притомъ и времени, отъ постоянныхъ войнъ со своими пансіонскими „дядьками“, въ нашемъ распоряженіи оставалось не настолько много, чтобы удѣлять Антону особенное вниманіе.

— Отведи дѣтей въ пансіонъ къ Ричарду Ричардовичу, — протянулъ инспекторъ.

— Слушаю-сь! — отчеканилъ Антонъ ледянымъ, не имѣющимъ совершенно никакой интонаціи, равнозвучнымъ голосомъ.

— Ну, дѣти, постарайтесь вести себя хорошо, и вамъ хорошо у насъ будетъ. Обѣщаете?

Сказавъ эти слова, новый нашъ начальникъ посчиталъ нужнымъ притронуться рукой къ нашимъ волосамъ, что, повидимому, обозначало ласку въ настоящемъ и утѣшеніе относительно будущаго.

— Обѣщаете? — снова повторилъ онъ.

Бѣлокурый мальчикъ не сказалъ въ отвѣтъ ничего; онъ продолжалъ стоять, вытянувшись въ струнку, за то я съ величайшей готовностью пообѣщалъ вести себя самымъ наилучшимъ образомъ (самообладаніе уже успѣло ко мнѣ вернуться) и даже, по собственной инициативѣ, подкрѣпилъ свое обѣщаніе клятвой, которой отъ меня никто и не думалъ требовать.

— Пожалуйте! — отчеканилъ Антонъ тѣмъ же ледянымъ тономъ, на этотъ разъ обращаясь уже непосредственно къ намъ.

Онъ имѣлъ удивительную способность говорить всегда однозвучно, никогда, словно говорящая машина, не понижая и не повышая своего голоса.

II.

Предводимые Антономъ мы пошли по длинному коридору гимназій, прошли его, по чугунной лѣстницѣ поднялись на слѣдующій этажъ, потомъ еще выше, еще и, наконецъ, остановились передъ широкой, напоминающей добрыя домовыя ворота дверью. Антонъ позвонилъ. Дверь со скрипомъ распахнулась и передъ нашими глазами предстала особа, хотя и въ такомъ же унтеръ-офицерскомъ мундирѣ, какъ и Антонъ, и съ такимъ же количествомъ медалей, но совершенно другого типа. Это былъ невысокій, плотнаго сложенія человѣкъ съ багровымъ носомъ и еще болѣе багровой шеей, знаменитый въ нашихъ пансіонскихъ лѣтописяхъ дядька, Иванъ-Ябеда.

— Вотъ, Иванъ, примите. Господинъ инспекторъ приказали проводить ихъ къ господину дежурному воспитателю, — официальнымъ тономъ заявилъ Антонъ.

— Новички? — коротко спросилъ Иванъ, но въ его голосѣ, въ противоположность Антону, не было ничего официального.

Отъ Ивана-Ябеды пахнуло на насъ букетомъ самаго сквернаго табаку, называемаго махоркой, или, на югѣ, гдѣ обучался я, „корешками“. нъ заперъ дверь за немедленно удалившимся, по исполненіи инспекторскаго приказа, Антономъ. Дверь задрожала, замокъ звякнулъ какъ-то особенно и, что касается меня, то на меня все это подѣйствовало крайне угнетающимъ образомъ.

— Прощай приволье, — уныло подумалъ я.

— Ну, ходимъ, паньчи.

Иванъ-Ябеда говорилъ съ изряднымъ хохлацкимъ акцентомъ. Онъ энергично ударялъ на звукъ „о“, а его „е“ всегда звучало, какъ „э“ обратное.

По всѣмъ вѣроятіямъ наши фізіономіи выражали достаточную степень унынія, такъ какъ даже у дядьки Ивана явилась нѣкоторая потребность такъ или иначе ободрить насъ.

— Отò пріемная, отò спальня старшаго возраста,—пробурчалъ онъ, выразительно ткнувъ указательнымъ пальцемъ по направленію къ двумъ попавшимся на нашемъ пути дверямъ.

— А отò умывальники,—пояснилъ онъ, указывая на огромные мѣдные предметы, прикрѣпленные къ стѣнѣ и поразительно похожіе на колоссальные самовары, разрѣзанные надвое. Какъ разъ, не такъ давно передъ этимъ, я прочиталъ не помню ужъ какую именно историческую повѣсть, гдѣ, въ концѣ концовъ, какого-то малорусскаго гетмана поляки зажарили въ „мѣдномъ быкѣ“... Именно этотъ-то самый „мѣдный быкъ“ и пришелъ мнѣ на умъ при видѣ умывальниковъ. Безобидные и полезные предметы, служащіе исключительно только для чистоты и опрятности молодого поколѣнія, показались, по первому впечатлѣнію, мнѣ необычайно страшными.

Иванъ-Ябеда проводилъ насъ въ комнату для занятій. Это была обширная зала, вся уставленная „партами“ черной окраски, на три человѣка каждая, сдвинутыми по двѣ вмѣстѣ такимъ образомъ, что тремъ, сидящимъ на одной партѣ, приходилось сидѣть лицами къ тремъ, сидящимъ на противоположной. Посреди залы висѣла большая лампа, а по тому же направленію, у оконъ, выходящихъ на улицу, стоялъ небольшой столикъ. За столикомъ сидѣлъ красивый, стройный господинъ, брюнетъ съ пробивающейся уже просѣдью въ бородѣ, и что-то весьма старательно писалъ въ толстѣйшей книгѣ. Это и былъ воспитатель, а вмѣстѣ съ тѣмъ учитель нѣмецкаго языка, Ричардъ Ричардовичъ Гартманъ. Толстѣйшая же книга оказалась „кондуитнымъ“ или, проще сказать, штрафнымъ журналомъ, куда неукоснительно, въ назиданіе будущихъ поколѣній, вносились злыя дѣянія пансіонеровъ, а противъ описанія преступленій, въ особой графѣ, и при томъ уже рукой инспектора Юліана Ивановича, значилось: „лишить отпуска въ слѣдующій праздникъ“, „оставить безъ третьяго блюда“, „въ карцеръ на одинъ часъ“, и тому подобныя довольно краткія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма выразительныя изреченія.

Воспитатель довольно привѣтливо окинулъ насъ взглядомъ. Увидѣвъ, что я былъ въ форменной одеждѣ, онъ прежде обратился ко мнѣ.

— Какъ ваша фамилія?

Я сказалъ.

— Имя?

Я и это сказалъ. Онъ записалъ сказанное мною въ другую, лежащую передъ нимъ и тоже толстую книгу, а затѣмъ продолжалъ допросъ.

— Въ какой классъ поступаете?

— Въ третій.

— Вы раньше уже, вѣроятно, судя по формѣ, были въ другой гимназій?

— Да.

— Въ какой?

Я отвѣтилъ.

— А... у васъ тамъ слишкомъ много воли даютъ,— замѣтилъ онъ.

— Нѣтъ, у насъ тамъ было ужаено строго.

Мнѣ почему-то показалось, что эта невинная ложь должна непременно послужить мнѣ на пользу. Но воспитатель, видимо, плохо мнѣ повѣрилъ, потому что какъ-то сомнительно покачалъ головой.

— А какой языкъ изучали,— снова спросилъ онъ,— нѣмецкій или французскій?

— Я французъ.

— Нѣмецкій языкъ полезенъ,— сказалъ на это Гартманъ.

Я, конечно, не возражалъ.

Покончивъ со мной, Ричардъ Ричардовичъ обратился къ моему бѣлокурому спутнику.

— Ваша фамилія?

— Назаритенко, — отвѣтилъ тотъ необычайно тихимъ, даже нѣжнымъ голосомъ.

— Имя?

— Анатолій.

— Въ какой классъ поступаете?

— Въ третій.

- „Ага, значить товарищи!“ — подумалъ я.
- Гдѣ раньше учились? — продолжалъ Гартманъ.
- Дома-съ, — учтиво отвѣтилъ Назаритенко.
- Какой языкъ изучали?
- Оба, — проворковалъ Назаритенко.
- И нѣмецкій и французскій?
- Да-съ.

— Гмъ... это очень хорошо, что вы учитесь и нѣмецкому языку: это очень полезный, это даже болѣе чѣмъ необходимый языкъ, особенно потомъ, въ серьезныхъ научныхъ занятіяхъ.

Гартманъ дружелюбно посмотрѣлъ на Анатолия Назаритенко, потомъ все-таки постарался такъ же любезно посмотрѣть и на меня.

— Пойдемъ, господа, я укажу вамъ мѣста, гдѣ вы будете сидѣть, — обратился онъ къ намъ, поднимаясь со стула.

Онъ повелъ насъ на лѣвую половину комнаты. Только теперь я хорошенько осмотрѣлся и увидѣлъ, что вся комната биткомъ набита молодыми людьми всякаго возраста, изъ коихъ не мало было и весьма солидныхъ юношей съ усиками и даже легкой растительностью на мѣстѣ будущей бороды.

Старшіе лѣнливо, словно нехотя, а какъ-то невольно, оборачивали свои головы въ нашу сторону, зато младшіе дѣлали это съ глубочайшимъ наслажденіемъ и величайшимъ любопытствомъ. Послышался довольно громкій и вмѣстѣ съ тѣмъ многозначительный шопоть.

— Новички, новички.

— Новички-дурачки-и! — пропѣлъ гдѣ-то высокій дискантъ.

— Тихе! — прикрикнулъ воспитатель.

— Дурачки-и! — донесся откуда-то совѣмъ съ другой стороны гармоническій альтъ.

— Молчать! — снова пригрозилъ Гартманъ, и дальнѣйшее пѣніе смолкло.

— Ну, будутъ колотить, — порѣшилъ я, такъ какъ

настроение толпы къ новичкамъ было, очевидно, враждебное, угрожающее.

Раздумывая объ этомъ, я мысленно приготовился къ отпору и далъ себѣ слово, во всякомъ случаѣ, продать свою шкуру насколько возможно дороже.

Ричардъ Ричардовичъ нашелъ два свободныхъ мѣста рядомъ. Назаритенко занялъ крайнее мѣсто, я среднее. Другой мой сосѣдъ былъ высокій, лѣтъ четырнадцати мальчикъ. Черты его лица были неправильны и не отличались красотой, но зато ясные голубые глаза глядѣли такъ тепло и душевно, что я немедленно же почувствовалъ себя много легче.

Положеніе, однако, было не изъ завидныхъ. Прежде всего я не зналъ, что дѣлать. Я бы занялся размѣщеніемъ въ опредѣленномъ для меня ящикѣ несложнаго имущества, привезеннаго со мною, но Иванъ-Ябеда, взявшій наши пожитки отъ Антона, сказалъ, что принесетъ ихъ намъ во время перерыва отъ занятій, а до этого было еще далеко... А потому, изнывая и отъ бездѣйствія, и отъ неловкости положенія, я сидѣлъ и съ невольной грустью ожидалъ будущаго. Физиономіи многихъ пансіонеровъ, сидѣвшихъ на ближайшихъ партахъ, не предвѣщали ровно ничего добраго. Я зналъ, что въ тѣ относительно еще дикія времена къ новичкамъ, вмѣсто того, чтобы обласкать и ободрить ихъ, новые ихъ товарищи относились на первыхъ порахъ недружелюбно. И первые признаки недружелюбія уже чувствовались въ воздухѣ. Едва только дежурный воспитатель удалился на свое мѣсто, какъ въ меня уже успѣло попасть нѣсколько хлѣбныхъ шариковъ, какое-то мягкое, слизистое вещество въ родѣ хорошо пережеванной бумаги и нѣсколько старыхъ перьевъ. Въ грядущемъ могло быть и хуже, до лупки включительно. Въ свое время, въ прежней гимназій, гдѣ, считая съ приготовительнымъ классомъ, мнѣ пришлось пробыть три года, я самъ довольно дѣятельно обижалъ новичковъ, не представляя собою исключенія изъ общаго глупаго правила, а теперь самъ съ горькой обидой ожидалъ, что и меня, стараго, опытнаго гимназиста ждетъ подобная же участь,

потому что, при данныхъ обстоятельствахъ, въ новой гимназіи я самъ былъ не что иное, какъ жалкій новичекъ, и даже хуже: я перешелъ изъ другой гимназіи, а у насъ между гимназистами разныхъ гимназій существовала постоянная вражда. До этого мы были, такъ-сказать, врагами. Теперь предстояло сдѣлаться союзниками, но это дѣлалось не такъ-то легко...

Словомъ, такъ или иначе, а мысли волновавшія меня были самаго непріятнаго свойства.

Мой сосѣдъ, мальчикъ съ голубыми глазами, однако, не вселялъ во мнѣ чувства недоброжелательства къ себѣ. Наоборотъ, онъ, чувствуя мою неловкость, заговорилъ первый. Онъ шопотомъ задалъ мнѣ нѣсколько обычныхъ въ такихъ случаяхъ вопросовъ: кто я, откуда, какъ зовутъ, какого класса и проч. Я отвѣчалъ довольно неохотно, но узналъ и отъ него, что онъ ученикъ четвертаго класса, былъ раньше приходящимъ въ той же гимназіи, но вотъ уже три недѣли, какъ отданъ въ пансіонъ. Фамилія Лукомскій, имя—Петръ.

— Можетъ-быть, хотите книгу почитать?—обратился онъ ко мнѣ, покончивъ со всѣми предварительными вопросами.

Это было, дѣйствительно, спасительное средство отъ горькихъ думъ. Читать я любилъ, и даже очень, а потому чуть не съ радостью сказалъ:

— Дайте, если есть.

— Сейчасъ.

Онъ приподнял крышку своего ящика, порылся между книгами и далъ мнѣ одну изъ нихъ.

— Это прекрасная книга,—сказалъ онъ.

Видя такую вѣжливость, я тоже постарался отличиться хорошими манерами и сказалъ:

— Спасибо!

Я открылъ книгу. Это былъ „Князь Серебряный“ гр. А. К. Толстого.

Первыя двѣ страницы прочиталъ я плохо, а потомъ увлекся...

Лучшее средство отъ всякаго рода горькихъ думъ и сомнѣній хорошая книга...

III.

Раздался рѣзкій звонъ колокольчика. Это звонилъ дежурный воспитатель, оповѣщая часъ или, если ужъ быть точнымъ, получасъ отдыха.

Занятія въ пансіонѣ были распредѣлены такъ: мы вставали въ шесть часовъ утра и, послѣ молитвы, занимались до половины восьмого, потомъ пили чай и вновь занимались до девяти. Затѣмъ слѣдовали полчаса полнаго отдыха, послѣ чего намъ надо было спуститься внизъ въ гимназическіе классы, откуда мы возвращались обратно въ пансіонъ, если было пять уроковъ, въ половину третьяго, если меньше, то, разумѣется, раньше.

Это была первая часть пансіонскаго дня.

Обѣдали въ три часа, затѣмъ были свободны до пяти. Съ пяти занимались до половины седьмого, отдыхали полчаса и снова занимались до трехъ четвертей восьмого. Послѣ этого слѣдовалъ вечерній чай, а за симъ отдыхъ. Въ девять часовъ вечера вечерняя молитва, послѣ которой три младшіе класса и приготовительный шли спать, а пять старшихъ классовъ занимались еще одинъ часъ, т. е., до 10 часовъ вечера.

Звонокъ воспитателя, о которомъ я только что упомянулъ, извѣщалъ о получасовомъ перерывѣ вечернихъ аній, т. е., это было въ половину седьмого.

Мигомъ поднялся невообразимый гвалтъ и шумъ. Мальчики быстро повскакивали съ мѣсть и большинство ихъ побѣжало изъ залы въ коридоръ.

— Я скоро вернусь, — сказалъ мнѣ Цыбульскій, — и направился къ выходу.

Вышелъ и дежурный воспитатель.

Я и Назаритенко остались сидѣть на своихъ мѣстахъ и молчали. Не знаю почему, но я не имѣлъ ни малѣйшей охоты разговаривать съ нимъ, хотя для этого и были основанія: несомнѣнно и онъ, какъ новичокъ, да еще поступившій прямо изъ дому, чувствовалъ себя не

въ своей тарелкѣ, а слѣдовательно намъ-то и подобало держаться одинъ другого. Но онъ не дѣлалъ ровно никакихъ попытокъ къ сближенію, а мнѣ, изрядному волченку и дикарю по природѣ, тоже не хотѣлось дѣлать перваго шага въ этомъ направленіи.

Иванъ-Ябеда быстро исполнилъ свое обѣщаніе и притащилъ наши пожитки: у меня была небольшая шкатулка, у Назаритенка узелокъ.

— Отъ теперъ и устраивайтесь себѣ на доброе здоровье,—сказалъ дядька,—а одежду вашу я уже сдать въ гардеробъ.

Съ этими словами онъ удалился.

Но едва успѣли мы запрятать наше имущество въ ящики, какъ уже передъ нами стояли четыре гимназиста, приблизительно нашего возраста. Физиономіи у нихъ были въ достаточной мѣрѣ заборныя...

— „Вотъ оно, сейчасъ начинается“, — подумалъ я и приготовился, по мѣрѣ возможности, не посрамить себя, не ударить въ грязь лицомъ.

Мальчики стояли передъ нами.

— Носатый,—произнесъ одинъ изъ нихъ.

Это внѣ всякаго сомнѣнія относилось ко мнѣ, и это была, до нѣкоторой степени правда, такъ какъ судьбѣ было угодно надѣлать меня носомъ нѣсколько превышавшимъ тотъ размѣръ, который бы дѣлалъ мою физиономію правильной.

— Бѣлобрысый, рябой, — съ дерзостью произнесъ другой мальчуганъ.

Это, конечно, относилось уже къ Назаритенкѣ.

Не знаю, что сказалъ онъ, но я, такъ какъ не любилъ замѣчаній о своемъ носѣ, оскорбился.

— Вы ко мнѣ не приставайте,—отозвался я съ достоинствомъ.

— Ишь, какой важный,—продолжалъ непріятель.

— Оставьте меня,—настойчиво сказалъ я.

— А если не оставлю?

— Тогда...

— Ну, что тогда, тогда что? — задорно приставалъ мальчуганъ.

Я и самъ не зналъ, что именно должно послѣдовать тогда, и потому, чтобы съ одной стороны не потерять собственного престижа, а съ другой стороны сбить противника съ позиціи неопредѣленностью, отвѣчалъ довольно гадательно:

— А вотъ сами увидите.

Незнакомецъ приблизился ко мнѣ.

— Вы себѣ не воображайте, — проговорилъ онъ съ нѣкоторой угрозой въ голосѣ.

И я постарался сказать грозно.

— И вы не воображайте.

— А этого не хотите?

Откровенно говоря, я этого вовсе не хотѣлъ, такъ какъ „это“ было кулакомъ, приставленнымъ къ моему носу, и довольно грязнымъ кулакомъ, запачканнымъ въ чернила... Мой носъ чувствовалъ не только приближеніе непріятнаго орудія, но даже его теплоту.

Видя непосредственную опасность, я невольно отстранилъ руку соперника.

— Эге, вы вотъ какъ... А ну-ка, попробуйте.

И онъ слегка толкнулъ меня.

— А вы не толкайтесь, — отвѣтилъ я и тоже слегка подтолкнулъ его.

Не знаю, чѣмъ бы это все кончилось, но совершенно неожиданно со стороны Назаритенка раздался отчаянный вопль, а потомъ рыданіе.

Вѣроятно, и съ нимъ велся подобный же разговоръ, какъ и со мною, но онъ не выдержалъ роли.

Едва только раздался вопль Назаритенка, какъ мальчуганы моментально пустились наутекъ, но въ самыхъ дверяхъ столкнулись съ Ричардомъ Ричардовичемъ, уже спѣшившимъ на отчаянный крикъ новичка.

— Охременко, Войновъ, Дверницкій, Богдановъ, стойте. Что случилось?.. А?..

И онъ быстро подошелъ къ намъ.

— Что такое, отчего вы плачете? — спросилъ онъ.

— Они дерутся, — сквозь слезы бормоталъ Назаритенко.

— Кто они, всѣ эти?

Онъ указаль на четырехъ захваченныхъ имъ преступниковъ.

— Нѣтъ, вотъ этотъ,—рыдая сказала Назаритенко, и указаль на одного изъ мальчиковъ.

— А, Охременко, это вы... хорошо-съ...

— Я только... — началъ было свое оправданіе мальчуганъ.

— Вы только... знаю, хорошо знаю. Теперь ступайте подъ лампу, а потомъ мы поговоримъ относительно васъ съ инспекторомъ.

— Васъ тоже трогали?—обратился онъ ко мнѣ.

Я былъ настолько взволнованъ возможностью предстоящей мнѣ опасности, что по первому началу ничего не могъ отвѣтить.

Воспитатель принялъ мое молчаніе за утвердительный отвѣтъ.

— Кто васъ трогаль, вотъ этотъ? Богдановъ вы?—

И онъ указаль именно на того, который со мною затѣяль ссору.

Но я уже пришелъ въ себя. Богдановъ смотрѣль на меня своими черными глазами въ упоръ. Они были нѣсколько дерзкіе эти черные глаза, но такіе большіе, смѣлые, словно испытывали.

Духъ товарищества и самообладаніе сразу овладѣли мною и я твердо отвѣчалъ.

— Меня никто не трогаль.

— Да вы не бойтесь, скажите прямо, — настаиваль воспитатель, пытливо поглядывая то на меня, поощряя, то на Богданова очень строго.

— Я и не боюсь, меня никто не трогаль.

— А васъ онъ не обижаль?— снова обратился Ричардъ Ричардовичъ къ Назаритенкѣ.

Тотъ продолжалъ еще хныкать.

— Кажется, и онъ трогаль,—вexлипнулъ онъ.

Но тутъ уже мнѣ стало досадно. Я отлично зналь, что Богдановъ его трогать не могъ, такъ какъ собирался устроить битву со мной.

— Нѣтъ,—сказаль я довольно рѣзко, — онъ его не могъ трогать. Это неправда.

— Почему?—спросиль воспитатель.

— Потому что онъ все время разговариваль со мной.

— То-есть, приставаль къ вамъ.

— Нѣтъ, такъ прямо разговариваль.

— О чемъ?

— Ну, вообще... спрашиваль.

— Ваше дѣло, какъ хотите, — сказалъ воспитатель, а затѣмъ обратился къ Назаритенкѣ:

— Если васъ кто-нибудь хоть пальцемъ тронетъ, то вы сейчасъ же скажите мнѣ. Я строго, безъ всякаго снисхожденія накажу виновныхъ.

— Хорошо-съ,—промычаль Назаритенко сквозь слезы.

— А когда придетъ инспекторъ, вы ему расскажите все. Охременко давно замѣченъ.

И воспитатель ушелъ.

Меня взволновала, однако, несправедливость. Богдановъ Назаритенка не трогаль.

— Затѣмъ же вы наврали? — сказалъ я, когда вся группа удалилась.

— Я не враль,—со злобой отвѣтилъ Назаритенко,— онъ меня толкнуль, а я его не трогаль.

— Но не этотъ, не второй, — замѣтилъ я.

— Все равно... пусть.

Я не могъ удержаться и прошепталъ:

— Ябедникъ.

IV.

Пока расхлебывалась вся эта каша, полчаса отдыха миновали и занятія снова начались.

Воспитатель вызваль насъ—новичковъ въ библіотечу, чтобы выдать намъ учебныя книги и пособія.

Тамъ пришлось провозиться, такъ что часъ занятій прошелъ довольно быстро.

Раздался новый звонокъ. Воспитанники снова устремились къ коридору.

Я толкся на одномъ мѣстѣ, не зная, что предпринять.

— У тебя есть пара?

Я обернулся. Передо мной стоялъ мой недавній недоброжелатель Богдановъ.

— Какая пара?

— На чай.

— То-есть, какъ это?—спросилъ я недоумѣвая.

— А строиться въ пары. Мы, когда ходимъ на чай и обѣдъ, всегда строимся въ пары.

— У меня нѣтъ.

— Такъ я буду тебѣ парой, хочешь?

— Хорошо,—отвѣтилъ я.

— Идемъ.

Онъ взялъ меня за руку и скорыми шагами потащилъ въ коридоръ.

Здѣсь воспитанники уже выстроились длинной вереницей, словно солдаты. Богдановъ и я заняли мѣсто. Черезъ двѣ минуты мы двинулись въ самый нижній этажъ зданія, гдѣ находилась столовая, для которой въ помѣщеніи пансіона не было подходящаго мѣста.

— Ты въ третій классъ? — спрашивалъ Богдановъ уже на ходу.

— Да.

— Значить, товарищи. А съ этимъ ябедой ты не дружи,—продолжалъ болтать Богдановъ, намекая, очевидно, на Назаритенко.

— Я и безъ тебя отлично знаю,—говорилъ я, уже не чувствуя никакой робости.

— Ты товарищъ, это видно,—глубокомысленно замѣтилъ Богдановъ.

— А вы зачѣмъ къ новичкамъ пристаете?—спросилъ я уже внизу, когда мы входили въ столовую.

— Ну, развѣ не знаешь... нельзя же... надо узнать все, какъ слѣдуетъ.

Это было сказано довольно неопредѣленно, но для меня достаточно понятно.

— Ты садись рядомъ со мной,—сказаль Богдановъ.
— Хорошо.

Мы стали у своихъ мѣсть. Прочитали молитву, послѣ чего всѣ сѣли за чай. Его полагалось по два стакана на человѣка, при небольшой булкѣ.

Чаепитіе продолжалось недолго, минутъ десять.

Совершенно въ такомъ же порядкѣ, а вѣрнѣе безпорядкѣ, такъ какъ „пары“ шли весьма нестройно и притомъ съ величайшимъ гамомъ и шумомъ, возвратились мы обратно наверхъ.

До сна оставалось около часу.

Не могу сказать, чтобы первый вечеръ, проведенный въ пансіонѣ, показался мнѣ особенно пріятнымъ. Во всякомъ случаѣ, я чувствовалъ себя стѣсненнымъ, но Богдановъ, взявшій меня подъ свое, такъ-сказать, покровительство дѣлалъ все отъ него возможное, чтобы только развлечь меня.

— Ты чего же это такой?—спрашиваль онъ, видя, что я нѣтъ-нѣтъ да и взгрустну.

— Какъ какой?—спросиль я въ свою очередь.

— Да такой... надутый, кислый.

— Да такъ, скучно.

— А ты не скучай.

— Это ужъ не отъ меня зависить,—замѣтилъ я довольно резонно.

Но Богдановъ продолжалъ свои утѣшенія.

— Главное, не будь бабой. Я, братъ, тоже, когда поступиль сюда, скучаль, а теперъ привыкъ,—и ничего. Да ты въ отпуски будешь ходить по праздникамъ?—добавиль онъ.

— Буду.

— Ну, вотъ видишь, а еще скучаешь. Я вотъ и совсѣмъ въ отпускъ не хожу, а и то ничего,—сказаль онъ съ отѣнкомъ грусти.

— Почему?—спросиль я.

— А очень просто, почему. Родители мои живутъ

далеко отсюда, въ уѣздномъ городѣ. За мной только и пріѣзжаютъ, что на Рождество да на Пасху. Зато ужъ эти дни гуляешь въ волю. Ждешь, не дождешься, когда время настанетъ.

И тутъ глаза его приняли самое восторженное выраженіе.

Очевидно, воспоминанія о родномъ домѣ, о родной семьѣ волновали и трогали его душу.

Богдановъ, какъ я замѣтилъ потомъ, былъ изрядный „задира“ и бойкій мальчикъ, но за смѣлый, открытый и въ сущности безконечно добрый характеръ пользовался общей любовью товарищей.

Потому-то „протекція“, оказанная имъ мнѣ въ этотъ первый вечеръ, проведенный мною въ пансіонѣ, сильно послужила мнѣ на пользу.

О нашей первой, по началу столь недружелюбной встрѣчѣ, знали уже многіе, и такъ какъ я оказался, хоть и новичкомъ, но не ябедникомъ, то и отношенія между мною и новыми моими товарищами установились довольно хорошія.

Не болѣе, какъ черезъ двадцать минутъ послѣ чаепитія и послѣ того, какъ Богдановъ показалъ мнѣ свои „собственныя“ книги (онъ очень любилъ читать и „собственныхъ“ книгъ у него было десятка два, чѣмъ онъ весьма гордился), мы въ количествѣ человѣкъ пяти уже играли въ рекреационной залѣ въ какую-то подвижную игру.

Это въ значительной степени развлекло меня и помогло скоротать вечеръ.

Зато съ Назаритенкой рѣшительно никто не говорилъ. Его, однако, уже не трогали, и онъ въ уныломъ одиночествѣ копошился возлѣ своего ящика, приводя въ порядокъ выданные учебники и прочее имущество.

Вообще, этотъ воспитанникъ съ перваго же дня занялъ исключительное положеніе между нами...

Наконецъ, раздался звонокъ, призывающій на вечернюю молитву, послѣ чего „младшій возрастъ“, т. е., ученики приготовительнаго и трехъ первыхъ классовъ, направились спать...

Мнѣ указали свободную кровать возлѣ какого-то незнакомаго еще мнѣ мальчика изъ другого класса...

Впослѣдствіи, когда я окончательно освоился съ пансіонской жизнью, я перемѣнилъ свое мѣсто и перебрался въ кругъ товарищей-третьеклассниковъ.

Не скажу, чтобы я засыпалъ спокойно и весело. Много разныхъ мыслей тѣнилось въ моей головѣ... Вспоминался родной домъ, вспоминался покойный папа, разошедшаяся въ разныя стороны семья, наконецъ, и то семейство, гдѣ я жилъ послѣ смерти отца... Словомъ, многое, многое припомнилось мнѣ въ эту первую пансіонскую ночь. И то, что въ сущности было такъ недавно, какихъ-нибудь два, три года тому назадъ, показалось мнѣ далекимъ, но навсегда незабвеннымъ, навсегда дорогимъ, дорогимъ уже потому, что оно было безповоротно потеряно мною. Въ этотъ день я простился съ тою порою жизни, которая называется первымъ, „золотымъ“ дѣтствомъ. И дѣйствительно, много еще радостныхъ минутъ пришлось испытать мнѣ въ дальнѣйшей жизни, но это были уже не тѣ свѣтлыя, безоблачныя радости, которыя лепѣли меня въ родномъ домѣ.

Грустно мнѣ было, такъ грустно, что я едва-едва не разрыдался, и только боязнь прослыть плаксою удержала меня отъ слезъ.

Хорошо еще, что пришелъ Богдановъ и посидѣлъ нѣкоторое время возлѣ меня, рассказывая, главнымъ образомъ, о пансіонскихъ порядкахъ...

Я заснулъ, а въ шесть часовъ слѣдующаго утра громкій звонокъ возвѣстилъ, что пора вставать.

Проснувшись, я въ первый моментъ даже не могъ сообразить, гдѣ я и что со мной.

— Ну, вставай. Идемъ умываться!..

Это былъ голосъ Богданова.

И съ этого дня потянулась моя пансіонская жизнь, продолжавшаяся почти четыре года.

Д Я Д Ъ К И.

I.

Вавиловъ.

Дядьки играли огромную роль въ нашей пансіонской жизни.

За тѣ нѣсколько лѣтъ, которыя мнѣ пришлось быть „пансіонеромъ“, у насъ перемѣнилось ихъ нѣсколько...

Всего ихъ полагалось, какъ и воспитателей, четыре, изъ коихъ ежедневно дежурило два.

Многіе изъ нихъ служили недолго, уходя по тѣмъ или инымъ причинамъ, а потому я ихъ помню смутно, но Вавиловъ и Иванъ, прозываемый „Ябедой“, не оставляли пансіонской службы во все время моего пребыванія, а потому запечатлѣлись въ моей памяти очень хорошо.

Въ сущности, это были добродушнѣйшіе люди, оба отставные солдаты; но намъ казалось, что они заняты исключительно только тѣмъ, чтобы дѣлать нашему брату-гимназисту всяческія непріятности; въ силу такихъ соображеній и мы, въ свою очередь дѣлали все возможное, чтобы только насолить имъ.

Иванъ-Ябеда человѣкъ дѣятельный и энергичный, дѣйствительно, довольно ретиво относился къ своимъ обязанностямъ, старался уловлять насъ въ разныхъ беззаконіяхъ и очень часто „доносилъ“ по начальству о нашихъ дѣяніяхъ.

— Отъ сейчасъ пойду и донесу господину воспи-

тателю,—говорилъ онъ, выслѣдивъ что-нибудь подобное куренію или игрѣ въ перья.

И, дѣйствительно, шелъ и докладывалъ. По этой-то именно причинѣ его и называли „ябедой“...

Старшіе воспитанники его не боялись, потому что онъ и самъ старался съ ними быть въ ладу, смотря на все сквозь пальцы и пользуясь за это нѣкоторыми выгодами, но для малышей его дѣятельность была очень непріятна, и потому его не любили, стараясь всѣми силами перехитрить его и не попадаться ему на глаза при совершеніи разнаго рода проступковъ противъ „правиль“.

Что касается Вавилова, то тутъ уже не было рѣшительно никакихъ основаній для враждебнаго къ нему отношенія. Оно, правда, существовало, но болѣе по простой привычкѣ видѣть во всякомъ „дядькѣ“ непріятеля, а во все не благодаря его отношеніямъ къ намъ.

Можно утвердительно сказать, что къ намъ онъ рѣшительно никакъ не относился.

Онъ существовалъ при пансіонѣ съ незапамятныхъ временъ и былъ такъ старъ, что выказывать какую-либо дѣятельность рѣшительно не могъ.

Все, чего онъ только хотѣлъ, это одного полного покоя и ужасно сердился, если этотъ покой чѣмъ-нибудь былъ нарушенъ.

„Ловить“ на мѣстѣ преступленія онъ не выказывалъ ни малѣйшаго желанія, а если случайно что-нибудь видѣлъ, то не жаловался воспитателю уже по одному тому, что надо было идти въ другой конецъ пансіона, изложить суть дѣла, разъяснить все, что слѣдуетъ, а это было сопряжено съ движеніемъ.

Вавиловъ вѣчно сидѣлъ на своемъ мѣстѣ и дремалъ. Малыши же, какъ нарочно, старались тѣмъ или инымъ способомъ нарушить это мирное занятіе, и тогда Вавиловъ приходилъ въ ярость.

— Чертенята!—отчаянно вопилъ онъ, если какой-нибудь мальчуганъ, во время его дремоты, подкрадывался къ нему и щекоталъ бумажкой за ухомъ,

Онъ всакивалъ съ мѣста и кричалъ въ догонку удирающему во все лопатки проказнику.

— Вотъ ужъ доберусь до тебя, скажу воспитателю, задасть онъ тебѣ.

Но такъ какъ онъ даже не успѣвалъ разсмотрѣть, кто именно его побезпокоилъ, то немедленно же снова опускался на скамейку и начиналъ дремать.

Единственно, что онъ дѣлалъ съ энергіей—это звонилъ въ колокольчикъ, когда надо было возвѣстить перемѣну занятій, обѣдъ, чай, вечернюю или утреннюю молитву и т. д.

Звонилъ онъ не только энергично, но даже съ какимъ-то ожесточеніемъ, такъ что характеръ его звона можно было опредѣлить безошибочно: никакой другой дядька не поднималъ такого ужаснаго трезвона, какъ будто случилось какое-нибудь несчастье въ родѣ пожара или землетрясенія, или нашествіе непріятелей.

Объясненіе этого факта очень просто: Вавиловъ сидѣлъ на то, что приходилось тревожиться.

Вавиловъ считался „старшимъ дядькой“. На это онъ, пожалуй, имѣлъ полное право, ибо, если, въ сущности, уже не годился для своей хлопотливой должности, то за выслугу лѣтъ достоинъ былъ всякаго почета.

Какъ я уже сказалъ, онъ былъ очень старъ. Сколько ему тогда было лѣтъ, я сказать рѣшительно затрудняюсь. Вѣроятно, лѣтъ девяносто, не менѣе. И это не выдумка, а правда. Онъ служилъ уже въ 1812 году, участвовалъ въ битвѣ съ Наполеономъ и ходилъ въ заграничный походъ 1813 года. Кромѣ того онъ же участвовалъ въ усмиреніи польскаго возстанія 1831 года и венгерскомъ походѣ.

Словомъ, повоевалъ онъ на своемъ долгомъ вѣку достаточно и былъ несомнѣнно бравый солдатъ. У него была масса медалей, нашивокъ на рукавахъ (онъ, кажется, былъ фельдфебелемъ) и цѣлыхъ четыре георгіевскихъ креста, два серебряныхъ, изъ коихъ одинъ съ бантомъ, и два золотыхъ, т. е., имѣлъ рѣшительно все отличія, какія только доступны нижнему чину.

Въ хорошія минуты онъ позволялъ разсматривать эти кавалерскіе знаки.

Разсматривалъ ихъ и я. Помню, на одной изъ медалей было написано: „не намъ, не намъ, а имени Твоему, Господи“...

Но Вавиловъ рѣдко находился въ хорошемъ настроеніи духа, и тогда, на просьбу показать свои медали, отвѣчалъ очень кратко.

— Отстань, поганый, чего ты привязался.

Что въ немъ сидѣлъ духъ настоящаго воина, это не подлежало сомнѣнію. Послѣ венгерскаго похода онъ получилъ „чистую“, какъ выражался, отставку, но, когда надъ родиной стряслась новая бѣда, снова пошелъ служить и перенесъ все невзгоды геройской защиты Севастополя...

Судьба, однако, хранила браваго солдата: онъ, кажется, и раненъ былъ только одинъ разъ, и то легко.

Послѣ севастопольской кампаніи онъ и поступилъ въ нашъ пансіонъ. Тутъ-то и начались его бѣдствія: побѣдитель французовъ, умиритель польскаго возстанія, отважный севастополецъ, наконецъ, нашелъ такихъ непріятелей, передъ которыми приходилось пассивовать... нѣсколько десятковъ маленькихъ сорвиголовъ, которымъ не было рѣшительно никакого дѣла до прошлыхъ подвиговъ героя.

Вавиловъ былъ вообще не словоохотливъ и о своемъ прошломъ говорилъ очень мало. Только иногда, если ужъ бывалъ въ очень хорошемъ настроеніи (и неминуемо, если ему удавалось предварительно хорошенько покушать и при этомъ выпить рюмочку-другую), онъ говорилъ окружающимъ его пансіонерамъ.

— Да, братецъ ты мой (хоть этихъ „братцевъ“ было нѣсколько), всего-то я натерпѣлся, всего-то я насмотрѣлся. Самъ, небось, знаешь, какая ранѣ служба была. Теперь что?.. Теперь, братецъ ты мой, развѣ служба, а тогда была служба.

— Да расскажи, Вавиловъ, расскажи что-нибудь, — приставали къ нему.

— А что тебѣ рассказывать?

— Да такъ, что видѣлъ.

— Мало ли, братецъ ты мой, что видѣлъ. Все видѣлъ. Француза видѣлъ, поляка видѣлъ, венгра видѣлъ, опять же турку, француза и англичанина. Мало ли чего видѣлъ, всего не расскажешь. Поживи, вотъ, съ мое и самъ увидишь, а что я тебѣ стану рассказывать.

Вотъ и все, что приходилось отъ него слышать по поводу его боевого прошлаго.

Иногда, впрочемъ, онъ распространялся и на гражданскую тему, но только одну единственную.

— Да, братецъ ты мой, много тоже я передралъ вашего брата.

— Какъ, то-есть, передралъ?—съ недоумѣніемъ спрашивалъ какой-нибудь мальчуганъ.

— Да такъ, очень просто.

— Какъ просто?

— Обыкновенно, какъ деруть.

— Когда?

— По субботамъ.

— Это еще какъ? — продолжали недоумѣвать слушатели.

— А такъ, по субботамъ, разложить этакимъ манеромъ и всыпать, кому пять, кому десять, а кому и цѣлыхъ пять десятковъ.

— За что?

— А такъ, за разное. Учишься плохо, ну, тебѣ и влепятъ по первое число, прошалился—опять тебѣ въ субботу пропишутъ баню.

Вавиловъ служилъ еще въ то время, когда въ учебныхъ заведеніяхъ практиковались тѣлесныя наказанія.

— А тебѣ не жалко было?

— Чего жалко?

— Да сѣчь.

— А чего я стану жалѣть. Миѣ приказано дать десятокъ розогъ, ну, и дамъ десятокъ. Прибавить нельзя, потому, значитъ, по положенію, убавить опять же никакъ

нельзя, потому десятокъ полагается, ну, и получай свое, сколько тебѣ по закону слѣдуетъ.

— Да вѣдь больно.

— А мнѣ что. Твоя вина, тебѣ значитъ и больно, а я тутъ не виновать.

— Что жъ, кричали? — спрашивали старика.

— Иной такъ горло дралъ, что въ ушахъ звенѣло, а иной молодецъ, словно въ ротъ воды наберетъ. Вышешь это десятка два, а онъ хоть бы тебѣ слово. Вотъ Петръ Семеновичъ, такъ тотъ не кричалъ...

— Какой Петръ Семеновичъ? — недоумѣвали мы.

— Какой?.. Нешто не знаешь воспитателя.

Тутъ Вавиловъ даже улыбался при такомъ пріятномъ воспоминаніи.

Петръ Семеновичъ, учитель словесности и одинъ изъ нашихъ воспитателей, любимецъ пансіона, воспитывался въ нашей гимназіи и потомъ, по окончаніи университета, въ нее же и на службу опредѣлился.

Узнавъ о томъ, что Петръ Семеновичъ былъ, по словамъ стараго дядьки, молодцомъ и не кричалъ, мы шли къ нему гурьбой и докладывали:

— Петръ Семеновичъ, Петръ Семеновичъ, а Вавиловъ разеказывалъ, какъ онъ васъ сѣкъ по субботамъ.

— Ахъ, старый хрѣнъ, чужія тайны выдаетъ, — смѣясь говорилъ воспитатель.

— И здорово сѣкъ? — допытывались мы.

— Изрядно... вамъ бы не пожелалъ. Ну, теперь, слава Богу, все это по боку.

Помнитея, въ тотъ вечеръ, когда мы впервые узнали отъ Вавилова, что нашъ воспитатель подъ розгами не имѣлъ обыкновенія кричать, Петръ Семеновичъ, шуткой, въ нашемъ присутствіи, сказалъ старику:

— Ты что же это, Вавиловъ, разеказываешь дѣтямъ о томъ, что будто бы сѣкъ меня.

— А развѣ вру, что ли?.. Небось и сами помните... Не разъ, чай, приходилось пробовать березовую кашу, — отвѣчалъ Вавиловъ не безъ чувства собственнаго достоинства.

Петру Семеновичу оставалось только признать фактъ и улыбнуться: уста стараго воина не знали лжи и въ-щали одну только правду.

Лично Вавиловъ не сочувствовалъ отмѣнѣ розогъ.

— Теперь-то вотъ не съкутъ,—говорили мы, чтобы подзадорить старичину.

— И глупо дѣлаютъ,—сердито отвѣчалъ онъ.

— Какъ глупо?—вопросали мы.

— Да такъ глупо, оно глупо и есть. Ежели бы васъ по субботамъ драли, то вы бы такіе не были.

— А какіе бы мы были?

— Какіе?... Обыкновенно какіе бываютъ—шелковые, а то нѣтъ на васъ удержу.

Но словоохотливость Вавилова была явленіемъ очень рѣдкимъ. Все остальное время онъ пребывалъ въ дремотномъ состояніи.

Чего онъ особенно не любилъ, такъ это, такъ называемыхъ, прогулокъ. Онъ, можно сказать, прямо ненавидѣлъ ихъ до глубины сердца, хотя эти прогулки вообще были довольно рѣдки.

Обыкновенно мы гуляли по саду при гимназіи, но иногда, для разнообразія, насъ водили гулять куда-нибудь въ городъ.

Гуляли мы, конечно, подъ наблюденіемъ воспитателя, но дядьки должны были насъ сопровождать. Если эта обязанность выпадала на долю Вавилова, то гнѣву его не было предѣловъ.

— Ишь ты, чего выдумаютъ,—свирѣпо рычалъ онъ, напяливая на себя шинель,—по городу таскаться. Словно мало мѣста въ саду, а тутъ изволь—иди. Хорошо имъ, молодымъ, а тебѣ-то что за охота (это онъ бурчалъ по адресу воспитателя) сапоги зря трепать.

Но отказаться было нельзя: прогулки были распоряженіемъ инспектора. Приходилось Вавилову нести этотъ тяжелый для него и радостный для насъ крестъ.

— Тоже гуляльщики отыскались,—угрюмо бормоталъ онъ, спускаясь съ лѣстницы.

И въ теченіе всей прогулки, продолжавшейся обыкно-

венно часа полтора, Вавиловъ не переставалъ негодовать и расточать критическія замѣчанія относительно „глупой выдумки“ и „гуляльщикова...“

Иногда только, словно изнемогая отъ непосильнаго бремени, онъ тяжело вздыхалъ и шепталъ.

— О, Господи!.. По грѣхамъ моимъ, видно, приходится терпѣть.

И ужъ въ этотъ день къ нему лучше и не приближаться... До самаго сна онъ былъ мрачнѣе черной тучи, разумѣется, въ то время, когда не дремалъ.

Долго ли послѣ того прожилъ на бѣломъ свѣтѣ Вавиловъ, я не знаю.

Мнѣ, однако, пришлось еще увидѣть его въ бытность мою въ университетѣ. Два послѣдніе гимназическіе года я провелъ уже не въ пансіонѣ. Я снова, какъ и въ былые дни, сдѣлался приходящимъ и перешелъ въ другую гимназію, именно въ ту самую, гдѣ началось мое ученіе. Окончивъ ее и поступивъ въ университетъ, я поселился вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ по прежней гимназіи. Однажды вечеромъ мы встрѣтили на улицѣ Вавилова. Старикъ отнесся къ намъ радушно. Мы стали его спрашивать, что дѣлается въ пансіонѣ.

— А что тамъ дѣлается!.. Ничего не дѣлается, все какъ слѣдуетъ быть,—нѣсколько неопредѣленно отвѣтилъ онъ.

Намъ захотѣлось поболтать со старикомъ. Кстати, встрѣтились мы недалеко отъ нашей квартиры.

— Вавиловъ, зайдѣмъ къ намъ,—пригласилъ мой товарищъ.

— А чего я у васъ не видѣлъ,—довольно резонно замѣтилъ нашъ бывшій охранитель.

— Да такъ... посидимъ... чайку поъемъ,—настаивалъ мой сожитель.

— А что мнѣ съ твоего чаю?—снова и не безъ основанія замѣтилъ старикъ.

— Да, вѣдь, чай чаемъ, а, можетъ-быть, и что другое найдется.

Лукомскій сказалъ это такъ выразительно и такъ

весело подмигнулъ, что колебанія старика прекратились. Къ тому же и я подкрѣпилъ просьбу товарища и сталъ просить Вавилова зайти.

— Ну, ладно, зайду ужъ.

И мы направились къ намъ.

Наше обиталище, видимо, понравилось старику.

— Ничего, комната хорошая, — одобрительно произнесъ онъ, хотя это была маленькая комнатка, замѣчательно скромно обставленная.

— Ты посиди тутъ съ нимъ, а я пойду похлопочу касательно чаю, — сказалъ Лукомскій.

— Ладно, ладно посижу ужъ, — добродушно отозвался старикъ, предвкушая нѣчто пріятное. Онъ догадался, что бывшіе его пансіонеры намѣрены не ударить въ грязь лицомъ передъ своимъ старымъ дядькой.

Лукомскій распорядился относительно самовара и затѣмъ исчезъ на нѣкоторое время. Минуть черезъ двадцать онъ вернулся и я слыхалъ, какъ онъ говорилъ кухаркѣ:

— Вы, Агафья, пожалуйста, устройте все, порѣжьте да подайте.

Черезъ какихъ-нибудь пять минутъ на столѣ уже шипѣлъ самоваръ... А за симъ кухарка вышла на минуту и, возвратившись, внесла подносъ, на которомъ красовалась посуда съ водкой, вареная колбаса, селедка, нѣсколько соленыхъ огурцовъ и вполне достаточное количество хлѣба.

— Ну, теперь, дѣдушка, можно и выпить, — весело произнесъ Лукомскій, знавшій, что этого рода предложеніе не совсѣмъ неприятно сердцу нашего стараго фельдфебеля.

— Это ты, братецъ мой, вѣрно сказалъ, — довольнымъ тономъ произнесъ Вавиловъ, ласково поглядывая на насъ, но еще того ласковѣе на посуду, содержащую подкрѣпительную влагу.

Лукомскій, какъ вѣжливый хозяинъ, самъ налилъ гостю рюмку.

— Пей, дѣдушка.

Вавиловъ слегка покачалъ головой.

— А ты самъ-то, что же? А ему-то что же?—спросилъ онъ, указывая на меня.

— Мы не пьемъ.

— Вотъ тебѣ разъ. Нѣтъ, братецъ ты мой, это не порядокъ. Такъ нельзя, чтобы, значить, гость пилъ, а хозяинъ смотрѣлъ да любовался, — наставительно произнесъ старый солдатъ.

— Да, вѣдь, мы, Вавиловъ, не пьемъ, — отнѣкивался Лукомскій.

Но Вавиловъ имѣлъ на этотъ счетъ свое особое мнѣніе.

— Быть того не можетъ! Чай, вѣдь, теперь ты студентъ, а не какой-нибудь тамъ паршивецъ. Но, а ужъ ежели не пьешь, такъ одну-то рюмку выпить можно, ради хорошей компаніи.

— Ну, такъ ужъ и быть, ради гостя, — согласился Лукомскій.

Пришлось достать у кухарки еще пару рюмокъ и мы, чокнувшись съ нашимъ дядькой, выпили, хоть и съ презрительнымъ отвращеніемъ и недостаточнымъ количествомъ гримасъ.

— Хорошо, — съ величайшимъ наслажденіемъ сказалъ Вавиловъ.

— Недурно, — сказали для вѣжливости и мы, хотя, не знаю, какъ мой сожитель, но я тогда, и совершенно искренно, находилъ, что напитокъ былъ весьма отвратителенъ на вкусъ.

Потомъ мы закурили папироски, предложивъ папиросу и старику.

— Вотъ, Вавиловъ, — шутя болталъ Лукомскій, — теперь ужъ не пожалуешься на насъ дежурному воспитателю за то, что куримъ.

Вавиловъ махнулъ рукой.

— Да развѣ я когда жаловался? Это, братецъ ты мой, Иванъ, тотъ дѣйствительно, а я, чай, самъ знаешь, не препятствовалъ. Мнѣ что?.. Мнѣ только бы ты въ порядкѣ себя держалъ, да самъ на глаза не лѣзь, а ябедничества этого самаго, такъ нѣтъ, не люблю.

— Вѣрно, вѣрно, старина,—согласился Лукомскій,— да, оно и дѣйствительно было вѣрно.

— А ну-ка, еще рюмочку,—предложилъ я.

— Что жъ, это можно,—разрѣшилъ Вавиловъ, но сталъ настаивать, чтобы и мы выпили.

Мы, однако, отказались наотрѣзъ. Старикъ, впрочемъ, больше настаивать не сталъ. Но за то самъ онъ не отказался и отъ третьей и отъ четвертой и отъ дальнѣйшихъ, пока сосудъ не опорожнился. Впрочемъ, это была не особенно большая порція, достаточная лишь для того, чтобы привести стараго воина въ доброе и разговорчивое настроеніе.

Не знаю ужъ, по этой ли причинѣ, или потому, что на насъ онъ теперь смотрѣлъ не какъ на „паршивцевъ“, а какъ на равныхъ себѣ людей, но никогда я не видѣлъ старика въ такомъ хорошемъ и необыкновенно оживленномъ расположеніи духа.

Но онъ совершенно, что называется, размякъ, когда кухарка принесла еще двѣ бутылки пива, заботливо припасенныя Лукомскимъ для заключенія...

— Ну, братецъ ты мой, это ужъ, какъ тебѣ сказать, душевный ты человекъ,—говорилъ Вавиловъ, любовно поглядывая на бутылки,—т. е., во какой душевный. Утѣшилъ старика. Будемъ прямо говорить, утѣшилъ, а зато и тебѣ будетъ утѣшеніе.

— И тебѣ тоже будетъ,—сказалъ онъ уже и по моему адресу.

— Спасибо, спасибо, Вавиловъ,—отозвались мы.

Въ итогѣ онъ просидѣлъ у насъ часа три. На сей разъ онъ намъ рассказалъ больше, чѣмъ когда-либо можно было отъ него добиться. Такъ, мы узнали, что французъ „щуплый“, что „полякъ бунтуетъ“, что венгръ „ничего—молодецъ, а все супротивъ нашихъ не устоитъ“, а англичане—народъ „сурьезный...“ Но о себѣ Вавиловъ опять ничего не говорилъ. Очевидно, это была, дѣйствительно, скромная и благородная натура, при томъ гораздо болѣе сложная, чѣмъ казалось.

Когда онъ, наконецъ, собрался уходить, Лукомскій предложилъ ему денегъ на извозчика.

Это прямо растрогало старика.

— Вотъ это спасибо, что пожалѣлъ стараго. Да, можетъ, у тебя самого не густо?.. А?..

Но Лукомскій успокоилъ его, сказавъ, что хоть оно, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ не особенно густо, но, во-первыхъ, хватить на нашъ вѣкъ, а, во-вторыхъ, нужно же старику доставиться домой честь-честью...

Словомъ, доказательства были основательныя, и Вавиловъ спорить не сталъ.

Передъ прощаніемъ Вавиловъ спросилъ Лукомскаго.

— Ты на что же такое учишься?

— То, есть, какъ на что!

— Ну, на кого, кѣмъ хочешь быть?

— Докторомъ.

Вавиловъ посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ сокрушеніемъ.

— Что, развѣ не хорошо?—спросилъ Лукомскій.

— Да нѣтъ, оно и ничего, а все-таки тебѣ бы лучше другое.

— А что?

— Ты вотъ, видишь, какой стройный да плечистый. Тебѣ бы въ самый разъ въ военную службу,—сказалъ старикъ, считавшій военное ремесло самымъ высшимъ изъ всѣхъ.

— А вотъ ему нельзя,—добавилъ онъ, указывая на меня.

— Почему?

— Да такъ, щуплый, виду въ немъ настоящаго нѣту.

Мы усадили его на извозчика и простились.

Больше мнѣ не случилось его видѣть. Не знаю, долго ли онъ еще жилъ, но въ настоящее время, конечно, когда и самъ я не молодъ, его, вѣроятно, давно ужъ не существуетъ въ этомъ мірѣ.

И вотъ теперь вспомнилась мнѣ эта высокая, сухошавая фигура стараго солдата. Суровъ онъ былъ наружно, но мягкое у него было сердце, хотя, напримѣръ, онъ очень равнодушно говорилъ о розгахъ...

Но могъ ли онъ понять это?..

Миръ твоей памяти, честный старикъ!

II.

Иванъ-Ябеда.

— Здравствуй, братъ, опять въ перышки играешь?.. А не угодно ли пожаловать къ господину дежурному воспитателю.

— Иванъ, голубчикъ, мы не серьезно играемъ, мы такъ себѣ, шутя.

— Иванъ, голубчикъ, миленькій...

— И не голубчикъ я и не миленькій, а вотъ господинъ воспитатель разберетъ.

— Да, вѣдь, мы шутя.

— Ну, такъ ему и скажете, а я не виноватъ. Мнѣ приказано наблюдать, ну, я и наблюдаю, потому нельзя, — присягу принималъ.

— Иванъ, миленькій, мы больше не будемъ.

— А ужъ это, какъ господинъ воспитатель захочетъ, такъ и сдѣлаетъ.

Такой разговоръ неоднократно происходилъ между дядькой Иваномъ и какими-нибудь малышами, попавшими въ запрещенной игрѣ въ перья или въ какомъ-либо иномъ незаконномъ дѣяніи.

И при такихъ обстоятельствахъ Иванъ бывалъ рѣшительно непреклоненъ. Онъ ссылался на присягу, которой, конечно, относительно ловли играющихъ въ перья, никому не давалъ, и никакія просьбы, никакія слезы малышей не могли тронуть его сердце.

И онъ, уличивъ, немедленно же влекъ бѣднаго мальчугана, если и не на закланіе, то во всякомъ случаѣ къ дежурному воспитателю.

Съ приготовившимися и первоклассниками онъ совершенно не стѣснялся и тащилъ ихъ за рукавъ мундира, а въ случаѣ сильнаго упорства, то и прямо за воротъ. Второклассниковъ только слегка подталкивалъ впередъ, словно ободряя, а учениковъ третьяго класса силой не

вель, такъ какъ они бы ему этого и не позволили, а шелъ къ дежурному воспитателю съ соотвѣтственнымъ докладомъ.

Воспитатель поступалъ съ виновными сообразно со своимъ характеромъ. Иной ограничивался только простымъ замѣчаніемъ, иной дѣлалъ строгій выговоръ и потомъ отпускалъ съ миромъ, иной же и наказывалъ, впрочемъ, легко.

Но для Ивана это было безразлично, ему лишь бы только „доложить“...

Вѣроятно, этимъ онъ думалъ отличиться передъ начальствомъ, хотя большинство воспитателей, даже, пожалуй, всѣ, кромѣ нашего нѣмца Гартмана, были скорѣе недовольны его многочисленными „докладами“, такъ какъ онъ дѣлалъ донесенія сплошь и рядомъ о такихъ пустякахъ, которые не заслуживали ровно никакого вниманія и только попусту отнимали у воспитателя время на разбирательство.

Если слѣдовало наказаніе, то Иванъ чувствовалъ себя очень недурно.

— Ага, попался! Вотъ теперь придется постоять подъ часами,—говорилъ онъ самодовольно.

Стоять „подъ часами“ или „подъ лампой“ — было самое обычное наказаніе у насъ въ пансіонѣ. Въ такъ называемый „уголъ“ у насъ не ставили, а ставили или подъ большіе стѣнные часы въ коридорѣ, или подъ одну изъ трехъ лампъ, висящихъ въ комнатѣ для занятій. Тяжелая сторона этого наказанія заключалась не въ самомъ стояніи, которое не заключало въ себѣ физическихъ страданій, а именно въ томъ, что приходилось стоять на виду у всѣхъ. Наказаніе это было столь обыкновенно, что я не могу сказать, чтобы воспитанники его стыдились и были удручены нравственно, наоборотъ даже, наказанный, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, вызывалъ сочувствіе товарищей. Но главное — лишеніе свободы дѣйствія: всѣ кругомъ бѣгаютъ, играютъ, суетятся, а ты изволь стоять и смотрѣть. И съ какимъ, бывало, нетерпѣніемъ поглядываешь на часы, чтобы скорѣе прошло назначенное время.

которое никогда не было болѣе часа, а чаще продолжалось пятнадцать, десять, а иногда и всего только пять минутъ.

Но въ общемъ у насъ было очень мало свободнаго времени, а потому, понятное дѣло, не хотѣлось терять и пяти минутъ свободы.

Говорить съ кѣмъ-либо во время „стоянія“ подь часами или лампой запрещалось, но, несмотря на запрещеніе, друзья и пріятели наказаннаго старались войти съ нимъ въ какія-нибудь разговорныя сношенія, чтобы облегчить его тоскливое настроеніе.

Воспитатели смотрѣли на такое нарушеніе правилъ сквозь пальцы, лишь бы только тихо было, дядьки и совѣтъ на это вниманія не обращали, но только единственно не Иванъ.

Этотъ слѣдилъ, и въ случаѣ замѣчаннаго нарушенія немедленно бѣжалъ и докладывалъ воспитателю.

Итакъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда его донесеніе увѣнчивалось наглядными результатами, онъ бывалъ очень доволенъ и посматривалъ на преступника не безъ торжества и чувства собственнаго достоинства и превосходства.

Но праздникъ, однако, не всегда бывалъ на его сторонѣ.

Если дѣло кончалось простымъ замѣчаніемъ со стороны воспитателя, то самымъ вызывающимъ образомъ ликовалъ прощенный преступникъ.

— А что, Иванъ, а что Ябеда, вотъ и остался съ носомъ. Видишь, ничего и не сдѣлали,—побѣдоносно заявлялъ мальчуганъ.

Иванъ что-то бурчалъ. Мальчуганъ продолжалъ его язвить.

— А вотъ погоди, доберусь до вашего брата въ дежурство Личарда Личардовича, тогда будетъ другое, онъ по головкѣ не погладить,—угрюмо бурчалъ онъ, недовольный не столько тѣмъ, что воспитатель былъ слишкомъ, по его, Ивана-Ябеды, мнѣнію, снисходителенъ, сколько тѣмъ, что его старанія пропали даромъ.

Иванъ былъ полной противоположностью Вавилову.

Насколько тотъ любилъ полный покой и отличался бездѣятельностью, настолько Иванъ былъ дѣятеленъ и энергиченъ, постоянно чѣмъ-нибудь занятъ.

Онъ несомнѣнно завидовалъ Вавилову, какъ старшему и, слѣдовательно, получающему большее жалованье дядкѣ.

Онъ былъ, хоть тоже не особенно молодыхъ лѣтъ, такъ какъ прошелъ длинную солдатскую службу, начатую имъ еще въ Николаевскія времена, но значительно моложе Вавилова. Ему, вѣроятно, было лѣтъ около сорока восьми, но выглядѣлъ онъ моложе и вообще довольно неопредѣленно въ смыслѣ возраста. Вавиловъ былъ высокъ необычайно, тощъ и сѣдъ, какъ лунь, при томъ съ большою бѣлой бородой. Иванъ приземистъ, коренастъ, съ лицомъ кирпичнаго цвѣта, красной шеей, темными волосами съ легкой просѣдью и всегда брился, такъ что носилъ только одни, необычайно щетинистые усы. Лицо Вавилова было простодушно и нѣсколько сурово, такъ что онъ напоминалъ какого-нибудь почтеннаго старца, библейскаго патріарха, въ лицѣ Ивана было не мало веселости, но вмѣстѣ съ тѣмъ и хитрости.

Вавиловъ былъ въ общемъ молчаливъ, Иванъ, наоборотъ, отличался словоохотливостью, особенно, съ новичками, у которыхъ, неизвѣстно для какой цѣли, всегда подробно узнавалъ о ихъ семейномъ положеніи, и со старшими пансіонерами.

Въ смыслѣ знаковъ отличія Иванъ, по сравненію съ заслуженнымъ кавалеромъ, носителемъ четырехъ георгіевскихъ крестовъ и массы медалей, не годился ровно никуда. У него была всего только одна медаль, кажется, за Севастопольскую кампанію, но если онъ и былъ въ походѣ, то ни въ какихъ битвахъ и сраженіяхъ не участвовалъ. Это доставляло обильную пищу для малышей, которые чтобы подразнить Ивана, утверждали, что онъ не настоящій, а „поддѣльный“ солдатъ.

— И не солдатъ, а унтеръ-офицеръ, — сердито огрызался Иванъ, чтобы хоть какъ-нибудь поддержать свое достоинство.

И этого „поддѣльнаго“ солдата онъ никогда не забывалъ.

Ему, допустимъ, удавалось кого-нибудь „поймать“ въ чемъ-нибудь запрещенномъ.

— Отъ говорили, что я „поддѣльный“, а пусть-ка настоящий вотъ такъ поймаешь. Вотъ теперь и поддѣльный, а господину воспитателю сейчасъ же пойду и доложу.

Выслѣживалъ онъ постоянно, даже ночью въ спальнѣ любилъ подслушивать разговоры воспитанниковъ передъ сномъ; „ловилъ“ же онъ прямо артистически и, несмотря на все мѣры предосторожности со стороны маленькихъ хитрецовъ, въ самый горячій и совершенно неожиданный для нихъ моментъ.

Кажется, что никакой опасности не грозитъ, и вдругъ за плечами раздается:

— Ага, здравствуй, братъ...

И часто, разговаривая по вечерамъ, онъ сообщалъ пансіонерамъ о томъ, какъ, когда, при какихъ именно обстоятельствахъ и въ какихъ именно беззаконіяхъ онъ „уличалъ“ того или другого пансіонера:

— Было это давно... васъ тогда и въ пансіонѣ не было. Учился у насъ Ахматовъ. Ловкій парень, что и говорить... теперь ужъ онъ студентъ, а можетъ и университетъ окончилъ. Ловкій парень, а только и я не промахъ... старый воробей, на мякинѣ не проведешь, одно слово—тертый калачъ... Вотъ однажды, подхожу это я...

И затѣмъ слѣдовалъ цѣлый рассказъ о томъ, какъ Иванъ перехитрилъ Ахматова, конечно, въ какомъ-нибудь пустякѣ.

Разсказывалъ все это нашъ Иванъ необычайно самодовольно, словно онъ былъ опытный полицейскій сыщикъ, а шалуны-пансіонеры настоящіе преступники.

Особенной неумолимостью отличался Иванъ именно тамъ, гдѣ бы, казалось, надо быть болѣе снисходительнымъ, именно къ самымъ маленькимъ воспитанникамъ. Можетъ-быть, это именно по той причинѣ, что „ловить“ простодушныхъ карапузовъ было очень легко, и Иванъ,

ловя ихъ, находилъ удовлетвореніе своимъ артистическимъ чувствамъ, ибо и въ самомъ дѣлѣ считалъ себя великимъ артистомъ по этой части. И эти малыши боялись его, какъ огня.

Второклассники, какъ народъ болѣе опытный, боялись его значительно меньше, ученики третьяго класса окончательно рѣшали, что чортъ страшень далеко не такъ, какъ его малюютъ и уже совѣмъ его не боялись. Это понималъ и самъ Иванъ. Начиная съ третьяго класса, онъ уже не говорилъ своего знаменитаго „здравствуй братъ“, а произносилъ „мое почтенье, господа“ и переходилъ на „вы“, впрочемъ, онъ вообще былъ довольно вѣжливъ и „ты“ говорилъ какъ бы шутя и только въ случаяхъ „поимки“.

Учениковъ четвертаго класса онъ трогалъ очень мало, потому что они уже относились къ старшему возрасту, (такъ, напр., спали въ „старшей спальнѣ“, а Иванъ рѣдко дежурилъ въ спальнѣ старшаго возраста. Зная, что младшіе воспитанники его опасаются, воспитатели, для того, чтобы происходило меньше шалостей, умышленно назначали его дежурить именно къ нимъ), а, начиная съ пятаго класса, онъ совершенно почти прекращалъ свои ловли и ухищренія...

Пустяжковъ о старшихъ онъ не докладывалъ и даже самъ смотрѣлъ на многое спустя рукава, какъ, напримеръ, хотя бы на куреніе, хотя именно оно-то, какъ увидимъ послѣ, и погубило Ивана-Ябеду.

Только серьезные проступки, которыхъ ни скрыть, ни оставить безъ наказанія было нельзя, привлекали вниманіе почтеннѣйшаго дядьки...

И если намъ удавалось его „одурачить“, то мы были очень довольны.

Помню одинъ случай, случай при томъ дѣйствительно серьезный, за который теперь, конечно, не похваляю ни себя, ни другихъ товарищей — участниковъ этого дѣла, прямо нехорошаго.

Не помню ужъ за что именно, мы были наказаны довольно серьезно, оставлены на четыре часа подъ арестомъ.

Въ такихъ случаяхъ насъ уводили внизъ, въ гимназическое помѣщеніе, гдѣ находились классы, и запирали каждого отдѣльно.

Такъ случалась и тогда. Насъ было четверо, одинъ пятиклассникъ, два ученика (въ томъ чиблѣ и я) изъ шестаго и одинъ изъ седьмаго класса.

Между нами былъ мой товарищъ, нѣкій Окуневскій, личность въ своемъ родѣ замѣчательная. Онъ производилъ огромное количество всякихъ правонарушеній, но умѣлъ такъ блестяще выкручиваться изъ бѣды, такъ ловко оправдываться во взведенныхъ на него обвиненіяхъ, что очень часто выходилъ сухимъ изъ воды при такихъ обстоятельствахъ, при которыхъ это казалось совершенно невозможнымъ.

Даже и воспитатели отдавали ему въ такихъ случаяхъ дань удивленія.

Иногда воспитатель прямо спрашивалъ:

— Окуневскій, я знаю, что вы виноваты, но скажите по чистой совѣсти, можете-ли вы оправдаться или нѣтъ?

И Окуневскій соображалъ...

— Могу,—отвѣчалъ онъ.

— Ну, такъ идите,—рѣшалъ воспитатель.

Но иногда Окуневскій прямо заявлялъ:

— Нѣтъ, сегодня не могу... да, пожалуй, и могъ бы, да только не хочу. Виновать.

И за это его любили, такъ какъ, будучи проказникомъ большой руки, онъ обладалъ извѣстной долей смѣлости, даже удали, учился очень хорошо, правился не только товарищамъ, но и воспитателямъ. Въ описываемомъ случаѣ онъ вышелъ почти въ буквальномъ смыслѣ слова „сухимъ изъ воды“, при томъ такъ, что мы—трое остальныхъ—только ахнули отъ удивленія.

Четыре часа—времени достаточно, и мы рѣшили ими воспользоваться особеннымъ образомъ, для чего, по предварительному уговору, захватили съ собою не только книги, но и фуражки.

Будучи подвергнуты наказанію, мы рѣшились покуиться на другое преступленіе, довольно серьезнаго

характера, именно — „удрать“ изъ-подъ ареста въ городъ.

Но и этого мало: не просто „удрать“, а покататься на лодкѣ по рѣкѣ Днѣпру, что, безъ участія взрослыхъ, въ виду массы несчастныхъ случаевъ, было запрещено всёми гимназистамъ города вообще.

У Окуневского былъ какой-то ключъ, которымъ онъ могъ отпереть запертыя двери.

И дѣйствительно, черезъ какихъ-нибудь четверть часа послѣ того, какъ насъ отвели и расадили по классамъ, Окуневскій всёхъ насъ выпустилъ, снова заперъ всё двери и мы благополучно улепетнули въ городъ, а оттуда на рѣку.

Не стану здѣсь говорить въ подробностяхъ о томъ, какъ мы провели время, скажу лишь въ нѣсколькихъ словахъ.

Съ нашей точки зрѣнія было очень весело. Во-первыхъ, мы выкупались (дѣло было въ концѣ мая, во время экзаменовъ), а потомъ чудесно покатались на лодкѣ добрыхъ два часа. Гребцы мы всё были порядочные и несчастія съ нами не случилось. Возвращались назадъ мы въ самомъ прекрасномъ настроеніи (о, беззаботная юность!), а между тѣмъ надъ нашими головами висѣла страшнѣйшая грозовая туча.

Мы, ликующіе и веселые, и не подозрѣвали, что наше отсутствіе замѣчено, что насъ хватились. Правда, и тутъ сказался геній Окуневского. Мы вышли въ парадныя двери, а вернулись обратно чернымъ гимназическимъ ходомъ.

У дверей насъ ждали, но относительно чернаго хода не догадались, а потому мы прошли незамѣченными, и Окуневскій снова заперъ насъ на ключъ.

Мы засѣли, словно ничего и не было, и, конечно, всякій былъ радъ, что все такъ хорошо окончилось. Мы чувствовали себя олицетворенными невинностями, но только въ теченіе десяти минутъ.

Спустя это время явился Иванъ, отперъ мой классъ и заявилъ прямо.

— Пожалуйте къ воспитателю; извѣстно, что васъ не было въ классѣ.

Я, признаюсь, порядкомъ таки струхнулъ. Съ Ивановъ объясняться я не сталъ, такъ какъ видѣлъ, что все извѣстно, и побрелъ въ пансіонъ совершенно удрученный, если и не сознаниемъ своей вины, то, во всякомъ случаѣ, ожиданіемъ основательной неприятности, которую несомнѣнно заслужилъ.

Такъ, отъ радости и торжества только одинъ шагъ до горя и униженія.

А Иванъ пошелъ выпускать другихъ „арестантовъ“, но, увы, не на свободу, а для привлеченія къ слѣдствію по новому, ими же содѣянному, преступленію.

Вѣроятно, и прочіе испытывали такое же чувство своей беспомощности, какъ и вашъ покорный слуга, ибо не стали, видя, что попались, какъ куръ во щи, входить въ какія-либо объясненія съ Ивановъ...

Все прочіе, но только не Окуневскій. Тотъ, наоборотъ, подробно распросилъ дядьку о томъ, какъ онъ вошелъ въ классъ и какъ не засталъ тамъ Окуневскаго.

Иванъ не безъ торжества и не безъ ехидства разсказалъ все, какъ было.

Входя въ помѣщеніе пансіона, мы только тоскливо смотрѣли одинъ на другого: оправданія быть не могло и, будучи по-своему честными, мы безмолвно рѣшили сознаться во всемъ.

Окуневскій тоже былъ нѣсколько взволнованъ и озабоченъ, но, какъ видно, имѣлъ другой взглядъ на положеніе дѣлъ.

— Господа, я съ вами не былъ,—успѣлъ онъ шепнуть намъ, когда мы входили въ пансіонъ.

Что такое онъ задумалъ, мы, конечно, узнать ужъ не успѣли, такъ какъ пришлось немедленно идти въ комнату дежурнаго воспитателя, но поняли, что Окуневскій что-то придумалъ и хочетъ только, чтобы мы сказали, что вмѣстѣ съ нами его не было.

Воспитатель немедленно же явился изъ общей комнаты для занятій.

Онъ укоризненно покачалъ головой и сказалъ:

— Эхъ, господа!..

Господа угрюмо молчали, ожидая, что произойдетъ.

А произошло то, что уже было послано за инспекторомъ, который и пришелъ не болѣе, какъ черезъ десять минутъ.

Дѣло было серьезное. Лицо инспектора глядѣло въ достаточной степени мрачно и ничего хорошаго для насъ не предвѣщало.

Горизонтъ покрывался зловѣщими тучами, на наши преступныя головы надвигалась гроза.

— Ну-съ, господа!..

Такъ началъ инспекторъ и его голосъ, хоть и былъ очень тонкій и протяжный, напомнилъ намъ ударъ грома, и выраженіе его глазъ — сверканіе молніи.

Допросъ начался.

Не стану описывать подробностей. Первые четверо, чтобы скорѣе покончить тяжелое положеніе, сознались рѣшительно во всемъ. Настала очередь Окуневскаго.

— Ну-съ, господинъ Окуневскій, надѣюсь, на этотъ разъ и вы никакихъ оправданій не имѣете? — не безъ торжества спросилъ Юліанъ Ивановичъ, отлично знавшій искусство нашего товарища въ умѣньи „оправдаться“.

— Я не знаю, гдѣ были они, но только я съ ними не былъ, — сказалъ Окуневскій.

— Что-о? — прямо вскрикнулъ инспекторъ.

Ложь была въ достаточной степени очевидна. Мы молча ожидали, что изъ всего этого произойдетъ, воспитатель посмотрѣлъ на Окуневскаго съ полнымъ изумленіемъ.

— Я съ ними не былъ, — повторилъ Окуневскій.

Инспекторъ посмотрѣлъ на насъ. Не желая „подводить“ товарища, мы молчали. Извѣстно, что молчаніе — знакъ согласія. Мы этимъ дѣлали два дѣла: во-первыхъ, не сквернили своихъ устъ ложью (хотя это было нѣсколько по-іезуитски) и вмѣстѣ съ тѣмъ не выдавали товарища. Думаю, что въ тотъ моментъ никакія силы и никакое самое строгое наказаніе не заставило бы насъ сказать простое „да“ или столь же простое „нѣтъ“, вообще сказать хоть одно слово. Лгать мы не хотѣли, сказать

же правду не позволяло чувство „товарищества“, а потому молчать было и лучше, и честнѣе всего.

— Гдѣ же вы были? — прокричалъ инспекторъ.

— Въ классѣ, — отвѣтилъ Окуневскій и отвѣтилъ спокойно, такъ какъ уже, видимо, вполне овладѣлъ собой и составилъ блестящій планъ защиты.

— Какъ въ классѣ?.. Васъ тамъ не было. Иванъ искалъ, но не нашель.

— Я прятался отъ него.

— Зачѣмъ... что вы какіе-то пустяки рассказываете?

— А такъ, захотѣлось немножко подурочить его, и въ этомъ я дѣйствительно виноватъ, — скромно повинился Окуневскій.

Дѣло принимало настолько интересный оборотъ, что мы уже позабыли о грядущемъ взысканіи и только думали о томъ, какъ можетъ вывернуться нашъ неисправимый товарищъ, когда, казалось бы, для этого не было ни малѣйшей возможности.

— Вы говорите прямо глупости, — сердито сказалъ инспекторъ.

— Юліанъ Ивановичъ, — проговорилъ Окуневскій, — позвольте мнѣ все рассказать по порядку.

Инспекторъ только и могъ пожать плечами. Больше ему ничего не оставалось дѣлать.

— Говорите.

— Видите ли, вотъ какъ было дѣло. Я услыхалъ, какъ Иванъ отпираетъ двери. Дай, думаю, пошучу съ нимъ. Взялъ и спрятался подъ парту. — „Господинъ Окуневскій, вы тутъ“, — спрашиваетъ Иванъ. А я нарочно молчу. Иванъ спросилъ еще нѣсколько разъ, я нарочно не откликался. Потомъ онъ сталъ ходить по классу и смотрѣть въ парты и подъ партами, а я перелезиль съ одной на другую, такъ что онъ не замѣтилъ. Затѣмъ Иванъ даже выругался и упомянулъ что-то о чортѣ. Поискалъ, поискалъ и ушелъ. Тогда я вылѣзъ и сталъ себѣ готовить уроки.

Иванъ стоялъ тутъ же и съ удивленіемъ смотрѣлъ на Окуневскаго.

— Развѣ такъ было? — спросилъ инспекторъ.

— Такъ точно! — по-солдатски отвѣтилъ унтеръ, потому что все именно такъ и было.

Инспекторъ покачалъ головой, посмотрѣлъ съ удивленіемъ теперь уже на дядьку.

Мы были наказаны довольно строго, и то только благодаря чистосердечному раскаянію, а именно посажены на продолжительный срокъ уже не въ классъ, а въ настоящій полутемный карцеръ.

Окуневскій же получилъ лишь выговоръ „за неумѣстную шутку во время нахождения подъ арестомъ“.

Какъ же все это случилось?..

Если вы помните басню Крылова о ларчикѣ и механикѣ, то знаете, что ларчикъ иногда открывается очень просто.

Такъ было и въ данномъ случаѣ. Я говорилъ уже, что мы, пойманные, такъ-сказать, съ поличнымъ, растерялись настолько, что ни слова не говорили съ Иваномъ по поводу нашего приключенія.

Иначе поступилъ Окуневскій. Иванъ все ему рассказать и подробно объяснилъ, какъ онъ вошелъ въ пустой, по его мнѣнію, классъ, какъ производилъ розыски и такъ далѣе, а потомъ, растерявшись отъ неожиданнаго заявленія Окуневскаго, даже не смогъ сообразить, что тотъ всю эту исторію передаетъ съ его же—Ивана словъ.

Дѣло закончилось. Окуневскій буквально торжествовалъ и даже насмѣхался надъ нами.

— А что, не вамъ дуракамъ чета, — заливался онъ самымъ добродушнымъ хохотомъ.

И мы не могли не признать его полного превосходства надъ нами.

Но очень интересно было и дальнѣйшее. Много времени спустя, уже на слѣдующій годъ, въ одинъ изъ вечеровъ, мы отъ скуки разговаривали съ Иваномъ-Ябедой. Между прочимъ вспомнили и объ этой исторіи.

— Иванъ, — сказалъ ему Окуневскій, — а вѣдь и я былъ съ ними.

— Ну-у? Быть того не можетъ! — усмѣхаясь промолвилъ Иванъ.

— А вотъ же и было.

— Да ну, васъ, чего вы меня дурачите, — отмахнулся Иванъ рукою.

— Теперь-то не дурачу, а вотъ тогда одурачилъ, — подзадоривалъ его Окуневскій.

Иванъ, конечно, не вѣрилъ. Тогда Окуневскій разсказалъ ему обо всемъ подробно.

Широко раскрылись отъ удивленія глаза Ябеды.

— Вотъ это такъ молодецъ! — воскликнулъ онъ въ полномъ восхищеніи.

Артистъ не могъ удержаться отъ похвалы другому артисту, хоть и долженъ былъ признать свое пораженіе. Ивану, какъ человѣку хитрому и ловкому въ своемъ дѣлѣ, не могли не понравиться такія же качества въ другомъ, хоть и соперникѣ. Онъ долго повторялъ „вотъ это такъ молодецъ“ и даже пришелъ въ такое хорошее настроеніе, что пообѣщалъ „никогда уже не ловить“ Окуневскаго. Впрочемъ, онъ вообще не любилъ ловить старшихъ, но тогда былъ дѣйствительно такой исключительный случай, котораго скрыть не было рѣшительно никакой возможности...

— Да, братъ Иванъ, — говорилъ смѣясь Окуневскій, — вотъ тебѣ и старый воробей, а попался на самую простую мякину.

— Да, нашла таки коса на камень, — согласился Иванъ и прибавилъ:

— А, ей-Богу, хорошій бы изъ васъ, господинъ Окуневскій, дядька вышелъ.

— Ну, братъ, пожалуй, и что-нибудь получше выйдеть, — засмѣялся Окуневскій.

— Оно, конечно, вы человѣкъ образованный, такъ дядькой и не будете... А только знаете, что я вамъ скажу, — обратился онъ къ Окуневскому, теперь уже совершенно серьезно.

— А что? — спросилъ тотъ.

— А вотъ что: какъ окончите вы гимназію, такъ

поступайте вы въ такіе студенты, изъ которыхъ адвокаты выходятъ. Хорошій изъ васъ адвокатъ будетъ, такой хорошій, что лучше ужъ и не надо. Отъ помяните мое слово: ей-Богу, что такъ.

Иванъ даже перекрестился въ подтвержденіе полной истины своихъ словъ.

Несомнѣнно, онъ не былъ лишень наблюдательной жилки. Лично я не знаю, какой бы изъ Окуневскаго вышелъ адвокатъ, но знаю, что онъ сдѣлался превосходнымъ врачомъ, былъ нѣкоторое время на службѣ въ земствѣ, а потомъ завѣдывалъ образцовой больницей въ губернскомъ городѣ, имѣлъ кромѣ того очень большую практику и пользовался общей любовью. Да его и въ гимназіи любили не только мы — товарищи, но и начальство, хотя хлопотъ съ нимъ было не мало.

Я сказалъ выше, что дядьку Ивана погубилъ табакъ.

Собственно говоря, табакъ былъ побочной причиной, а настоящимъ образомъ погубила его корысть.

Соблазнился бѣдняга Иванъ.

Это было уже послѣ выхода моего изъ пансіона и перехода въ другую гимназію.

Какой-то юный шестиклассникъ, отчаянный курильщикъ, раздобылъ себѣ четверку очень хорошаго табаку и спряталъ его въ ящикъ.

Иванъ-Ябеда, почему-то, пронюхалъ о такомъ противозаконіи, но не „доложилъ по начальству“, а взялъ этотъ табакъ себѣ.

Но этого мало, онъ еще вздумалъ, какъ истинный артистъ, похвалиться своей ловкостью передъ бывшимъ владѣльцемъ курительнаго зелья въ полной увѣренности, что тотъ долженъ будетъ признать фактъ ловкости Ивана, и на этомъ дѣло окончится.

Но и на этотъ разъ коса нашла на камень. Юный курильщикъ пришелъ въ негодованіе и сталъ требовать, чтобы Иванъ отдалъ ему обратно запрещенный предметъ потребленія.

Иванъ не соглашался. Слово за слово обѣ стороны начали горячиться.

— А что вы мнѣ сдѣлаете, — насмѣшливо вопрошаль Иванъ: — не пойдете же на меня жаловаться?

— Нѣтъ, пойду! — горячился пансіонеръ.

— Чтобы самому въ карцеръ попасть, — уязвилъ Иванъ.

И вдругъ произошла полная неожиданность. Пансіонеръ рѣшилъ „будь, что будетъ“ и, прежде нежели самъ успѣлъ что-нибудь толкомъ сообразить, побѣжалъ къ дежурному воспитателю и рассказалъ, не щадя самого себя, все дѣло.

И вышло очень нехорошо. Замолчать дѣла было нельзя, дошло до директора, и въ результатѣ гимназистъ былъ наказанъ, а Ивана пришлось удалить со службы.

Этого, конечно, мальчикъ не хотѣлъ и даже, какъ передавали, плакалъ и просилъ простить Ивана, но по ступокъ былъ предосудительный.

Ничего не вышло. Ивану отказали.

Что съ нимъ было потомъ, я не знаю, такъ какъ его не встрѣчалъ.

Думаю, впрочемъ, что онъ не пропалъ: слишкомъ ужъ дѣятельный человекъ былъ.

Х.

Во время войны.

— Пожалуйте въ приѣмную, къ вамъ пришли, — обратился ко мнѣ дежурный дядька.

День былъ будничной. За мною приходили каждый канунъ праздника, чтобы брать меня въ отпускъ (воспитанники младшаго возраста отпускались изъ пансіона лишь съ провожатымъ; только начиная съ четвертаго класса намъ дозволялось уходить однимъ), но въ будни не приходили еще ни разу (я жилъ въ пансіонѣ уже

болѣе мѣсяца), а потому я изумился и нѣсколько встревожился.

— Кто пришелъ, зачѣмъ?—спросилъ я дядьку.

— Какой-то господинъ офицеръ,—пояснилъ тотъ.

— Какой офицеръ?—еще болѣе изумленно спросилъ я.

— Не могу знать, а такъ говорятъ, что вы ихній племянникъ, а они вамъ дядя.

Это окончательно сбило меня съ толку.

— Дядя?!—воскликнулъ я.

— Такъ точно. Пожалуйте въ пріемную. Они тамъ ждутъ и воспитатель тамъ съ ними.

Быстрыми шагами, почти бѣгомъ, направился я въ пріемную, рѣшая по дорогѣ вопросъ, что вообще весь сей сонъ значить? Я рѣшительно ничего не могъ сообразить: почему офицеръ и сверхъ того еще дядя? Изъ тѣхъ родственниковъ, которые были мнѣ извѣстны, военныхъ у меня не было, по крайней мѣрѣ я такихъ не помнилъ.

Дѣло представлялось довольно страннымъ.

Дѣйствительно, когда я вошелъ въ пріемную, то засталъ тамъ дежурнаго воспитателя и бесѣдующаго съ нимъ какого-то бѣлокураго офицера. Лѣвая рука этого офицера была на широкой бѣлой перевязи.

Я вошелъ въ пріемную и остановился, ожидая, что будетъ. Физиономія офицера мнѣ была совершенно неизвѣстна.

Я утвердительно могъ сказать, что ранѣе никогда его не видѣлъ.

— Вотъ онъ,—сказалъ воспитатель.

Офицеръ быстрыми шагами подошелъ ко мнѣ.

— Здравствуй, —проговорилъ онъ,—не узнаешь?

Голосъ незнакомаго офицера какъ будто дрогнулъ, въ немъ было что-то особенное, нѣжное. Такъ говорятъ съ дѣтьми только близкіе имъ люди.

Но я его не зналъ, тщетно стараясь припомнить, гдѣ и при какихъ обстоятельствахъ намъ приходилось встрѣчаться. Я подумалъ немного и отвѣтилъ:

— Нѣтъ не узнаю.

— Ты сынъ Михаила Петровича?—задалъ офицеръ мнѣ новый вопросъ.

— Да,—отвѣтилъ я, такъ какъ имя моего покойнаго отца было Михаилъ, а отчество Петровичъ.

— Раньше, пока пріѣхалъ сюда, жилъ въ Т.?—задалъ незнакомецъ новый вопросъ.

— Да,—снова отвѣтилъ я, такъ какъ и это совпало съ дѣйствительностью.

— Маму помнишь?—продолжалъ допытываться офицеръ.

— Помню, только немного,—сказалъ я.

И въ самомъ дѣлѣ, родную мать я помнилъ только въ туманныхъ образахъ, въ немногихъ смутно сохранившихся въ моей памяти, случайныхъ картинахъ домашней жизни.

Да и трудно было помнить что-нибудь вполне сознательно: мнѣ шелъ только четвертый годъ, когда, въ совсѣмъ молодыхъ еще годахъ, скончалась моя мать. Годъ спустя послѣ этого, отецъ переѣхалъ изъ Т. на жительство въ К., потомъ черезъ нѣсколько лѣтъ вновь женился. Мачеха относилась къ намъ превосходно, въ семьѣ я былъ вполне счастливъ, а потому далекія впечатлѣнія первыхъ лѣтъ моей жизни почти совершенно изгладилась изъ моей памяти...

Помнилось только что-то отрывочное, неясное.

— А помнишь ли ты еще что-нибудь?—опять спросилъ офицеръ, и на этотъ разъ голосъ его задрожалъ довольно замѣтно, а глаза заволоклись дымкой.

Но я ничего не могъ припомнить.

— Не знаю... сейчасъ ничего вспомнить не могу.

— А не вспомнишь ли ты одного мальчика, очень маленькаго мальчика, и одного военного господина, который иногда сажалъ этого мальчика въ большой сапогъ?

И странное дѣло: едва только офицеръ напомнилъ мнѣ это довольно странное обстоятельство, какъ въ моихъ мозгахъ что-то разомъ прояснилось и далекое прошлое

въ одно мгновеніе встало предо мной въ такихъ подробностяхъ, какъ будто было только вчера.

— Дядя Костя! - воскликнулъ я внѣ себя и отъ удивленія, и отъ радости.

— Ну, вотъ, наконецъ-то!—воскликнулъ и офицеръ.— Теперь, братъ, здравствуй уже по-настоящему.

Офицеръ нагнулся ко мнѣ, а я ужъ висѣлъ у него на шеѣ и шепталъ.

— Дядя Костя, дядя Костя.

И вдругъ я совершенно неожиданно разрыдался. Теперь офицеру пришлось меня успокоивать. Когда ему это удалось, онъ обратился къ воспитателю:

— Ну, и нервный же онъ.

Воспитатель, невольный свидѣтель этой сцены, улыбнулся и сказалъ:

— Ничего, это пройдетъ. Это онъ отъ радости.

А я ужъ и не знаю — плакалъ ли я отъ радости или, наоборотъ, отъ грустныхъ воспоминаній. Но только теперь ужъ я многое припомнилъ, а также и то, какъ у дяди Кости, родного брата моей матери, тогда еще всеѣмъ юнаго офицера, были какіе-то чудовищной величины дорожные сапоги на волчьемъ мѣху. Иногда, шутя и играя со мною, онъ запикивалъ меня въ одинъ изъ сапоговъ. И я помѣщался туда цѣликомъ, только голова моя торчала изъ этого сапога.

И весело и вмѣстѣ съ тѣмъ жутко было во время этой игры: все-таки „волчій сапогъ“ представлялся мнѣ чѣмъ-то особеннымъ, до нѣкоторой степени таинственнымъ и страшнымъ.

— Такъ вы желаете взять его въ отпускъ? — обратился воспитатель къ дядѣ Костѣ.

— О, да, конечно, конечно, — поспѣшилъ отвѣтить тотъ.

— Въ такомъ случаѣ я пойду написать отпускной билетъ,—сказалъ воспитатель.

— А вы,—обратился онъ ко мнѣ,—идите въ гардеробъ, одѣньтесь, возьмите шинель и скажите гардеробщику, что я приказалъ выдать вамъ праздничный мун-

диръ (по положенію, всякому новичку, поступающему въ пансіонъ, дѣлались единовременно три мундира — „будничный“ служившій для ежедневнаго обихода, „праздничный“, надѣваемый въ праздничные дни, и „запасной“, выдававшійся въ исключительно торжественныхъ случаяхъ; по прошествіи года будничныи мундиръ исключался изъ обращенія, праздничныи становился будничнымъ, запасной — праздничнымъ, а запаснымъ считался уже вновь сшитый мундиръ и т. д.), да спѣшите, чтобы не задерживать вашего дядю.

Послѣднее предупрежденіе было для меня, конечно, совершенно излишнимъ: я моментально помчался на верхній этажъ, въ гардеробъ.

Не болѣе какъ черезъ десять минутъ мы уже ѣхали съ дядей Костей на извозчикѣ въ ту гостиницу, гдѣ онъ остановился.

Только по дорогѣ я надумался спросить, почему у дяди рука на перевязи?

Оказалось, что онъ ѣдетъ изъ дѣйствующей арміи и раненъ въ сраженіи.

Дядя Костя уѣхалъ изъ К. вечеромъ на другой день. Благодаря исключительнымъ обстоятельствамъ, я, съ разрѣшенія высшаго гимназическаго начальства, былъ со-всѣмъ освобожденъ отъ занятій и все это время провелъ съ дядей. Я проводилъ его на вокзалъ и лишь послѣ этого возвратился обратно въ пансіонъ.

Мое возвращеніе было своего рода триумфомъ. По пансіону уже разнеслась вѣсть, что мой дядя пріѣхалъ съ войны, что онъ раненъ и отличился необыкновенной храбростью. Почему пронесся послѣдній слухъ — я рѣшительно не знаю, такъ какъ, по словамъ дяди Кости, онъ былъ раненъ пулей въ первой же незначительной стычкѣ съ турками, такъ что настоящаго сраженія ему даже и видѣть не удалось; въ серьезныхъ битвахъ ему, и при томъ вполне для него благополучно, пришлось участвовать уже потомъ, когда, излѣчившійся отъ своей раны, онъ снова возвратился въ свой полкъ, съ которымъ и сдѣлалъ всю кампанію до конца. Я, впро-

чемъ, слуховъ не отрицаль, потому что они отчасти способствовали моей славѣ.

Дѣло въ томъ, что товарищи встрѣтили меня, по возвращеніи изъ отпуска, такъ, какъ будто бы не мой дядя, а я самъ лично былъ на войнѣ.

Вопросы такъ и сыпались на меня.

— Что? Какъ? Скоро ли окончится война? Страшно ли во время сраженія?

И я на все отвѣчалъ съ сознаниемъ полнѣйшаго достоинства. Меня считали, да, признаться откровенно, я и самъ почему-то сталъ считать себя, человѣкомъ весьма освѣдомленнымъ по боевой части.

Но главное торжество доставили мнѣ „военные трофеи“, которыхъ я принесъ съ собой не малое количество. Дядя подарилъ мнѣ золотую турецкую монету, нѣсколько серебряныхъ сербскихъ и румынскихъ, десятка три мѣдныхъ монетъ этихъ государствъ, изрядное количество старыхъ почтовыхъ марокъ съ Балканскаго полуострова и, наконецъ, свинцовую пулю.

Всѣ эти предметы привлекали всеобщее вниманіе. Около меня постоянно толпились цѣлыя группы пансіонеровъ съ убѣдительною просьбой дать имъ возможность полюбоваться моими рѣдк. стями. И не только маленькіе мальчики, но и подростки старшаго отдѣленія. Особенный же эффектъ производила пуля. Это была уже негодная, вынутая изъ боевого патрона пуля, но ее рѣшительно всякій считалъ своимъ долгомъ не только внимательно образцомъ разсмотрѣть, но понюхать, взвѣсить, даже полизать... Словно она представляла изъ себя что-то донельзя замѣчательное.

Въ день отъѣзда дядя Костя подарилъ мнѣ нѣсколько рублей. На большую часть этихъ денегъ я накупилъ фотографическихъ карточекъ военныхъ дѣятелей. Были и русскіе герои и герои турецкіе.

Эти карточки вызвали прямо взрывъ восторга. Мало того: они создали среди воспитанниковъ пансіона цѣлую моду.

Коллекціонерство вообще было у насъ въ сильномъ

распространеніи: собирали монеты, собирали почтовые марки, коллекціи насѣкомыхъ, растеній и проч. Теперь все усиленно стали пріобрѣтать карточки военныхъ дѣятелей. Каждый старался превзойти прочихъ количествомъ и разнообразіемъ такихъ карточекъ.

Моя коллекція, хоть я ее пополнялъ довольно усиленно, въ скоромъ времени принуждена была уступить пальму первенства другимъ коллекціямъ. Нашлись мальчики, у которыхъ денегъ было гораздо больше, чѣмъ у меня, и они, конечно, побѣдили.

Въ этомъ увлеченіи мнѣ живо помнится одно крупное недоразумѣніе.

Оно произошло съ турецкимъ генераломъ Сулейманомъ-пашой. Фотографовъ, выпускавшихъ карточки военныхъ дѣятелей, было нѣсколько. Относительно русскихъ героевъ никакихъ сомнѣній не возникало: все они у разныхъ фотографовъ отличались общимъ сходствомъ. Равнымъ образомъ были похожи одна на другую и карточки султана Абдуль-Гамида, Османа и Мухтара пашей, но Сулейманъ-паша, не знаю ужъ почему, у разныхъ фотографовъ былъ на свой образецъ. Такимъ образомъ Сулеймановъ было нѣсколько, и никоимъ образомъ нельзя было рѣшить—какой изъ нихъ именно настоящій, неподдѣльный Сулейманъ.

По этому поводу возникали горячіе споры, такъ какъ каждый изъ насъ убѣжденно считалъ своего Сулеймана настоящимъ, а прочихъ Сулеймановъ фальшивыми.

Такъ какъ этотъ вопросъ до конца не былъ рѣшенъ утвердительно, то многіе заводили себѣ Сулейманъ-пашу всѣхъ сортовъ. Тутъ ужъ, по крайней мѣрѣ, можно было съ увѣренностью сказать, что все-таки въ числѣ этихъ Сулеймановъ-пашей былъ и настоящій.

Живо мнѣ вспоминается время войны. Мы все горячо, отъ мала до велика, интересовались военными дѣйствіями, слѣдили за успѣхами русскаго оружія, встрѣчали громкими криками радости наши побѣды и заливались горькими, искренними слезами, когда приходили извѣстія о нашихъ неудачахъ.

Въ дни отпусковъ я постоянно ходилъ на вокзалъ. Тамъ было непрерывное движеніе. Военскіе поѣзда уезжали въ Турцію полки за полками, а оттуда прибывали санитарные поѣзда съ нашими ранеными и поѣзда съ плѣнными турками.

Эти трогательныя картины никогда не изгладятся изъ моей памяти.

Въ пансіонѣ у насъ была огромная географическая карта всего театра военныхъ дѣйствій и мы тщательно, особенными маленькими флагами на булавахъ, отмѣчали побѣдоносное движеніе нашихъ войскъ. Русскіе флаги были черные съ желтымъ, турецкіе — красные. И съ какимъ восторгомъ слѣдили мы за постепеннымъ уменьшеніемъ количества красныхъ флажковъ и соотвѣтственнымъ увеличеніемъ и движеніемъ впередъ флажковъ черно-желтыхъ. А когда, наконецъ, эти флаги были водружены тамъ, гдѣ значились Плевна и Карсъ, нашимъ ликованіямъ не было предѣла...

Маленькія русскія сердца, они бились въ ладъ съ большими!..

Даже игры наши носили тогда военный характеръ. Мы очень любили играть въ снѣжки во время перемѣнъ. Въ каждомъ классѣ были у насъ два параллельныхъ отдѣленія. Понятно, ученики перваго отдѣленія держались одной стороны, ученики втораго отдѣленія другой. Но какъ та, такъ и другая сторона упорно не желали признавать себя турками. Мы считали турками второ-отдѣленцевъ, они — насъ. Потому и получилось нѣчто странное: русскіе сражались съ русскими, правда, только... въ снѣжки.

При гимназіи была у насъ домовая церковь. И какъ горячо благодарили мы Бога, когда случались радостныя молебны, и какъ горько плакали во время панихидъ по „всѣмъ въ брани животъ свой положившимъ“...

Эти чувства трудно передать словами, ихъ можно только пережить. И мы пережили ихъ.

Я долгое время пользовался вниманіемъ товарищей-пансіонеровъ, какъ родственникъ человѣка, бывшаго на

войнѣ, но явился другой маленькій герой, который привлекъ къ себѣ общее вниманіе.

Я гордился своимъ дядей, но пальму первенства уступилъ охотно...

Это грустная исторія.

Быть у насъ маленькій мальчикъ, ученикъ приготовительнаго класса, Верховскій.

Однажды его обидѣлъ какой-то второклассникъ. Воспитатель позвалъ обидчика въ отдѣльную комнату и тамъ, въ присутствіи нѣсколькихъ другихъ воспитанниковъ, сказалъ ему:

— Вы знаете, кого вы обидѣли?

Виновникъ, который былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія, не могъ отпираться, а потому и отвѣтилъ совершенно правильно.

— Верховскаго.

— Я знаю, что Верховскаго, но знаете ли вы, что Верховскій теперь не просто Верховскій. Онъ теперь, хоть и самъ того не знаетъ, и безъ васъ достаточно обиженъ судьбой. У него отецъ, единственная опора семьи, убитъ на войнѣ.

И виновникъ происшествія и мы, позванные воспитателемъ въ свидѣтели, разомъ какъ-то притихли.

А воспитатель продолжалъ:

— Я не стану васъ наказывать, но вы сами поймете, что вамъ надо дѣлать. Долженъ теперь сказать вамъ все въ общемъ, что самъ Верховскій еще не знаетъ обо всемъ происшедшемъ. Намъ писала объ этомъ его мать, прося, однако, ничего не говорить сыну. Онъ очень любилъ отца и даже не подозрѣваетъ, что тотъ отправился на войну. Ихъ полкъ ушелъ туда уже послѣ каникулъ. Надѣюсь, что мальчику никто не скажетъ, никто не проговорится объ этомъ.

И съ этого момента первымъ лицомъ въ пансіонѣ сдѣлался маленькій Верховскій.

Хорошая, благородная сторона дѣтскаго сердца сказала съ полнымъ единодушіемъ. Весь пансіонъ зналъ въ чемъ дѣло, и никто даже полусловомъ не намекнулъ мальчику о его горѣ.

Но прямо можно назвать трогательнымъ ту заботливость, которой окружили пансіонеры маленькаго сироту.

Онъ сдѣлался, такъ-сказать, сыномъ всего пансіона. Его въ буквальномъ смыслѣ носили на рукахъ, всячески стараясь сдѣлать ему что-нибудь пріятное...

Изъ ста человѣкъ только одинъ, котораго ближе всѣхъ касалось событіе, ничего не подозрѣвалъ о немъ...

Онъ только удивлялся, почему это вдругъ всѣ такъ полюбили его...

И помню я, съ какимъ почтеніемъ смотрѣли мы на молодую даму въ черной креповой вуали, которая пріѣхала за Верховскимъ, чтобы взять его въ отпускъ на Рождество.

Это была вдова убитаго офицера.

Послѣ Рождества Верховскій назадъ не вернулся. Насъ это встревожило, и мы обратились за разъясненіемъ къ воспитателю.

Тотъ объяснилъ намъ, что Верховскаго приняли на казенный счетъ въ одну изъ военныхъ гимназій (тогда нынѣшніе корпуса назывались „военными гимназіями“), находящуюся въ какомъ-то другомъ городѣ.

Громкіе крики „ура“ огласили стѣны нашей гимназій, когда мы узнали о заключеніи мира.

Другой такой радости я не упомяну.

Долженъ еще сказать о судьбѣ моихъ турецкихъ трофеевъ.

Съ окончаніемъ войны интересъ къ фотографіямъ героевъ значительно уменьшился. Коллекціонерство этого рода отошло на задній планъ. Только у нѣкоторыхъ гимназистовъ коллекціи эти остались въ неприкосновенности.

Что касается меня, то, какъ сейчасъ помню, я промѣнялъ товарищу Османа, Мухтара и трехъ Сулеймановъ пашей на одну порцію мороженаго цѣною въ гривенникъ.

Положимъ, мнѣ очень хотѣлось мороженаго, а я, какъ на зло, былъ совершенно не при деньгахъ, но все-таки, согласитесь сами, пять турецкихъ военачальниковъ,

и при томъ такихъ храбрыхъ, за одинъ гривенникъ—это слишкомъ дешево.

Всѣ иноземныя монеты я на каникулахъ обмѣнялъ на обыкновенныя русскія деньги.

Куда дѣлась главная изъ моихъ рѣдкостей—оружейная пуля, я рѣшительно не помню.

XI.

Купаніе.

Въ спальнѣ еще тихо, тихо...

Но вотъ стѣнные часы въ пансіонскомъ коридорѣ медленнымъ и нѣсколько мрачнымъ темпомъ отбиваютъ четыре удара.

Со скамейки, стоящей недалеко отъ часовъ, лѣниво поднимается фигура дежурнаго дядьки.

Онъ вздыхаетъ, что-то бормочетъ, потомъ креститъ зѣвающій ротъ и, слегка пошатываясь, такъ какъ еще не успѣлъ прійти въ себя отъ сладчайшей дремоты, направляется въ другой конецъ коридора, гдѣ находится комната для дядекъ.

Тамъ сладко спитъ другой дядька.

Пришедшій начинаетъ тормошить спящаго.

— Чего тебѣ?—недовольнымъ тономъ отзывается тотъ и пробуетъ повернуться на другой бокъ.

— Какъ чего, или уже позабылъ, что пора. Иди, давай звонокъ младшему возрасту.

Конечно, дядька съ удовольствіемъ поспалъ бы еще тѣ два часа, которые остаются до шести—время, въ которое обыкновенно вставали пансіонеры. Но на этотъ разъ приходится вставать ранѣе на два часа.

Поспать бы, конечно, хотѣлось, но долгъ службы прежде всего и ничего тутъ не подѣлаешь.

— Эхъ, вотъ она жизнь-то наша,—вздыхаетъ разбу-
жѣнный дядька и медленно подымается съ койки, зѣвая
и крехтя.

— Ну, ты поторапливайся,—говорить ему сослужи-
вещь,—а я пойду будить воспитателя.

Онъ идетъ въ комнату воспитателя, а черезъ какихъ-
нибудь двѣ-три минуты въ обѣихъ спальняхъ, какъ млад-
шаго, такъ и старшаго возраста, уже отчаянно гремятъ рѣз-
кіе звуки колокольчиковъ.

— Купаться, купаться... кто хочетъ купаться,—взы-
ваетъ дядька въ младшей спальнѣ, неистово потрясая
колокольчикомъ, отъ котораго идетъ такой трезвонъ, что,
кажись бы, мертвые—и тѣ не въ состояніи были выдер-
жать.

— Господа, купаться! — вопить другой дядька въ
старшей спальнѣ.

И моментально поднимается страшный гвалтъ. Маль-
чики быстро вскакиваютъ съ своихъ кроватей, вскаки-
ваютъ съ такой поспѣшностью, какую весьма рѣдко
можно наблюдать въ обычное время, когда приходитея
вставать прямо на занятія.

Купаніе—это своего рода праздникъ въ будни, осо-
бенно теперь, когда во всѣхъ классахъ идутъ экзамены,
т. е., отъ середины мая до конца іюня.

Пансіонеровъ водили купаться дважды въ недѣлю
и, помимо самаго процесса купанья, удовольствіе увели-
чивалось еще чудной прогулкой.

До рѣки итти отъ гимназій очень далеко, почти три
версты, притомъ къ рѣкѣ приходитея спускаться съ
очень крутой горы, а потомъ, слѣдовательно, подни-
маться обратно, но что значать эти пять-шесть верстъ
для молодыхъ ногъ?.. Утро раннее, вешнее, пока еще
прохладное, прогулка „свободнымъ маршемъ“, т. е., не
строго распредѣленными парами, а добровольными груп-
пами. Чего же еще надо?

И пансіонеры, столь лѣниво встающіе въ обыкновен-
ное время, нороящіе поспать хоть минуточку лишнюю,
теперь быстро вскакиваютъ и сами будятъ другихъ.

— Окуневскій, вставай, — тормошитъ одинъ пансіонеръ своего сосѣда.

— Отстань, не хочу! — бормочетъ тотъ.

— Какъ не хочешь? Сегодня — купанье.

— Дай еще хоть минутку полежать.

— Вставай, вставай.

Но Окуневскій, извѣстный любитель поспать, не желаетъ подниматься.

Тогда сосѣдъ сдергиваетъ съ него одѣяло, а потомъ вытаскиваетъ изъ-подъ головы подушку.

— погоди же, я тебѣ задамъ, — свирѣпо вскрикиваетъ Окуневскій, вскакивая съ кровати.

Но сосѣдъ хохоча во все горло и съ подушкой въ рукахъ устремляется въ бѣгство.

Окуневскому послѣ этого только и остается, что начать одѣваться, что онъ и дѣлаетъ.

Сосѣдъ возвращается на мѣсто.

— Пршлый разъ, — говоритъ онъ, — ты не всталъ, а потомъ самъ же и ругался за то, что я тебя не разбудилъ. Ты просилъ принять все мѣры, ну, вотъ теперь я, кажется, принялъ все мѣры. Меня упрекнуть нельзя.

Окуневскій недоволено сопить, но сознаетъ, что пріятель правъ, такъ какъ онъ, завѣдомый соня, очень просилъ — „разбудить его непременно, хоть водой облить“. Пospать, разумѣется, очень пріятно, но за то какое раскаяніе овладѣваетъ потомъ.

Пансіонеровъ у насъ купаться не принуждали; желающіе могли продолжать свой сонъ вплоть до возвращенія остальныхъ съ купанія, т. е., еще добрыхъ часа три, но именно это отсутствіе всякаго принужденія (отъ самыхъ маленькихъ до самыхъ старшихъ включительно) и дѣлало то, что изъ ста человѣкъ, живущихъ въ пансіонѣ, оставалось дома не болѣе десяти.

Пансіонеры, не желая терять драгоценное время, одѣваются быстро. Часть бѣжитъ къ умывальникамъ, но большинство предпочитаетъ сохранить удовольствіе освѣженія до самаго купанья.

Среди встающихъ появляется фигура воспитателя.

— Скорѣй, господа, скорѣй,—поощряетъ онъ, хотя, строго говоря, подбодренія никакого не нужно: всѣ и такъ, сами по себѣ, торопятся.

— Ахъ ты, Господи,—восклицаетъ вдругъ воспитатель, — а Инфимовскій опять, кажется, не думаетъ купаться. Господа, да разбудите же его.

— Да мы ужъ пробовали, не встаетъ. Попробуйте вы сами, Степанъ Константиновичъ. Можетъ-быть, вамъ это удастся,

Инфимовскаго растормошить трудно. Это самый отчаянный любитель сна. За два почти мѣсяца онъ, можетъ-быть, какихъ-нибудь два-три раза рѣшается поднять свое длинное тѣло съ ложа сна и омыть его въ быстрыхъ и прохладныхъ волнахъ рѣки.

Воспитатель дерзаетъ сдѣлать попытку.

— Инфимовскій,—подходитъ онъ къ кровати.

На кровати полное молчаніе.

— Инфимовскій!

Воспитатель пробуетъ прикоснуться къ одѣялу. Снова молчаніе.

— Инфимовскій!

— Гм... что тамъ... что нужно... гм... спать хочу,—слышится какой-то мычащей голосъ.

— Вставайте, выкупайтесь, хоть одинъ разъ. Вѣдь это же полезно,—начинаетъ убѣждать воспитанника воспитатель.

— Нѣтъ, я въ слѣдующій разъ,—отвѣчаетъ Инфимовскій и закрываетъ глаза.

— Инфимовскій, да встаньте же хоть разъ,—настаиваетъ воспитатель, котораго ужъ самого заинтересовываетъ, возможно ли разбудить Инфимовскаго.

И вдругъ происходитъ чудо: Инфимовскій вскакиваетъ.

— Поспать человѣку не даютъ! — восклицаетъ онъ съ необычайнымъ отчаяніемъ, но, увидѣвъ, что передъ нимъ не товарищи, а самъ воспитатель, старается быть сдержаннымъ и говоритъ уже не свирѣпо, а только съ укоризной:

— Ей-Богу, Степанъ Константиновичъ, спать хочется.

— Да ну-те, вставайте, надо же вамъ хоть разъ провѣтриться, — убѣждаетъ воспитатель.

— Ну, ладно! — отзывается воспитанникъ и, словно рѣшаясь на самое отчаянное предпріятіе, начинаетъ напяливать на себя сапоги.

— Господа, — со смѣхомъ восклицаетъ воспитатель, — величайшее событіе: Инфимовскій, наконецъ, рѣшился таки встать.

— Ура!.. Ура, Инфимовскій! Ура, Степанъ Константиновичъ, разбудившій непробудное!..

И веселый смѣхъ сопровождаетъ эти восклицанія. Даже самъ Инфимовскій, охваченный общимъ оживленіемъ, изображаетъ на своей фізіономіи что-то въ родѣ слабой улыбки удовольствія.

— Разбудили-таки, — бормочетъ онъ.

— Ладно, ладно, пошевеливайся, — кричатъ пансіонеры.

На все требуется не болѣе какихъ-нибудь двадцати минутъ.

Малыши, правда, строятся въ нѣкоторое подобіе паръ и уходятъ, сопровождаемые дядьками. Шумъ тамъ у нихъ изрядный.

Еще такъ рано, что прохожихъ на улицахъ очень мало. Но и эти немногіе, если не съ ужасомъ, то съ удивленіемъ смотрятъ на шумящую орду мальчугановъ, а нѣкоторые съ полнѣйшимъ недоумѣніемъ спрашиваютъ у дядекъ.

— Куда это вы ихъ гоните?

Дядька же, не безъ досады и презрѣнія по адресу невѣжественныхъ любопытныхъ, отвѣчаетъ:

— Куда? Извѣстно куда, — купаться.

Старшіе воспитанники идутъ произвольными группами, по три-четыре человѣка, но не отбиваясь другъ отъ друга. Конечно, тутъ значительно тише, шума нѣтъ, хоть смѣхъ и веселый разговоръ такъ и звенятъ въ чистомъ утреннемъ воздухѣ. Около воспитателя группа

человѣка въ четыре. Временами одни смѣняютъ другихъ. Разговоры самые непринужденные; начальническаго тона не позволяетъ себѣ самъ воспитатель, да и воспитанники почти никогда не даютъ даже самаго малѣйшаго повода къ какому-либо замѣчанію. Это что-то въ родѣ превратившагося въ обычай добровольнаго соглашенія между сторонами.

Но полная воля начинается при спускѣ съ горы.

Въ этомъ случаѣ ужъ многое зависѣло отъ воспитателей...

Около горы шла обходная дорога. Чехъ Поспишилъ непремѣнно требовалъ, чтобы пансіонеры шли именно по этой дорогѣ, что всегда очень неохотно исполнялось младшими воспитанниками. Но всѣ три другіе воспитателя позволяли спускаться прямо по откосу горы, очень крутой, мѣстами поросшей кустарникомъ, мѣстами песчаной и обрывистой. Тутъ-то и начиналось общее веселье для малышей и ихъ юркія фигурки, то ползущія, то прямо бѣгущія по горному спуску представляли дѣйствительно оживленное зрѣлище.

Понятно, и дядькамъ приходилось слѣдовать за ними, что для людей солидныхъ лѣтъ особенной привлекательности не представляло.

Старшій возрастъ предпочиталъ обходное движеніе и, когда старшіе только начинали подходить къ купальнѣ, младшіе уже были тамъ.

Содержатели купаленъ предупреждались въ такихъ случаяхъ и получали деньги заранѣе; и во время нашего купанія частная публика въ занятые нами двѣ купальни не допускалась.

Для маленькихъ брали болѣе мелкую купальню, нѣкоего Кутовенко, для старшихъ самую глубокую (всѣхъ было четыре или пять, не помню), содержимую нѣкоей Маріей Медецкой.

Воспитатель и дядьки находились при маленькихъ, для старшихъ же надзоръ въ этомъ случаѣ считался излишнимъ.

Купались, въ общемъ, около часа и веселья было не

мало. Натура и характеръ каждаго воспитанника сказывались въ отдѣльности.

— Господа, кто первый?— раздавался крикъ какого-нибудь особенно рѣтиваго купальщика.

И черезъ какую-нибудь минуту нѣсколько человѣкъ уже бросались въ воду, а спустя минутъ десять вся купальня (старшихъ было въ пансіонѣ человѣкъ сорокъ) наполнялась обнаженными тѣлами.

Впрочемъ, нѣкоторые, наиболѣе осторожные и „боящіеся воды“ влезали по меньшей мѣрѣ черезъ четверть часа и то постепенно.

Иной поплаваешь и вылѣзешь, потомъ снова прыгнетъ въ воду и такъ повторяетъ нѣсколько разъ.

Но былъ у насъ одинъ товарищъ, по фамиліи Ельниковъ, который купался какимъ-то особеннымъ способомъ.

У него была своя собственная манера, доставлявшая, вѣроятно, ему глубокое страданіе (хотя онъ никогда не пропускалъ купанья и всегда говорилъ, что оно „необходимо въ смыслѣ гігіены“), а другимъ шумное удовольствіе.

Влазилъ онъ въ воду съ несомнѣннымъ отвращеніемъ, опускаясь постепенно по ступенькамъ лѣстницы, при каждомъ дальнѣйшемъ погруженіи въ воду вскрикивая и стуча зубами. Плавать онъ не умѣлъ и, наконецъ, опустившись съ послѣдней ступеньки на досчатое дно, ухватывался обѣими руками за рѣшетку, окунался съ чувствомъ величайшаго ужаса въ воду, при чемъ никакъ не могъ окунуться полностью, такъ что верхняя часть головы оставалась сухой, а затѣмъ, не сходя съ мѣста, оставался въ водѣ добрыхъ двадцать, а то и двадцать пять минутъ. Онъ старался только объ одномъ— какъ бы быстрое теченіе не снесло его съ мѣста. Такой способъ купанья безъ малѣйшаго движенія, приводилъ къ тому, что у этого „добровольнаго мученика купанья“, какъ мы его называли, появлялась дрожь по всему тѣлу, зубы колотились о зубы, выбивая громкую дробь, а самъ онъ становился прямо синимъ.

Ему говорили, что это вредно для здоровья, что такъ нельзя, но онъ заявлялъ:

— Иначе не могу.

— Да ты боишься?

— Боюсь, — сознавался онъ.

— Чего?

— А если теченіе унесетъ.

Иногда кто-нибудь предлагалъ ему услуги — поучить плавать, и если предлагающій прикасался къ его рукамъ, чтобы отнять ихъ отъ рѣшетки, то Ельниковъ, судорожно сжимая перила оцѣпенѣвшими руками, вопилъ прямо не своимъ голосомъ:

— Оста-а-а-вь, утопишь!

Когда онъ вылезалъ обратно, то долго сидѣлъ и сушился на солнцѣ, пока, наконецъ, былъ въ состояніи прійти въ себя отъ этой прямо вредной для здоровья ванны и начать одѣваться.

Впрочемъ, это нисколько не мѣшало ему каждый разъ неизмѣнно говорить.

— А и здорово же я, братцы, выкупался.

Выходило дѣйствительно здорово, но только не въ смыслѣ здоровья.

Возвращались мы еще веселѣе. Тутъ уже всякій, кто хотѣлъ, изъ старшаго возраста, уходилъ обратно самъ. Нѣкоторые даже на извозчикахъ уѣзжали. На обратный путь времени было достаточно и воспитатель только предупреждалъ, что все обязаны быть въ пансіонѣ къ чаю, т. е., къ половинѣ восьмого.

— Смотрите же, господа, не подведите и меня, будьте во время.

— Будемъ, будемъ.

И случаи опозданія, и то на какихъ-нибудь пять минутъ, не болѣе, были очень рѣдки. Намъ давали свободу, и мы цѣнили ее, боясь потерять довѣріе начальства, дѣлавшаго насъ, такъ-сказать, „большими“.

Но во время обратнаго пути мы успѣвали надѣлать массу дѣлъ. Лавки уже были частью отперты, такъ что можно было сдѣлать нѣкоторые покупки, но главной при-

манкой быть для насъ базаръ, для чего мы дѣлали, впрочемъ, испрося предварительно разрѣшеніе у воспитателя, изрядный обходъ въ сторону.

На базарѣ пріобрѣталась масса предметовъ, конечно, главнымъ образомъ, съѣдобныхъ: ягоды, „греческій хлѣбъ“ и въ ужасающемъ количествѣ сырые овощи—морковь, рѣпа, огурцы...

И все это немедленно пожиралось (именно не съѣдлось, а пожиралось) сейчасъ же послѣ чаю, когда мы, освѣженные и бодрые, возвращались въ пансіонъ и садились за книги, чтобы готовиться къ экзаменамъ.

Мудреное ли дѣло—простое купанье, а еще и теперь я вспоминаю эти купальные дни съ величайшимъ удовольствіемъ.

А тогда это было цѣлымъ „событіемъ“, нарушавшимъ обыденный строй нашей, въ общемъ довольно монотонной пансіонской жизни.

Это были своего рода праздники по буднямъ.

XII.

Смягченіе нравовъ.

Въ очеркѣ „Карандаши и паштеты“ я рассказывалъ о той странной и, въ сущности, весьма нелѣпой враждѣ, которая, безъ всякой видимой причины, существовала, и существовала очень долгое время, между гимназистами двухъ городскихъ гимназій.

Въ К. была еще третья гимназія, но она находилась на далекой окраинѣ города и ея воспитанникамъ рѣдко приходилось сталкиваться съ нашими. Была еще, какъ я имѣлъ случай упоминать, и четырехклассная прогимназія, учениковъ коей называли „чижиками“, но съ ними тоже не враждовали. На моихъ глазахъ эта прогимназія

выросла въ шестиклассную, а потомъ, съ добавленіемъ еще двухъ классовъ, сдѣлалась полной четвертой гимназіей города.

Но главную роль по-прежнему играли двѣ старѣйшія гимназіи.

Судьба устроила такъ, что я учился сперва во второй, потомъ четыре года въ первой, а потомъ снова вернулся во вторую.

Пріятелей, какъ тамъ, такъ и тутъ, у меня было достаточное количество. Мнѣ же нерѣдко приходилось способствовать сближенію гимназистовъ обѣихъ гимназій между собой.

Я поступилъ въ гимназію въ такое время, которое смѣло можно было назвать дикимъ, но на моихъ же глазахъ эти дикія отношенія значительно измѣнились къ лучшему. Грубые нравы постепенно смягчались и „мальчишеское“ молодечество, выражавшееся, главнымъ образомъ, въ ссорахъ и дракахъ, все болѣе и болѣе уступало мѣсто разумнымъ вѣяніямъ.

На моихъ же собственныхъ глазахъ все это закончилось полнѣйшимъ перерожденіемъ, окончательно измѣнившимъ отношенія гимназистовъ между собою.

Правда, соперничество между гимназіями осталось, но характеръ его былъ уже совершенно иной, такъ сказать, духовный, умственный.

И если прежде огромное значеніе имѣла исключительно грубая физическая сила, то теперь на нее вниманія уже не обращали, стараясь соперничать совсѣмъ въ другомъ смыслѣ.

Тутъ соперничество было уже общее, не только между маленькими гимназистами, но и между старшими; между послѣдними, пожалуй, даже большее.

Изъ старой вражды осталось только одно — названіе „карандаши“ и „паштеты“, но эти названія употреблялись уже безъ всякаго злобнаго чувства, въ видѣ простой шутки, для краткости...

Кромѣ того, слова эти напоминали о прошломъ или, какъ мы говорили шутя, „о доисторическихъ временахъ“

сѣдой древности“, хотя эта сѣдая древность была не за горами.

Въ чемъ же именно стало теперь выражаться наше соперничество?...

Скажу кое-что объ этомъ.

Въ обѣихъ гимназіяхъ нерѣдко устраивались литературно-музыкальные вечера. Разнообразно составленная программа, въ которую входили чтеніе, музыка и пѣніе, исполнялась исключительно воспитанниками гимназій. По окончаніи литературно-музыкальнаго отдѣленія слѣдовали танцы, потомъ угощеніе „гостей“ (при чемъ и „хозяева“, т. е., гимназисты той гимназіи, гдѣ происходило событіе, старались не забывать себя) и снова танцы для заключенія.

Проходили такіе „вечера“ очень оживленно и для гимназій они всегда являлись своего рода праздниками, имениннымъ днемъ, о которомъ говорили долго послѣ того, какъ онъ уже проходилъ, и къ которому готовились особенно старательно...

Какъ „паштеты“, такъ и „карандаши“ употребляли всѣ усилія, можно сказать, прямо изъ кожи лѣзли въ стараніяхъ, чтобы эти „вечера“ проходили съ возможнымъ блескомъ и многочисленностью, и чтобы литературно-музыкальная программа была въ состояніи дѣйствительно заинтересовать слушателей.

И вечера обѣихъ гимназій, въ самомъ дѣлѣ, славились въ городѣ по заслугамъ.

Въ числѣ приглашенныхъ, прежде всего, занимали мѣсто семьи воспитанниковъ, но, кромѣ того, посылались пригласительные билеты во всѣ прочія учебныя заведенія города: другія мужскія гимназіи, всѣ женскія, женскій институтъ, реальное и юнкерское училища, военную гимназію.

Скажу, между прочимъ, что два послѣднія учебныя заведенія портили намъ не мало крови. Не пригласить юнкеровъ и кадетъ было бы съ нашей стороны большой невѣжливостью, такъ какъ и они всегда приглашали гимназистовъ на свои вечера, а, между прочимъ, они зна-

чительно подрывали нашъ авторитетъ въ одномъ отношеніи.

По музыкально-вокальной части преимущество всегда оставалось на сторонѣ „штатскихъ“, т. е., гимназистовъ, но зато по части танцевальной господа „военные“, т. е., юнкера и кадеты оставляли насъ далеко за собою.

Подобное обстоятельство приводило насъ въ ужасное огорченіе. Да и было отчего.

Судите сами: мы — „штатскіе“, хоть и одѣтые тоже въ мундиры, выглядѣли сравнительно со стройными, прямо держащими свое туловище „военными“, какъ какіе-то нескладные мѣшки, набитые сѣномъ.

Тѣ и ходятъ какъ-то иначе, и стоятъ на особенный манеръ, и кланяются граціозно, а мы...

Нѣтъ, лучше ужъ помолчать. Мы, по сравненію съ ними, напоминали по неуклюжести своихъ движеній по меньшей мѣрѣ молодыхъ слоновъ, если не пожилыхъ гиппопотамовъ.

Что же касается танцевъ, то тутъ ихъ преимущество было внѣ всякаго описанія.

И какъ намъ было не огорчаться, когда „дамы“ рѣшительнѣйшимъ образомъ предпочитали штатскимъ военныхъ!

Извѣстное дѣло, что женскому полу весьма любезенъ и приятенъ хорошій танцоръ.

Подойдетъ это къ какой-нибудь миловидной институткѣ или гимназисткѣ нашъ ученикъ, расшаркается такъ старательно, что чуть ее съ ногъ не собьетъ, и самымъ сладкимъ голосомъ произнесетъ:

— Позвольте пригласить васъ на туръ вальса.

А она въ отвѣтъ:

— Ахъ, извините, пожалуйста, я ужасно устала.

И дѣйствительно видно, что она находится въ послѣдней степени утомленія, еле-еле на ногахъ держится, такъ вотъ и упадетъ отъ усталости.

Конечно, при такихъ обстоятельствахъ о танцѣ и думать неммыслимо, нельзя же окончательно dokonать не-

счастную барышню. Прекрасный полъ — существа слабыя, ихъ надо щадить, жалѣть.

Но странное дѣло: не успѣетъ гимназистъ отойти въ сторону (разумѣется, съ вытянутой отъ разочарованія физиономіей, такъ какъ ему ужасно хотѣлось показать свое танцорское искусство именно съ этой „дамой“), какъ она уже несется въ вихрѣ самаго упоительнаго вальса съ военнымъ человѣкомъ.

Военный человѣкъ едва только подошелъ, слегка шаркнулъ ногой, только что заикнулся:

— Позвольте предложить...

А ужъ, смотришь, барышня, только что готовая упасть отъ усталости, несется съ нимъ по паркету. И въ глазахъ ея не только утомленія не видно, а, наоборотъ, полная готовность протанцовать верстъ двадцать, если не больше.

Да, было отъ чего не только огорчаться, а и прямо дойти до отчаянія.

Правда, и между гимназистами были лихіе танцоры, но они были пзвѣстны наперечетъ и съ ними барышни усталости не чувствовали, а общая масса по этой части сильно хромала.

Пробовали мы убѣждать представительницъ прекраснаго пола, что, собственно говоря, танцы это вещь второстепенная, что, уступая въ этомъ отношеніи, мы значительно превосходимъ господъ военныхъ во всемъ иномъ... Они же вѣдь только всего и будутъ, что простыми офицерами, а изъ насъ получатся ученые профессора, знаменитые доктора, неумолимѣйшіе прокуроры, краснорѣчивѣйшіе адвокаты, гениальные поэты, наконецъ, даже астрономы...

Барышни со всѣмъ этимъ вполне соглашались и возразить противъ этого ничего по существу не могли, но танцовать предпочитали все-таки не съ будущими поэтами, прокурорами и астрономами, а съ прапорщиками и ротными командирами.

Впрочемъ, эта крупная неприятность отходила на задній планъ и, приготовляясь къ нашимъ вечерамъ, мы старались изо всѣхъ силъ.

Оркестръ сыгрывался, чтецы доводили искусство декламации до послѣдней степени, тщательно вырабатывая и обдумывая произношеніе каждаго слова.

Хорошими чтецами гордилась вся гимназія. Во второй гимназіи былъ нѣкто Лысакъ, ученикъ старшихъ классовъ. Онъ превосходно декламировалъ серьезные стихи и не было ему равнаго въ прозаическомъ чтеніи.

Но если гимназисты второй гимназіи гордились Лысакомъ, то первая гимназія имѣла тоже основаніе похвастаться.

Былъ тамъ нѣкій Масалютинъ, малышъ-малышомъ, такой карапузъ, что его еле отъ земли было видно, но если надо было прочесть смѣшную басенку или юмористическое стихотвореніе, то онъ читалъ его съ такимъ мастерствомъ настоящаго артиста, что слушатели приходили дѣйствительно въ неподдѣльный и прямо неудержимый восторгъ...

Особенно сказывался его талантъ при чтеніи басенъ. Для каждаго животнаго у него была особенная манера, которая именно это животное и характеризовала. За медвѣдя онъ говорилъ какимъ-то уморительнымъ басомъ, за лисицу тончайшимъ и сладчайшимъ альтомъ, ворона говорила какъ-то особенно глупо, а мартышка такъ сердилась на очки, что было ясно, что, въ концѣ-концовъ, она не сможетъ поступить иначе, какъ только хватить ихъ о камень и именно съ такою силой, которая необходима для того, „чтобъ только брызги засверкали“. Вообще, крохотный Масалютинъ былъ великій мастеръ своего дѣла. Въ немъ было не искусственно выработанное, а природное пониманіе содержанія и смысла того, что онъ читалъ.

Въ каждой гимназіи былъ свой оркестръ. Музыкантовъ хорошихъ было не мало въ обѣихъ гимназіяхъ, но первая гимназія превзошла вторую въ одномъ отношеніи: у нея былъ собственный композиторъ, воспитанникъ Страховъ, писавшій очень недурныя музыкальныя произведенія и романсы. Этотъ Страховъ представлялъ собою постоянный предметъ зависти для учениковъ второй гимназіи, но, несмотря на всеъ поиски, композитора тамъ найти

не могли. Поэтовъ было нѣсколько у каждой изъ гимназій и они тоже съ большимъ успѣхомъ выступали передъ публикой на литературно-музыкальныхъ вечерахъ, а композиторъ въ числѣ всѣхъ гимназистовъ былъ только одинъ единственный...

Но въ послѣдній годъ моей гимназической жизни судьбѣ было угодно, чтобы въ этомъ смыслѣ шансы уравнились: Страховъ перевелся въ другой городъ. Вѣроятно, композиторство его дальше гимназій не пошло. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, не приходилось встрѣчать композитора съ такой фамиліей, а за дальнѣйшими успѣхами извѣстныхъ мнѣ тѣмъ или инымъ талантомъ гимназистовъ я всегда слѣдилъ. Знаю и теперь изъ нихъ нѣсколькихъ ученыхъ, писателей и одного художника.

Много стараній было положено на образованіе хорошихъ церковныхъ хоровъ. Тутъ соревнованіе сказывалось съ особенной силой.

Дѣло въ томъ, что изъ двухъ гимназій только у одной была своя домовая церковь, именно у болѣе богатой — первой, но и пансіонеровъ второй гимназій по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ водили въ эту же церковь.

Хоры чередовались: одинъ праздникъ пѣлъ хоръ первой гимназій, а въ слѣдующій ученики второй гимназій. Каждая изъ гимназій старалась изо всѣхъ силъ: выбирались самые трудные концерты, необычайно сложные напѣвы, и маленькая ошибка въ пѣніи обсуждалась потомъ учениками на всевозможные лады, какъ событіе самой первостепенной важности.

— А помните, господа, какъ у васъ сфальшивили въ „Господи силою твоею возвеселится царь“, — съ торжествомъ напоминали одни.

— Ну, и вы тоже хороши, нечего сказать: прошлый концертъ совершенно испортили, — съ небрежной улыбкой отзывались другіе.

— У нашего Кононова такой дискантъ, что все отдай, да и то мало, — хвалились „паштеты“.

Дискантъ у Кононова былъ, дѣйствительно, прелест-

ный, но зато у „карандашей“ имѣлся настоящій басъ, „октава“, которымъ тоже можно было гордиться съ полнымъ основаніемъ.

Словомъ, гордились музыкантами, пѣвцами, чтецами. И каждый успѣхъ отдѣльнаго лица былъ въ то же время успѣхомъ всей гимназiи.

— Ну, братъ, смотри, не осрамясь,—подбодряли товарищи пѣвца или чтеца, съ понятной въ такихъ случаяхъ робостью выходящаго на эстраду.

И слѣдили за нимъ съ замираніемъ сердца: вдругъ возьметъ да и провалится.

И велико было общее ликованіе, если воспитанникъ не ударялъ, какъ говорится, въ грязь лицомъ, поддерживалъ честь своего учебнаго заведенія.

Конечно, громогласное восхваленіе собственныхъ достоинствъ практиковалось исключительно между младшими воспитанниками.

Случалось иногда, что взаимные споры по тому или иному поводу принимали у малышей довольно бурный характеръ, переходили въ ссору и кончались въ результатѣ легкой потасовкой. Но постоянныхъ сраженій, какъ какого-то обычая, о которомъ я упоминалъ ранѣе, теперь уже не было.

Вообще, нравы сильно смягчились и старинная вражда между „карандашами“ и „паштетамы“ все болѣе и болѣе угасала уже на моихъ глазахъ. Я лично пережилъ это переходное время и, заставъ въ полномъ разгарѣ старые порядки, самъ былъ и свидѣтелемъ новыхъ. А что касается старшихъ классовъ, то тутъ уже между воспитанниками устанавливались совершенно дружескія отношенія.

Было лишь молчаливое соревнованіе: старались болѣе читать, думать, разсуждать, издавали рукописные журналы и прочее въ этомъ духѣ.

А затѣмъ, по окончаніи гимназiи, университетъ тѣсно объединялъ всѣхъ насъ въ одну братскую семью восторженной молодежи.

XIII

Котъ и песъ.

Въ жизни дѣтей домашнія животныя всегда играютъ большую роль.

Никто такъ не любитъ этихъ животныхъ, никто не относится къ нимъ съ такою заботливостью, никто не ласкаетъ ихъ такъ, какъ дѣти.

Бываютъ исключенія, но они рѣдки, а въ общемъ дѣти и домашнія животныя почти всегда, какъ правило, бываютъ закадычными друзьями.

Конечно, пансіонъ, какъ закрытое заведеніе, не представлялся мѣстомъ хоть сколько-нибудь удобнымъ для животноводства, но на моей памяти у насъ все-таки жили себѣ да поживали два представителя животнаго міра, бывшіе всеобщими любимцами.

Одинъ существовалъ на законномъ основаніи, но не въ самыхъ стѣнахъ пансіона, другой же, что ужъ являлось прямымъ нарушеніемъ правилъ, проживалъ въ самомъ пансіонѣ.

Песъ Жукъ и котъ Рыжій.

Законенъ былъ первый, противозаконенъ второй.

Жука я засталъ уже на мѣстѣ жительства. Какимъ именно образомъ онъ сталъ собственностью пансіонеровъ, достовѣрно я не знаю. Это былъ средней величины песъ, самой чистокровной дворняжеской породы, изрядно лохматый и уже далеко не первой молодости. Онъ былъ черенъ, какъ уголь, безъ малѣйшихъ отмѣтнцъ какой-либо масти и, вѣроятно, именно по этой-то самой причинѣ носилъ свое имя.

Въ теплую погоду онъ проживалъ въ специально для него сдѣланной на средства пансіонеровъ обширной будкѣ, поставленной въ глухой части пансіонскаго сада, въ густой тѣни сиреневыхъ кустовъ...

У насъ при пансіонѣ былъ обширный дворъ, весьма удобный для самыхъ многочисленныхъ подвижныхъ игръ, и великолѣпный садъ...

Въ укромномъ уголкѣ этого сада и обиталъ Жукъ. Зимой же, во время холодовъ, онъ поселялся въ подвальномъ этажѣ, около пансіонской кухни.

Имѣю полное основаніе думать, что почтеннѣйшій Жукъ пользовался такимъ благополучіемъ, какое только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ выпадаетъ на долю представителя собачьей націи.

У него было нѣсколько десятковъ маленькихъ хозяевъ, и каждый изъ нихъ старался сдѣлать для Жука что-нибудь пріятное, заботился о томъ, чтобы его собачья жизнь проходила безпечально и беззаботно, чтобы онъ ни въ чемъ не нуждался и могъ удовлетворять не только насущнымъ потребностямъ жизни, но даже и малѣйшимъ капризамъ.

Судите сами: послѣ каждого завтрака, послѣ каждого обѣда ему предлагалась такая масса всевозможныхъ обѣдковъ, весьма питательныхъ и вкусныхъ, которой бы съ избыткомъ хватило для цѣлаго десятка Жуковъ. Думается даже, что такого количества пищи хватило бы даже на пару хорошихъ африканскихъ львовъ.

И Жукъ отлично сознавалъ свое положеніе и хорошо знаетъ себѣ цѣну: онъ ѣлъ только мясо, грызъ исключительно коты, а къ прочему не прикасался, относясь къ съ глубочайшимъ призравніемъ. У его будки постоянно лежала куча провизіи, которую, въ отсутствіи Жука, истребляли другія собаки, забѣгавшія въ пансіонскій садъ изъ другихъ дворовъ, находящихся поблизости.

Опытъ научилъ ихъ знать, что у будки Жука всякій голодный и нуждающійся песъ можетъ раздобыть то, что необходимо для поддержанія его силъ, конечно, въ томъ случаѣ, если Жука не оказывалось дома. Въ противномъ случаѣ, памятуя пословицу „собака на сѣнѣ лежитъ, сама не ѣстъ и другимъ не даетъ“, Жукъ никому не давалъ поживиться своимъ добромъ, хотя ему лично оно и не было нужно.

Но на счастье всѣхъ голодающихъ, Жукъ, въ свободное отъ занятій время, особеннымъ домосѣдствомъ не отличался и любилъ предпринимать отдаленныя прогулки; за то свои служебныя обязанности зналъ превосходно и непременно оказывался на своемъ посту въ то время, когда пансіонеры выходили гулять.

И если его не оказывалось дома, т. е. въ будкѣ, то стоило только позвать хорошенько и онъ непременно являлся.

— Жукъ, Жукъ! — звали малыши.

И голосъ ихъ достигалъ до ушей пса: съ дикимъ лаемъ, выразавшимъ необычайный восторгъ, съ отчаяннѣйшими прыжками, несмотря на свой солидный возрастъ, онъ уже, неизвѣстно откуда взявшійся, быстро приближался къ зовущимъ.

Прежде всего слѣдовало насыщеніе, хотя Жукъ вѣлъ солидно и осмотрительно, выбирая наилучшіе куски, а потомъ онъ принималъ живѣйшее участіе въ играхъ со всѣми желающими, носился въ перегонки, рычалъ, дѣлая свирѣпую фізіономію, восторженно лаялъ, вертѣлъ хвостомъ, визжалъ, чѣмъ въ высшей степени доставлялъ удовольствіе малышамъ.

И ни на одну минуту, вплоть до самаго звонка, призывавшаго изъ сада въ пансіонъ на занятія, Жукъ не обнаруживалъ ни малѣйшей усталости, ни малѣйшаго желанія отдохнуть, перевести духъ.

Смѣнялись окончательно уставшіе и набѣгавшіеся мальчуганы, но Жукъ начиналъ трудиться съ новой партіей.

И не было дня, чтобы пансіонеры съ нимъ не играли, конечно, если только выходили на прогулку, чего не случалось лишь въ ненастную погоду или чрезмѣрный морозъ, и не было случая, чтобъ Жукъ чѣмъ-либо выразилъ свое нерасположеніе къ игрѣ...

А когда мальчики уходили наверхъ въ пансіонъ, онъ провожалъ ихъ до входной двери и уходилъ обратно только тогда, когда эти двери запирались за послѣднимъ воспитанникомъ.

Вообще онъ, это можно сказать съ полнымъ основаніемъ, не даромъ ѣлъ хлѣбъ, а зарабатывалъ его въ потъ своего лица.

И много, много доставлялъ онъ удовольствія своимъ маленькимъ друзьямъ.

Убѣжая на каникулы, воспитанники всегда обращались съ просьбой къ инспектору, чтобы, въ ихъ отсутствіе, о Жукѣ не забывали. Инспекторъ въ этой просьбѣ не отказывалъ, конечно, да, въ сущности, это и не трудно было исполнить.

Но, по окончаніи каникулъ, вѣрная собака съ такой радостью встрѣчала старыхъ друзей, что было видно, насколько она о нихъ скучала долгимъ лѣтомъ, насколько привязана къ нимъ.

Вновь же поступившіе въ пансіонъ мальчики сейчасъ же становились съ добродушнымъ Жукомъ на самую короткую ногу.

Другимъ, въ такой же точно степени, любимцемъ пансіона былъ котъ Рыжій.

Этотъ поселился въ пансіонѣ уже на моихъ глазахъ. Исторію его появленія въ нашемъ обществѣ я знаю, такъ какъ и самъ принималъ въ ней нѣкоторое участіе.

Въ одинъ прекрасный вечеръ, возвратившійся изъ праздничнаго отпуска маленькій воспитанникъ принесъ съ собою въ пансіонъ крохотное существо рыжаго цвѣта и необычайно жалкой наружности.

Зима была суровая. Маленькое существо, должно-быть, очень сильно промерзло и подавало весьма слабые признаки жизни.

— Что это у васъ такое?—спросилъ мальчика, снимавшій съ него шинель, дежурный въ тотъ день дядька Иванъ-Ябеда.

— Котенокъ,—отвѣтилъ мальчикъ и отвѣтилъ совершенно справедливо, такъ какъ маленькое существо было и въ самомъ дѣлѣ котенкомъ.

— А откуда вы его взяли?— снова задалъ вопросъ дядька, и задалъ его зловѣщимъ тономъ, какимъ всегда

имѣлъ обыкновеніе говорить съ учениками младшихъ классовъ.

— На улицѣ.

— Ага! А развѣ вы не знаете, что приносить котятъ въ пансіонъ строжайше запрещается правилами?—съ побѣдоносной усмѣшкой спросилъ Иванъ-Ябеда.

Малышъ растерялся. Пансіонскихъ правилъ онъ въ точности не зналъ. Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ приносить котятъ въ пансіонъ было недозволено, хотя прямыхъ указаній на это и не имѣлось. Мальчикъ, однако, не сдался и для начала попытался подѣйствовать на нѣжность сердца Иванъ-Ябеды.

— Но вѣдь онъ чуть не умеръ. Не могъ же я смотреть на это равнодушно. Голубчикъ Иванъ,— продолжалъ малышъ жалобнымъ голосомъ,— пусть онъ пробудетъ только недѣлю, а потомъ я его возьму съ собою, когда пойду въ отпускъ. Тамъ его оставятъ. А то вѣдь иначе онъ пропадетъ.

Но Иванъ неумолимо продолжалъ стоять на почвѣ строжайшей законности.

— Нигдѣ этого не видано, нигдѣ не слыхано,— наставительно говорилъ онъ,— чтобы въ пансіоны носили котятъ. Такъ, пожалуй, всякій вздумаетъ носить съ улицы по одному котенку, и выйдетъ то, что въ пансіонѣ будетъ больше котятъ, чѣмъ воспитанниковъ. А развѣ это можно? Развѣ пансіонъ заводили для котятъ? Пансіонъ — для благородныхъ мальчиковъ, а не для поганыхъ котятъ.

— Иванъ, миленькій,— снова хотѣлъ умиловить дядьку мальчикъ, но Иванъ былъ непреклоненъ.

— Отъ пойду и доложу воспитателю,— сказалъ онъ свою обычную фразу и направился съ докладомъ.

Мальчикъ, не зная еще, какъ отнесется къ столь непредвидѣнному случаю воспитатель, но желая, во что бы то ни стало, защитить жизнь котенка, побѣждалъ за Иваномъ, стараясь отвоевать маленькое существо и извлечь его изъ рукъ суроваго солдата.

Произошла легкая борьба.

— Не дамъ,—ворчалъ безжалостный Иванъ.

— Отдай,—со слезами въ голосъ просилъ мягкосердечный пансіонеръ.

Иванъ не отдавалъ, мальчуганъ тащилъ котенка въ свою сторону.

Котенку, раздираемому на части, оставалось только отчаянно запищать, что онъ и сдѣлалъ.

Борьба между Дядькой и воспитанникомъ, а равно и отчаянный пискъ злосчастнаго котенка привлекли вниманіе другихъ пансіонеровъ. Скоро ихъ набралось изрядное количество, и когда Иванъ подходилъ къ воспитателю, то у его противника была масса союзниковъ, а онъ, Иванъ, былъ въ единственномъ числѣ, окруженный многочисленнымъ непріателемъ.

Понятное дѣло, мальчики приняли сторону товарища, и какъ только воспитатель, желая узнать въ чемъ дѣло, раскрылъ ротъ, какъ уже раздался общій говоръ:

— Позвольте его оставить, онъ маленькій, никому не сдѣлаетъ вреда.

— Я ужъ не знаю, право, какъ быть?—колебался воспитатель.

— Не иначе, какъ выбросить,—убѣжденно замѣтилъ Иванъ-Ябеда.

Это суровое заявленіе вызвало цѣлую бурю всеобщаго негодованія.

Тебя самого выбросить!—послышалось изъ толпы мальчугановъ.

Воспитатель былъ въ нерѣшимости. Съ одной стороны оно, конечно, словно будто бы и нѣкоторое нарушение закона, съ другой же - не хотѣлось бы и воспитанниковъ огорчить.

— Право, ужъ не знаю, какъ быть?—продолжалъ онъ колебаться.

Воспитанники снова загалдѣли:

— Оставить, оставить!

Дядька Иванъ сердито крутилъ усы.

— Не порядокъ,—недовольнымъ тономъ бормоталъ онъ, пробуя воздѣйствовать на воспитателя.

Тотъ нѣсколько задумался.

— Ну, вотъ что,—рѣшилъ онъ наконецъ:—пока пусть отенокъ останется, а потомъ...

— Bravo!...

— Спасибо!..

— Съ носомъ, Иванъ, поздравляемъ съ носомъ!

Такіе крики, весьма радостные, отвѣчали на рѣшеніе воспитателя.

Какой-то мальчуганъ не выдержалъ, не могъ удержать своего восторга и во все горло заоралъ:

— Ура!.. наша взяла.

Это невольно подзадорило и остальныхъ.

— Ура-а!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Вообще, по поводу столь крохотнаго существа въ пансіонѣ поднялся весьма изрядный шумъ. И старшіе воспитанники, заинтересованные этимъ всеобщимъ возбужденіемъ малышей, подошли узнать, въ чемъ дѣло. Но теперь уже даже трудно было добиться какого нибудь опредѣленнаго толка.

— Пойдите, господа,—надрывался воспитатель, стараясь покрыть своимъ голосомъ шумъ,—постойте... Послушайте, что я вамъ скажу... Да что же, это, наконецъ, слушайте!

Шумъ немного умолкъ. Воспитатель этимъ воспользовался и пояснилъ, что надо:

— Пока котенокъ пусть останется здѣсь, но только пока. Я не имѣю права разрѣшить вамъ оставить его окончательно; вы подождете Юліана Ивановича и тогда попросите у него. Позволить, и ладно.

Юліаномъ Ивановичемъ звали нашего инспектора. Онъ почти ежедневно приходилъ въ пансіонъ, въ то время какъ директора въ пансіонѣ мы видѣли только въ рѣдкихъ случаяхъ.

Мальчуганы разбрелись въ разныя стороны, причемъ наибольшая группа направилась за тѣмъ мальчикомъ, который нашелъ случайнаго героя дня, т. е. котенка.

Иванъ съ неудовольствіемъ возвратился на свое мѣсто и бурчалъ:

— Хороши порядки. Такъ, пожалуй, всякій теперь станетъ таскать котятъ, а потомъ собакъ, а потомъ, можетъ, и свиней, а потомъ и цѣлаго коня.

— А что, скушалъ кукишъ съ масломъ?—кричали наиболѣе задорные мальчуганы.

— То пока еще на водѣ вилами написано, — огрызался Иванъ, — бо не извѣстно, какъ посмотритъ господинъ инспекторъ. Отъ тогда и посмотримъ, кто скушалъ кукиша, вы или я.

Но Ивану торжествовать не пришлось. Побѣда осталась за его противниками.

Вечеромъ, какъ всегда, навѣдался въ пансіонъ Юліанъ Ивановичъ. Воспитатель, вѣроятно, изобразить ему дѣло въ благопріятномъ для воспитанниковъ смыслѣ и онъ, въ свою очередь, не пожелалъ принести огорченія. А оно было бъ очень сильное, такъ какъ котенокъ, въ виду такихъ исключительныхъ обстоятельствъ, сдѣлался для маленькихъ пансіонеровъ необычайно дорогимъ существомъ.

Впрочемъ, инспекторъ рѣшилъ довольно мудро: онъ позволилъ котенку остаться въ стѣнахъ пансіона, но съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы проживалъ онъ въ гардеробной (она помѣщалась выше этажемъ), подъ надзоромъ гардеробщика Виктора

Тотъ противъ этого ничего не имѣлъ. Къ тому же онъ былъ большимъ пріателемъ пансіонеровъ, такъ что радъ былъ доставить имъ удовольствіе.

Онъ даже нашелъ для новаго „пансіонера“ подобающее дѣло:

— Въ гардеробной что-то мышей развелось изрядно, такъ мнѣ съ котомъ будетъ много лучше, — заявилъ онъ.

Правда, пока это только былъ ничтожный котикъ, но потомъ могъ сдѣлаться большимъ котомъ и приносить общественную пользу.

Словомъ, котенокъ, названный по причинѣ своей масти, „Рыжимъ“, получилъ законное право остаться на печеніи пансіонеровъ.

Не стоитъ, конечно, говорить о томъ, что онъ сдѣлал-

ся всеобщимъ любимцемъ и при этомъ заставилъ всеѣхъ уважать себя: если ему причиняли обиду, то онъ въ долгу оставаться не любилъ, а преспокойно царапался и кусался весьма больно..

И не мало малышей, побывавшихъ въ гардеробной и вздумавшихъ, какъ они выражались, „поласкать“ Рыжаго (т. е. ушибнуть за ухо, схватить за хвостъ или что-либо въ этомъ родѣ вообще), возвращалось съ внушительными царапинами на рукахъ, а иногда и на лицѣ.

Рыжій официально проживалъ въ гардеробной, но не рѣдко осчастливливалъ своимъ приходомъ и пансіонъ, нерѣдко даже ночевалъ въ спальной, при чемъ каждый изъ пансіонеровъ считалъ величайшимъ наслаждениемъ взять его къ себѣ подь одѣяло. Добиваясь этой сомнительной чести, малыши иногда даже, чтобы завладѣть Рыжимъ, вступали въ распри и междуособія.

Въ такихъ случаяхъ умирать безпорядки вмѣшивались „старшіе“. Какой-нибудь четвертокласникъ, чтобы прекратить вражду, бралъ Рыжаго и относилъ его къ себѣ на кровать.

Мудрѣе „разсудить“ дѣло не могъ и самъ царь Соломонъ, который, какъ извѣстно, всегда разрѣшалъ споры очень удачно.

Когда я вышелъ изъ пансіона, чтобы снова перейти въ ту гимназію, гдѣ началъ свою „ученую“ карьеру, и опять сдѣлаться приходящимъ, я оставилъ Рыжаго огромнымъ котомъ.

Приносилъ-ли онъ пользу, какъ предполагалъ гардеробщикъ Викторъ, ловя мышей?

По началу, въ дни ранней молодости, быть-можетъ, а послѣ, когда вошелъ въ солидный возрастъ—сильно сомнѣваюсь.

Рыжаго раскормили до необычайно толстыхъ размѣровъ и избаловали.

Не думаю, чтобы онъ особенно интересовался мышами, а поспать, и преимущественно около печки или на солнышкѣ, любилъ очень.

Даже и гардеробщикъ Викторъ говаривалъ иногда,

что такого бездѣльника и лѣнтяя среди кошачьей породы онъ еще и не видѣлъ.

Но кота все-таки любить, какъ и весь пансіонъ.

Только одинъ Иванъ-Ябеда, потерпѣвшій такую неудачу, видѣлъ въ Рыжемъ явленіе во всякомъ случаѣ противозаконное и упорно продолжалъ относиться къ нему съ недоброжелательствомъ.

И если Рыжій почему-либо попадался Ивану-Ябедѣ на глаза, то дядька сердито ударялъ ногой объ полъ и кричалъ:

— Брысь, окаянный!...

XIV.

Навуходоносоръ.

Странный мальчикъ былъ Назаритенко.

Онъ съ перваго же дня поступленія въ пансіонъ поставилъ себя такъ, что все товарищи не взлюбили его какъ-то разомъ.

И такъ оно продолжалось все время въ гимназій, да, насколько мнѣ извѣстно, и потомъ.

Такой ужъ у него несчастный характеръ былъ и, надо говорить правду, не мы—остальные мальчики—были виноваты въ томъ, что наши отношенія съ Назаритенкой сложились такимъ печальнымъ образомъ.

Въ школѣ вообще, а въ школьномъ сожителствѣ въ особенности, огромную роль играетъ такъ-называемое „товарищество“.

„Хорошій товарищъ“ пользуется всегда и общей любовью, и общимъ уваженіемъ; „плохой товарищъ“—наоборотъ: его не любятъ, его сторонятся, а при случаѣ и обижаютъ, иногда даже тогда, когда онъ, быть-можетъ, лично и не виноватъ.

„Товарищество“—добровольный, выработанный отъ

начала школьной жизни законъ, ни кѣмъ не писанный, но которому принято повиноваться.

„Товарищество“ само по себѣ снисходительно и прощаетъ многія, не только мелкія, но и довольно крупныя, прегрѣшенія...

Но есть одинъ грѣхъ, котораго „товарищество“ не прощаетъ своимъ членамъ никогда.

Это то, что на школьномъ языкѣ называется „ябедничествомъ“, „фискальствомъ“...

Бывали у насъ и „ябеды“, и „фискалы“...

Ихъ не любили вообще, но Назаритенко въ этомъ отношеніи представлялъ изъ себя нѣчто особенное, выходящее изъ ряда вонъ.

Его „ябедничество“, его „фискальство“ не были чѣмъ-нибудь случайнымъ или, что иногда бываетъ, вынужденнымъ обстоятельствами, или минутой слабодушія, минутой раздраженія и озлобленія.

Они сидѣли, такъ сказать, въ его натурѣ...

Къ тому же эти качества были у него не безъ сознательнаго расчета. Ему казалось, вѣроятно, что они могутъ принести ему нѣкоторыя выгоды.

Иногда такъ оно и бывало, но въ-концѣ-концовъ, кромѣ вреда самому же Назаритенкѣ, изъ этого ничего не получалось.

Быть-можетъ, потому онъ и самъ тому не радъ былъ, но остановиться уже не могъ, да, по всемъ вѣроятіямъ, и поздно было: о немъ сложилась опредѣленная репутація, и гимназисты не были бы въ состояніи перемѣнить о немъ свое мнѣніе.

Назаритенко не останавливался даже и передъ болѣе худшимъ, нежели обыкновенное „ябедничество“, онъ доходилъ и до „доносовъ“, никому въ сущности не нужныхъ, совалъ свой носъ туда, гдѣ ему совершенно быть не подобало.

Началось это съ маленькаго...

Если, нерѣдко случалось, два малыша повздорятъ между собою, и дѣло закончится потасовкой, то почти всегда оставалась обиженная сторона...

Въ крупной ссорѣ, конечно, и обида выходила ошутительнѣе. Были, разумѣется и завѣдомые драчуны, кичившіеся и своей физической силой, и мальчишескимъ задоромъ.

Тѣхъ, пожалуй, тоже не любили и въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣйствовали противъ нихъ соединенно, такъ что имъ порядкомъ доставалось.

Но „жаловаться“ и на нихъ не полагалось. Не полагалось и „выдавать“ ихъ въ случаѣ опроса со стороны учителей...

Иные говорили въ такихъ случаяхъ:

— Не знаю.

Болѣе правдивые отвѣчали прямо:

— Не могу сказать.

Такой отвѣтъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, нравился и начальствующимъ лицамъ, такъ какъ ясно свидѣтельствовалъ о томъ, что мальчикъ, отвѣчающій такимъ образомъ, прежде всего никоимъ образомъ не желаетъ солгать.

Иногда обиженный не выдерживалъ, иногда даже самъ, въ порывѣ раздраженія, бѣжалъ къ воспитателю и жаловался.

Тогда прочіе говори:

— Ябедникъ.

И затѣмъ уже классъ обсуждалъ, насколько, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, „жалоба“ со стороны обиженного была допустима. Школьное „товарищество“ очень чутко и справедливо въ такихъ случаяхъ. Если обидчикъ перешелъ дозволенные границы, то и „жалоба“ признавалась правильной.

Обидчика такъ или иначе наказывали. Но товарищи говорили:

— Самъ виноватъ.

И съ обиженного снималось прозвище «ябеды».

Но Назаритенко былъ какой-то особенный.

Случалось ему видѣть какую-нибудь ссору. Его рѣшительно никто не спрашивалъ, но онъ отпраивался къ воспитателю и тихонько ему докладывалъ:

— А Ивановъ только-что побилъ Петрова. Петровъ плачетъ.

Положеніе воспитателя было въ такихъ случаяхъ не изъ очень пріятныхъ.

Самъ Петровъ не жалуется, а между тѣмъ нельзя же дозволить, чтобы Ивановъ его обижалъ...

Приходилось идти разбирать дѣло. Петрова, дѣйствительно, воспитатель заставлялъ въ слезахъ.

Но, странная вещь...

— Почему вы плачете? — спрашивалъ воспитатель.

Отвѣтъ со стороны Петрова, „хорошаго товарища“, былъ въ сущности довольно нелѣпный:

— Такъ.

— Какъ такъ? — неминуемо долженъ былъ спросить воспитатель, — вѣдь такъ, зря, безъ причины не плачутъ. Васъ кто-нибудь обидѣлъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Петровъ, или просто отдѣлывался молчаніемъ

Получалась невольная путаница или, что еще хуже, благодаря непрошенному вмѣшательству Назаритенка, правдивый и хорошій мальчикъ, чтобы только товарищъ его не подвергся какому либо наказанію, завѣдомо говорилъ неправду.

Играли мальчики въ перья... Это не дозволялось, но въ монотонной пансіонской жизни почти совсѣмъ не преслѣдовалось.

Воспитатели на это не обращали вниманія, почти всѣ, за исключеніемъ чеха Поспишиля...

Но если появлялся случайно Назаритенко, то, спустя нѣкоторое время, виновныхъ уже волей-неволей звали къ воспитателю.

Дѣло, правда, ограничивалось выговоромъ и общаніемъ „отобрать перья, если это повторится“, но воспитателю все-таки были излишнія хлопоты.

И такъ во всемъ

Это ужъ было не случайное „ябедничество“, а самое настоящее наущничество.

По первому началу мы, мальчики, даже не могли

понять, въ чемъ дѣло и откуда все становится извѣстнымъ. Назаритенко дѣлалъ свои доносы тихо, избѣгалъ свидѣтелей, стараясь вообще не подавать даже вида, что онъ наушничаетъ.

Узналось это потомъ, а когда стало извѣстно, то уже и самъ Назаритенко не слишкомъ старался скрываться.

Почему Назаритенко поступалъ такимъ образомъ, я объяснить не могу и теперь.

Вѣроятно, по мелочности своей души: онъ надѣялся, такъ или иначе, выслужиться, обратить на себя вниманіе гимназическаго начальства, чтобы извлечь возможныя выгоды.

Въ результатъ получилась общая къ нему нелюбовь и, въ свою очередь, онъ прямо ненавидѣлъ насъ, хотя мы ему по началу никакого зла не дѣлали...

Мало-по-малу мы прямо стали бояться Назаритенка, остерегались не только дѣлать, но даже что-либо говорить при немъ.

Въ это время нашъ герой чувствовалъ себя господиномъ положенія и похаживалъ, гордо посматривая на насъ.

Казалось, даже въ глазахъ его было написано:

— Ага, вотъ и я... Я знаю, что вы дѣлаете, знаю всѣ ваши мысли и, если захочу, немедленно все расскажу. Да и навѣрно расскажу.

Но такъ продолжалось недолго...

Уже перейдя въ четвертый классъ, мы перестали бояться нашего милаго одноклассника, а потомъ наше отношеніе къ нему перешло въ глубокое презрѣніе.

Нѣкоторые воспитатели совсѣмъ перестали его слушать...

Одинъ однажды такъ прямо и сказалъ ему:

— Послушайте, Назаритенко, неужели вамъ самому не совѣстно такъ относиться къ товарищамъ?

А другой, котораго мы очень любили, сказалъ уже намъ:

— Господа, совѣтую вамъ держаться подальше отъ господина Назаритенко.

Если мы собирались въ дружескій кружокъ и вели даже самые невинные разговоры, то, видя приближающагося Назаритенко, немедленно умолкали.

Только кто-нибудь умышленно громко произносилъ: — Господа, вотъ идетъ Навуходоносоръ.

Навуходоносоромъ прозвали Назаритенка одинъ изъ пансіонскихъ остроумцевъ, полтавскій хохоль Савчукъ, производя имя этого царя Вавилонскаго отъ словъ „на вухо (ухо) доносить“...

Такое наименованіе очень намъ понравилось, и послѣ этого Назаритенко разъ навсегда остался для насъ Навуходоносоромъ.

Иногда, шутки ради, мы продѣлывали съ Навуходоносоромъ довольно нелѣпыя вещи...

И намъ хотѣлось поставить его въ глупое положеніе.

Умышленно, при томъ непременно такъ, чтобы Назаритенко насъ видѣлъ, мы собирались гдѣ-нибудь въ кружокъ, въ укромномъ уголкѣ, и начинали шушукаться.

Лица у насъ были самыя таинственныя. Ни дать, ни взять, по наружному виду, настоящіе заговорщики, обдумывающіе преступный планъ.

У Назаритенка даже глаза разгорались. Ему начало казаться, что онъ попалъ на слѣдъ чего-то необычайнаго, что онъ близокъ къ открытію важной тайны.

Онъ начиналъ ходить около.

Мы притворились, что увлеклись своимъ разговоромъ и не замѣчаемъ приближенія непріятеля.

Назаритенко, увлекшись желаніемъ изловить насъ, шель, какъ глупая рыба на приманку...

Продолжая дѣлать видъ, что не замѣчаемъ его, мы переходили, разговаривая тихимъ голосомъ, въ другое какое-нибудь мѣсто, гдѣ-нибудь около двери.

Назаритенко приближался на цыпочкахъ и становился по другую сторону двери, откуда можно было удобно подслушать происходящій между нами разговоръ.

Тогда мы начинали говорить громче...

— Такъ, значитъ, завтра?—спрашивалъ кто-нибудь.

— Завтра,—таинственно отвѣчалъ другой!

— Въ три часа?

— Да.

— Всѣ вмѣстѣ?

— Всѣ.

— Непремѣнно?

— Да, да, это рѣшено.

— Смотрите же, ребята, дѣйствовать дружно, одинъ другого не выдавать.

— Конечно.

— Кто же начнетъ?

— А это мы по жребію.

— У мѣня ужъ и билетикі готовы.

Затѣмъ кто нибудь вынималъ изъ кармана нѣсколь-
ко маленькихъ клочковъ бумаги и начинали „тянуть
жребій“...

Этотъ обычай мы позаимствовали изъ разныхъ страш-
ныхъ романовъ, которые мы всѣ читали въ изобиліи. Такъ
въ подобнаго рода литературныхъ произведеніяхъ почти
всегда имѣютъ обыкновеніе поступать различные заго-
ворщики и разбойники.

Это и самому дѣлу придаетъ изрядный оттѣнокъ
таинственности и злодѣйской мрачности.

Назаритенко тоже, конечно, прочелъ пару-другую та-
кихъ романовъ, а потому сердце его трепетало, и онъ
былъ увѣренъ, что тайно, какъ и полицейскіе сыщики въ
подобныхъ романахъ, присутствуетъ на совѣтѣ обдумы-
вающихъ злое дѣяніе преступниковъ... И, считая себя
опытнымъ сыщикомъ, ликовалъ, что захватилъ злодѣевъ
въ самомъ началѣ, что давало возможность предупредить
ихъ отвратительный замыселъ.

Стоя за дверьми, Назаритенко изображалъ собою волю-
щенное вниманіе и, надо думать, мысленно потиралъ руки.

А мы продолжали играть свою коварную комедію
совершенно серьезно.

— Пустой, — произносилъ одинъ изъ „заговорщи-
ковъ“, вытягивая билетикъ.

— И у меня тоже пустой, — говорилъ другой

— Мигъ! — замогильнымъ голосомъ отзывался кто-

нибудь изъ компаніи и затѣмъ, словно боясь чего-то обращался къ остальнымъ:

— А что, если узнаютъ? Вѣдь тогда мнѣ здорово достанется.

— Не бойся... никто не узнаетъ, — подбодряли мы вытянувшего исполнительный жребій.

Назаритенкѣ этого было вполнѣ достаточно. Онъ хотя и не зналъ, что именно затѣвается, но зналъ, что что-то во всякомъ случаѣ затѣвается, что участвуютъ такіе и такіе именно воспитанники, и что главная роль, по жребію, досталась на долю такого то. Словомъ, онъ предполагалъ, что узналъ все необходимое.

Мы слышали, какъ Назаритенко осторожно удалялся, а затѣмъ и сами, сохраняя все тотъ же таинственный видъ, расходились по мѣстамъ.

Конечно, онъ докладывалъ обо всемъ, что ему удалось узнать, и, конечно, только зря поднималъ тревогу: въ назначенное время мы совершенно спокойно сидѣли на своихъ мѣстахъ, и Назаритенкѣ только и оставалось удивляться.

Былъ одинъ и такой случай, когда мы умышленно подвели нашего Навуходоносора подъ крупную неприятность. Дѣйствительно, сколько мнѣ помнится, Назаритенко былъ тогда наказанъ одинъ единственный разъ за все время своего пребыванія въ гимназіи.

Былъ какой-то, теперь ужъ не помню, церковный праздникъ. Ученіе въ гимназіи было, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ городѣ въ этотъ день былъ назначенъ крестный ходъ. У насъ въ это время хворалъ учитель латинскаго языка и, слѣдовательно, часть его урока оставался свободенъ.

Для того, чтобы посмотреть процессію времени было вполнѣ достаточно...

Нѣсколько приходящихъ учениковъ рѣшили этимъ воспользоваться и отпросились у директора отлучиться въ городъ.

Директоръ далъ разрѣшеніе.

Нѣсколько же человекъ пансіонеровъ, въ томъ числѣ и я, задумали побывать на торжествѣ самовольно

Но главной нашей цѣлью было иное: намъ захотѣлось непременно „подкузъмить“ Навуходоносора.

Съ этой цѣлью мы попросили одного проходящаго товарища уговорить Назаритенко пойти съ нами.

Назаритенко былъ и остороженъ, и робокъ, но любопытство побороло робость и усыпило осторожность, къ тому же церковныя процессіи онъ очень любилъ.

Правда, онъ спросилъ:

— А другіе изъ пансіонеровъ развѣ собираются?

Его успокоили на этотъ счетъ.

И въ результатѣ онъ очутился на процессіи вмѣстѣ съ нами.

Общій проступокъ связывалъ всѣхъ и общимъ молчаніемъ.

Это хорошо понималъ Назаритенко, но на сей разъ глубоко ошибся.

Возвратившись обратно въ гимназію, мы первымъ же дѣломъ отправились къ инспектору и признались ему что „удирали“ въ городъ...

Инспекторъ нѣсколько удивился нашему самовольному признанію...

— Почему же вы ушли? - спросилъ онъ.

— Посмотрѣть на процессію,—было нашимъ полуправдивымъ отвѣтомъ.

Юліанъ Ивановичъ, улыбнулся.

— Любопытство!... Ну, ужъ Богъ съ вами, повинную голову не сѣкутъ. Только другой разъ такъ не дѣлайте. Вы тутъ всѣ, никто больше не ходилъ?

Мы переглянулись, словно пересчитывая, всѣ-ли мы тутъ въ сборѣ.

— Да, всѣ, кромѣ только Назаритенко.

— Какъ Назаритенко?!—съ удивленіемъ воскликнулъ инспекторъ.

— Да, Назаритенко, — отвѣтили мы общимъ хоромъ, словно удивляясь и сами, почему это нашъ спутникъ вмѣстѣ съ нами не предсталъ передъ очи начальства.

— Неужели же и онъ былъ?

— Былъ.

Инспекторъ даже плечами пожалъ.

— Не понимаю. Но почему же онъ въ такомъ случаѣ не явился ко мнѣ вмѣстѣ съ вами?

— Не знаемъ.

— Ну, хорошо,—сказалъ инспекторъ, отпуская насъ съ миромъ,—вы идите и ничего ему не говорите, а я все дѣло разберу.

Въ этотъ день, однако, ничего не случилось. Мы даже недовольны были, думая, что инспекторъ оставилъ наши слова безъ вниманія.

Только на другой день Назаритенко былъ вызванъ въ инспекторскую и вернулся оттуда до необычайности злой и красный, какъ ракъ.

Оказалось, что онъ струсилъ и окончательно отрицалъ то, что вмѣстѣ съ прочими отлучился изъ гимназiи самовольно.

Не предполагая въ насъ, какъ и въ себѣ, извѣстной доли мужества, онъ даже побожился въ своей невинности и заявилъ:

— Спросите у другихъ.

Насъ спросили и мы, вѣрные нашему коварному плану, само собою разумѣется, самымъ торжественнымъ образомъ подтвердили наше заявленье.

Тогда Назаритенко, въ полномъ отчаянiи, пошелъ на-проломъ:

— Это они выдумываютъ на меня по злобѣ,—сказалъ онъ со слезами, но только нехорошими, злыми слезами въ голосъ.

— Если вы намъ не вѣрите, Юліанъ Ивановичъ,—заговорили мы,—тогда будьте любезны спросить у приходящихъ.

Приходящiе, разумѣется, были спрошены и подтвердили наши слова.

Такимъ образомъ Назаритенко понесъ наказаніе и довольно строгое...

Но результаты получились и большіе: онъ послѣ этого случая потерялъ уже значительную долю довѣрія къ

себѣ. Наушничать онъ не бросилъ, но уже не имѣлъ того значенія, какъ раньше.

Мы, впрочемъ, пошли дальше.

Было рѣшено прекратить съ Назаритенкой всякія сношенія разъ навсегда. Это случилось, когда мы были въ пятомъ классѣ. Къ намъ присоединились все старшіе воспитанники пансіона.

И постановленіе соблюдалось строго. За одно только слово, если-бы кто-нибудь обратился съ нимъ къ Назаритенкѣ, полагалось прекратить съ нарушителемъ договора всякія сношенія.

Помню, какъ-то случайно съ нимъ заговорилъ воспитанникъ шестого класса, нѣкій Погожевъ.

Съ нимъ за это не было произнесено никѣмъ ни одного слова въ теченіе цѣлаго мѣсяца.

И хорошо, что Погожевъ выдержался: мы не говорили съ нимъ, но онъ больше не говорилъ съ Навуходносоромъ, и лишь тогда мы отмѣнили „отлученіе“, находя что Погожевъ въ достаточной мѣрѣ искупилъ свою вину.

Назаритенко остался совершенно одинъ. Дѣятельность его ограничивалась послѣ этого лишь наблюденіями за маленькими воспитанниками, но это уже было не только гадко, но жалко и смѣшно.

Перейдя въ седьмой классъ, я оставилъ пансіонъ и перешелъ въ другую гимназію.

Но мнѣ хорошо извѣстно, что съ Назаритенкой никто изъ старшихъ воспитанниковъ (младшіе дѣлались старшими и присоединялись къ общему постановленію) не имѣлъ рѣшительно никакихъ сношеній. Онъ былъ отщепенцемъ въ полномъ смыслѣ этого слова вплоть до окончанія гимназій.

Вѣроятно, и ему было не хорошо... Быть-можетъ, мы даже слишкомъ зло поступили...

Но не только мы: его не любили и учителя, и воспитатели, и даже дядька Иванъ Ябеда.

Тотъ говорилъ:

— Коли я докладываю, то по обязанности, а вотъ Назаритенко (Иванъ даже не говорилъ „господинъ“ На-

заритенко, хотя слово „господинъ“ всегда присоединялъ къ фамиліямъ старшихъ воспитанниковъ. Этимъ отчасти сказывалось его презрительное отношеніе къ Навуходносору), такъ тотъ дѣйствительно ябеда.

При сколько-нибудь другомъ положеніи дѣлъ вышло бы, вѣроятно, иначе... Назаритенко былъ бѣднякъ, какихъ мало, сынъ причетника изъ бѣдной деревенской церкви. Отецъ его былъ обремененъ семействомъ, и нашъ Назаритенко воспитывался на казенный счетъ. Онъ кое-что зарабатывалъ лишь казенными уроками, занимался по назначенію инспектора съ маленькими учениками, но за это назначалась незначительная плата. Положеніе его было плохое, очень плохое.

Были у насъ и другіе бѣдняки. Этимъ мы всячески старались помочь, выбирая самые деликатные способы помощи, но для Назаритенка не ударили-бы палецъ о палецъ...

Надо думать, что положеніе его было бы еще того хуже, если бы онъ плохо учился.

Но учился онъ хорошо. Способностей особенныхъ, правда, у него не было, но усидчивость была прямо велика.

Онъ учился и учился все время почти безъ отдыха. Кажется, онъ даже получилъ серебряную медаль по окончаніи курса.

Много лѣтъ прошло съ того времени, но, что касается меня лично, то долженъ признаться, что и теперь еще я вспоминаю о нашемъ Навуходносорѣ съ самымъ тяжелымъ чувствомъ.

XV.

Дружба.

Въ подобныхъ случаяхъ въ дѣло пускался цѣлый словесный церемоніаль.

Торжественное событіе требовало, конечно, нѣкой обстановки, которая бы хоть чѣмъ-нибудь отличалась отъ сѣрыхъ будней обыденной жизни.

— Хочешь быть моимъ первымъ другомъ?

— Хочу.

— Навсегда?

— Да.

— До самой смерти?

— До самой.

— И никогда не измѣнишь?

— Никогда.

— Дай честное слово!

— Честное слово.

— Ну, вотъ и превосходно. Съ этой минуты ты, значить, мой первый другъ.

И мальчики, заключившіе такой строжайшій договоръ, связующій ихъ вплоть до самой смерти, становились «друзьями».

Дружба— дѣло великое.

Это не какіе-нибудь пустяки, это цѣлый рядъ добровольно принятыхъ на себя обязанностей: надо жить душа въ душу, помогать другъ другу во всемъ, не имѣть отъ друга никакихъ тайнъ, выслушивая его секреты и, въ свою очередь, повѣряя ему сокровеннѣйшія свои мысли.

Ко всему тому дружба обязываетъ быть, насколько возможно, неразлучными, ходить на чай, обѣдъ и прогулку въ одной парѣ и спать по возможности такъ, чтобы кровати двухъ друзей приходились рядомъ.

Все прочее было относительно легко исполнимо, послѣднее только требовало нѣкоторыхъ жертвъ, иногда даже матеріальныхъ.

Мальчики заключали между собой договоръ въ вѣчной дружбѣ, но такъ какъ, еще наканунѣ этого событія, они не были „друзьями“, то ихъ кровати находились въ разныхъ мѣстахъ спальной комнаты.

Это неудобно, такъ какъ передъ сномъ грядущимъ, пока не заснешь, всегда можно поболтать о томъ, о семь минутъ десять, пятнадцать. Поболтать не дурно вообще, а ужъ съ „другомъ“ и того пріятнѣе.

Конечно, это можно сдѣлать только тогда, если кро-

вати стоять рядомъ. Говорить въ спальнѣ, строго говоря, не полагается, но противъ тихаго разговора дежурный воспитатель ничего не имѣеть. Не было бы только шума. Стало-быть, приходилось бесѣдовать шопотомъ, а вѣдь нельзя шептать въ одномъ концѣ комнаты такъ, чтобы было слышно въ другомъ. Пришлось бы не столько шептать, сколько кричать, а этого ужъ нельзя.

Какъ же было поступить „друзьямъ“ въ такомъ случаѣ?

Единственный выходъ—помѣняться съ кѣмъ-нибудь мѣстомъ.

Иногда такой обмѣнъ мѣстами трудностей особенныхъ не представлялъ: тотъ, къ кому обращались съ такого рода предложеніемъ, по тому-ли, что ему рѣшительно было все равно, гдѣ ни спать, или по добротѣ душевной, немедленно же соглашался:

— Хорошо, давай помѣняемся.

Оставалось только перетащить подушку, одѣяло, простыню, вынуть изъ ящика, находящейся около кровати табуретки, мыло, полотенце, зубной порошокъ и щеточки для чистки зубовъ, и дѣло сдѣлано.

Но чаще бывало не такъ легко.

Владѣлецъ нужной кровати добротой душевной не отличался, иногда же онъ просто-на-просто соображалъ, что тутъ можно извлечь кое-какія выгоды.

— Дубравскій,—обращался мальчикъ, только-что заключившій договоръ дружбы, -- ты спишь рядомъ съ Сидоренкой?

— Я.

— Не пожелаешь-ли помѣняться мѣстами?

— Нѣтъ, не хочу.

— Но почему же?

— А очень просто: мнѣ и на моемъ мѣстѣ отлично спится, такъ зачѣмъ же я стану тревожиться.

— Но развѣ тебѣ не все равно, гдѣ спать.

— Значить, не все равно,—неопредѣленно отвѣчалъ Дубравскій.

Онъ уже отлично понималъ, что предлагающему очень

хочется помѣняться съ нимъ кроватями. Конечно, онъ и причину отлично зналъ, но только своего знанія не показывалъ.

Тогда продолжался дальнѣйшій разговоръ.

— Но ты все таки помѣняйся,—говорилъ сдѣлавшій предложеніе,—я буду благодаренъ. Миѣ необходимо спать на твоёмъ мѣстѣ.

— Для чего? — спрашивалъ Дубравскій съ такимъ удивленіемъ, какъ бѣдто-бы онъ прямо былъ пораженъ: для чего вдругъ человѣку понадобилось непременно спать именно на его—Дубравскаго кровати, а не на какой-нибудь другой.

Тогда просящему оставалось только сказать истинную причину.

— Видишь-ли, я теперь сталъ первымъ другомъ Сидоренки, а такъ какъ онъ спитъ рядомъ съ тобой, то миѣ бы и хотѣлось перемѣниться мѣстами.

— А! — съ удивленіемъ, словно только теперь понявъ въ чемъ дѣло, восклицалъ Дубравскій,—это, конечно, причина, но, право же, миѣ очень нравится мое мѣсто, да къ тому же я и самъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ Сидоренкой.

— Но вѣдь онъ же не первый твой другъ.

— Да, разумѣется, мой не первый, если онъ твой первый, но для меня онъ все таки пятый другъ.

— Это ужъ не то, — вполне справедливо замѣчалъ проситель.

— А все-таки, — неопредѣленно отзывался неподатливый Дубравскій.

Онъ отлично сознавалъ, что теперь уже ему непременно воспослѣдуетъ нѣкоторая выгода.

Понималъ хорошо и первый Сидоренкинъ другъ, что съ жаднымъ Дубравскимъ не сварить каши одними словами, что тутъ нужно принести на алтарь „первой дружбы“ кое-какую матеріальную жертву.

И, чтобы ужъ не тратить времени даромъ и поскорѣе покончить дѣло, онъ говорилъ напрямикъ:

— Ну, если даромъ не можешь, то я тебѣ что-нибудь дамъ.

— Въ такомъ случаѣ, пожалуй, потому что мнѣ очень нравится мое мѣсто,—вздыхая соглашался Дубравскій, словно не онъ обдираетъ бѣднаго Сидоренкинаго друга, а самъ дѣлаетъ для него огромное одолженіе.

И тогда слѣдовала плата: дюжина стальныхъ перьевъ, старый перочинный ножикъ, порція сладкаго изъ объѣда или вообще что-нибудь такое, что имѣло въ нашемъ пансіонскомъ быту нѣкоторую цѣнность.

И Дубравскій, принявъ предложеніе, все-таки произносилъ:

— Знаешь, я вѣдь это только для тебя и сдѣлалъ, а для другого, повѣрь мнѣ, не согласился бы помѣняться кроватями ни за какія деньги.

И вотъ новые друзья спали рядомъ, держались все время вмѣстѣ, горой стояли другъ за друга и, казалось, этой нѣжной дружбѣ конца не будетъ.

Но, увы!.. Не человѣкъ управляетъ обстоятельствами, а, наоборотъ, обстоятельства человѣкомъ.

По крайней мѣрѣ, если не во всемъ, то въ дѣлахъ пансіонской дружбы.

Возникало какое-нибудь недоразумѣніе, споръ за игрой въ мячъ, крокетъ или перья, и дружба, благодаря какому-нибудь нечаянному слову или жесту, разлеталась прахомъ.

— А, такъ ты вотъ какъ! — восклицалъ кто-нибудь изъ друзей.

И быстро рѣшалъ:

— Въ такомъ случаѣ я не хочу имѣть съ тобой дѣла и не стану говорить.

Иногда „другъ“, если онъ по натурѣ своей былъ человѣкъ миролюбивый, старался устранить недоразумѣніе, но гораздо чаще, чтобы доказать присутствіе гордости и самолюбія, отвѣчалъ:

— Превосходно, только этого и надо. Я давно вижу, что ты притворяешься, что ты вовсе мнѣ не другъ.

— И я это отлично вижу съ твоей стороны,—отвѣчалъ первый.

И мальчики расходились въ разныя стороны... Впро-

чемъ, срокъ ссоры обыкновенно не бывалъ очень долго и „друзья“ ссорились и мирились нѣсколько разъ въ году.

Тѣмъ не менѣе, если послѣ такихъ размолвокъ, кто-нибудь спрашивалъ у одного изъ бывшихъ друзей:

— Ты развѣ уже не другъ Сидоренки?

Вопрошаемый мрачно отвѣчалъ:

— Нѣтъ, теперь онъ мой врагъ.

— И сильно вы поссорились?

— Навсегда, до самой смерти, — рѣшительно, безъ малѣйшаго колебанія отвѣчалъ непримиримый врагъ своего бывшего друга.

Но, такъ или иначе, дружба вообще вещь очень сложная.

Одного друга, въ сущности, для человѣка склоннаго къ дружбѣ, не достаточно.

Мало-ли, что можетъ случиться, и тогда, чѣмъ больше друзей, тѣмъ, конечно, лучше.

А потому многіе не ограничивались однимъ только первымъ другомъ.

— Хочешь быть моимъ вторымъ другомъ?—предлагалъ какой-нибудь мальчуганъ товарищу.

Тотъ отвѣчалъ сообразно съ обстоятельствами.

Иногда:

— Хорошо, давай.

Иногда:

— Видишь-ли, я уже второй другъ Карпова, но съ тобой могу быть третьимъ другомъ.

На это слѣдовало согласіе, но такъ какъ мѣсто „второго друга“ оставалось не занято, то приходилось его искать среди другихъ товарищей, что въ концѣ концовъ и свершалось.

У нѣкоторыхъ мальчиковъ, особенно склонныхъ къ благородному чувству дружбы, бывало иногда даже слишкомъ большое количество друзей, при чемъ таковыя набирались не исключительно только изъ одноклассниковъ, но и изъ учениковъ другихъ классовъ.

Русская пословица гласитъ: „не имѣй сто рублей, а имѣй сто друзей“.

Первая часть пословицы у насъ въ пансіонѣ вообще была неосуществима: сто рублей такая крупная сумма денегъ, которая пансіонеру никоимъ образомъ не полагается. Но зато вторая часть поговорки, хоть отчасти, была все-таки исполнима.

Конечно не сто, ибо и всѣхъ-то насъ въ пансіонѣ было только около ста человекъ. Если бы нашелся такой исключительный любитель дружбы, который бы умудрился подружиться со всей сотней пансіонеровъ (допустимъ это, хотя всякій понимаетъ, что какому-нибудь семи или восьмикласснику довольно мудрено подружиться съ какимъ-нибудь „приготовишкой“ или первоклассникомъ), то у него не осталось бы мѣста не только для „враговъ“ (а ихъ тоже полагалось имѣть, при чемъ нерѣдко подъ нумераціей — „первый врагъ“, второй и т. д.), а и для тѣхъ, къ кому относишься безразлично.

Но отчего, напримѣръ, не имѣть десяти друзей? Такое количество въ самый разъ: не слишкомъ много, но и не очень мало.

Однако, чтобы хорошенько помнить всѣхъ друзей по порядку и не сбиться въ нумераціи, необходимо имѣть недурную память. А то вдругъ возьмешь и перепутаешь: кто седьмой другъ и кто восьмой.

Поэтому, болѣе аккуратные даже вели особую записку или въ записной книжкѣ, или въ тетради, или просто на отдѣльномъ листкѣ бумаги.

Первый другъ—Сидоренко, второй—Ельниковъ, третій—Дубравскій, четвертый—Петровъ, пятый—Синкевичъ и т. д., сообразно съ количествомъ друзей.

Иногда приходилось вести цѣлую бухгалтерію. Вычеркивать, въ случаѣ ссоры, кого-нибудь или, сообразно съ обстоятельствами, переводить одного на мѣсто другого, дѣлать соотвѣтственныя перемѣщенія: шестого друга повышать въ пятые или понижать въ седьмые, если въ чемъ-либо провинился, или если вообще нашелся какой-нибудь новый другъ, болѣе достойный занять въ списокѣ шестое мѣсто.

Конечно, подобное распределение друзей имѣло мѣсто

только въ младшихъ классахъ и носило довольно-таки смѣшной характеръ.

Но, тѣмъ не менѣе, и въ такой дружбѣ было много хорошихъ сторонъ.

Для „друга“ полагалось дѣлать все, что можно: дѣлиться съ нимъ, такъ сказать, послѣднимъ, помогать ему, если только понадобится помощь въ той или иной формѣ — не дать въ обиду, показать урокъ и прочее въ этомъ духѣ.

Несмотря на частыя ссоры, „дружба“ рѣдко прекращалась окончательно. Для этого нужны были дѣйствительно какія-нибудь основательныя причины.

Съ постепеннымъ переходомъ въ старшіе классы, чисто дѣтскія, наивныя отношенія такихъ „друзей“ по торжественному договору переходили въ болѣе прочныя чувства. Являлись новые связующіе интересы нравственнаго и умственнаго характера, общія думы, согласныя взгляды на вещи и житейскія явленія.

И я знаю многихъ, которые не порвали дружескихъ узъ и въ дальнѣйшей своей жизни.

Товарищеское отношеніе на „ты“ осталось разъ навсегда, сохранились лучшія воспоминанія, хотя судьба относилась къ „друзьямъ дѣтства“ далеко не одинаково: инымъ дала многое въ жизни, другимъ, наоборотъ, слишкомъ мало...

Жизненные обстоятельства разлучили, разбросали въ разныя, далекія одно отъ другого мѣста, отстоящія на многія сотни верстъ другъ отъ друга, но чувство, посвященное дѣтской дружбой, такъ и осталось разъ навсегда неизмѣннымъ и крѣпкимъ.

И какъ отрадно еще и теперь обмѣняться со старымъ другомъ мыслями путемъ переписки, какъ пріятно получать время отъ времени фотографическія карточки.

Мы постарѣли, многіе изъ насъ хилы и больны, но въ измученныхъ жизнью, порою страдальческихъ чертахъ, такъ сладко находить нѣчто только намъ однимъ и знакомое: дорогія, дѣтскія черты лица когда-то „перваго“ или „второго“ друга.

А если иногда приходится встрѣтиться, то это уже настоящій праздникъ сердца и души.

Да будетъ же благословенна безкорыстная дѣтская дружба!..

VI.

С а д ъ.

Привѣтъ тебѣ нашъ старый, столь дорогой нѣкогда сердцу пансіонскій садъ.

Въ нашей въ сущности однообразной, монотонной и строго по часамъ размѣренной жизни, какая обычно ведется въ такъ называемыхъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ, онъ игралъ большую роль, съ нимъ связано много лучшихъ воспоминаній.

Онъ освѣжалъ насъ своимъ прохладнымъ дыханіемъ, онъ давалъ маленькимъ воспитанникамъ возможность пошире развернуться въ ихъ играхъ, а для старшихъ поэтическія настроенія, какъ чисто духовный отдыхъ отъ учебныхъ занятій, которыя въ то время, когда я учился, легкими назвать нельзя было.

Садъ былъ славный: просторный, тѣнистый, какихъ и во всемъ городѣ, отличающемся обиліемъ зелени, было не много.

Не одно поколѣніе выросло, выучилось и пригото- вилось къ жизни подъ его ласковой сѣнью...

Не мы были первые и не мы послѣдніе.

Съ какой радостью, каждый разъ послѣ обѣда, мы нестройной гурьбой выбѣгали въ садъ.

Тутъ намъ предстояло почти два часа полной свободы, мы разсыпались по саду и дѣлали буквально, что хотѣли.

Садъ нашъ былъ настолько великъ, съ такой массой укромныхъ уголковъ, что, хоть насъ было почти сто человѣкъ, насъ даже и видно не было.

Только на большой площадкѣ передъ садомъ, гдѣ составлялись партіи въ мячъ, крокетъ или „цурки“ (эта игра въ сѣверныхъ учебныхъ заведеніяхъ называется играть „въ чижики“) и гдѣ стояла гимнастика и гигантскіе шаги, было относительно многолюдно.

Тутъ же обыкновенно присутствовалъ и дежурный воспитатель.

„Дядькамъ“ было вмѣнено въ обязанность обходить садъ и смотрѣть, какъ ведутъ себя остальные воспитанники, но и большинство дядекъ гораздо болѣе предпочитало уѣсться гдѣ-нибудь на скамейкѣ и курить тамъ трубку, нежели бродить по саду. Вѣдь и нашимъ солдатамъ хотѣлось отдыха.

Ужъ на что отличался ретивостью Иванъ-Ябеда, а и онъ былъ не прочь посидѣть полчаса подъ тѣнью дерева.

— Обойди-ка его, проклятаго, — бурчалъ старый дядька Вавиловъ, — всѣ ноги обобьешь. Ишь — какой огромный, словно тебѣ лѣсъ.

Словомъ, въ саду мы были предоставлены почти самимъ себѣ.

И начальству не приходилось раскаиваться въ томъ, что оно предоставляло намъ эту свободу.

Нарушеній правилъ, шалостей было гораздо больше въ самомъ пансіонѣ, нежели въ саду.

„Оставить безъ сада“ было, пожалуй, самымъ неприятнымъ изъ наказаній.

Мы, какъ это почти всегда бываетъ, когда оказано извѣстное довѣріе, дорожили свободой и сами старались ничѣмъ не вызывать недовольства нами со стороны педагогическаго персонала.

И, разсыпавшись по саду во всѣ его концы, мы наслаждались отъ всей души.

Быть-можетъ, многимъ изъ насъ этотъ гимназическій садъ напоминалъ другой садъ гдѣ-нибудь въ глухомъ провинціальномъ городкѣ или далекой деревнѣ, гдѣ протекало наше раннее дѣтство.

Мнѣ, по крайней мѣрѣ, онъ говорилъ о многомъ и я любилъ его.

Садъ былъ старый и богатый самой разнообразной растительностью.

Березы, липы, бѣлая акація, кленъ, шелковица и масса кустарника всевозможныхъ сортовъ.

Было, между прочимъ, очень много сирени, лиловой и бѣлой, гдѣ въ маѣ всю почву, такъ что ихъ было слышно изъ оконъ пансіона, заливались соловьи.

Въ сиреневыхъ кустахъ мы, между прочимъ, находили какихъ-то огромныхъ, необыкновенно толстыхъ, зеленого цвѣта гусеницъ съ рожками на головѣ.

Мы пробовали неоднократно выводить изъ нихъ бабочекъ, но, насколько помнится, это никакъ не удавалось: дѣло кончалось куколкой, но далѣе того не шло.

Для малышей нашъ садъ былъ цѣлымъ міромъ: прятались въ кустахъ, играя „въ охоту“, „индѣйцевъ“, забирались на деревья и долго просиживали тамъ на вѣткахъ. Да и не одни только малыши, а и подростки.

Помнится, во время экзаменовъ изъ четвертаго въ пятый классъ (тогда это были чуть ли не самые трудные экзамены, письменные и устные, за всѣ четыре года гимназическаго курса), наиболѣе усердные изъ насъ, что бы не терять даромъ времени, и во время гулянья забирались на какое-нибудь высокое съ густыми вѣтками дерево и тамъ „зубрили“.

Никто, рѣшительно никто, не мѣшалъ. Развѣ иной разъ какой-нибудь шутникъ замѣтитъ уединившагося на высотѣ „зубрилу“, подойдетъ къ дереву и начнетъ трясти его.

— Люблю какъ душу, — напѣваетъ онъ, — и трясу, какъ грушу. Падай груша съ дерева.

— Оставь, не мѣшай! — раздается недовольный голосъ съ древесныхъ высотъ.

— Сколько билетовъ прошелъ? — считаетъ нужнымъ освѣдомиться трясушій.

— Ахъ, не мѣшай, пожалуйста, всего только двадцать. Боюсь, что не успѣю окончить.

— Ба!.. А я такъ всего только четырнадцать. Ну, зубри, зубри, Богъ съ тобою.

Мѣшать „заниматься“ во время экзаменовъ не полагалось.

Держащимъ „устные экзамены“ ученикамъ четвертаго и шестого классовъ само начальство всячески старалось доставить возможные удобства, а „выпускные“ такъ тѣ даже на это время переводились изъ общихъ комнатъ для занятій въ отдѣльную залу.

Осенью и зимой она предназначалась для игръ въ свободное отъ занятій время, а весной въ ней надобности не было: во время отдыха какъ послѣ обѣда, такъ и послѣ вечерняго чая, до того времени когда ложились спать, воспитанники все время оставались въ саду.

Особенно любили мы именно вечернее время. Въ хорошую погоду отъ воспитателя зависѣло дать возможность погулять лишній часъ. Тогда ложились уже не въ девять, а въ десять часовъ вечера, такъ что гуляли и при лунѣ.

И я не помню случая, чтобы хоть какой-нибудь изъ воспитателей не далъ намъ этого лишняго часа.

Это, пожалуй, было бы жестоко.

И какъ хорошо мечталось, когда мы были въ старшихъ классахъ, именно въ эти вечерніе часы.

Разбившись на отдѣльныя группы и пары, о чемъ, о чемъ только мы тогда не говорили, какихъ воздушныхъ замковъ не строили.

А главнымъ образомъ о томъ, что насъ ждетъ въ будущемъ, когда мы окончимъ гимназію и поступимъ въ университетъ, казавшійся намъ лучшимъ изъ благъ, данныхъ человѣку на землѣ.

Золотыя мечты, радужныя надежды!..

Привѣтъ тебѣ нашъ старый садъ, неизмѣнное спасибо за тѣ хорошія минуты, которыя ты намъ дарилъ.

И когда раздавался звонокъ, дающій знать, что время для отдыха миновало, мы очень лѣниво собирались обратно въ пансіонъ.

Много лѣтъ спустя послѣ выхода моего изъ пансіона и послѣ отъѣзда изъ К., мнѣ снова пришлось побывать въ этомъ городѣ.

Уѣхаль оттуда я восемнадцатилѣтнимъ юношей, а пріѣхаль уже зрѣлымъ человѣкомъ, не мало испытавшимъ въ жизни...

Въ К. я пробыль нѣсколько дней. Пришлось кое-гдѣ побывать, навѣстить дорогія моему сердцу могилы, устроить нѣкоторыя личныя дѣла. Наконецъ, все было сдѣлано и вечеръ, наканунѣ моего отъѣзда, былъ у меня свободенъ. Я пошелъ прогуляться по городу и долго ходилъ по улицамъ безъ опредѣленной цѣли. Блуждая такимъ образомъ и вспоминая прошлое, около девяти часовъ вечера я проходилъ мимо нашей гимназіи. Многое измѣнилось въ городѣ. На мѣстѣ старыхъ зданій возникли новыя, незнакомыя мнѣ, но зданіе гимназіи не измѣнилось нисколько...

Невольная мысль мелькнула въ моей головѣ.

— А не зайти-ли?

Въ сущности, мысль была довольно странная: во-первыхъ, было уже достаточно поздно, а во-вторыхъ, что я могъ тамъ найти послѣ пятнадцати лѣтъ, прошедшихъ съ той поры, какъ я покинулъ городъ.

Но противиться своей мысли я не могъ и отворилъ дверь въ зданіе гимназіи.

Всего по улицѣ было три входа: парадный и два боковыхъ.

Словно для напоминанія о грѣхахъ и преступленіяхъ дней былыхъ, я вошелъ въ правый входъ, какъ разъ въ то мѣсто, гдѣ въ наше время помѣщался „карцеръ“— маленькая комната, хотя и свѣтлая, но имѣвшая свое огромное неудобство.

Сторожемъ при правомъ входѣ вообще и при карцерѣ въ частности былъ въ мои времена добрейшій старикъ Тихонъ.

Старикъ-то онъ былъ добрейшій, но цѣлый почти день курилъ трубку.

Табакъ былъ, разумѣется, не изъ высшихъ сортовъ: самая крѣпкая и скверная махорка.

Дымомъ и запахомъ этой махорки были насквозь пропитаны и комнатка Тихона, и находящійся съ ней рядомъ карцеръ.

И если приходилось быть „арестантом“, то въ результатѣ, помимо лишенія свободы, нерѣдко получалось изрядное отяжелѣніе головы отъ дыма и копоти, исходящихъ изъ трубки Тихона.

Я испытывалъ это довольно часто.

Все, и карцеръ, и комната сторожа остались на прежнемъ мѣстѣ.

Я постучался.

На мой стукъ вышелъ среднихъ лѣтъ отставной солдатъ. Тихона, который и въ наше время былъ достаточно старъ, уже не было.

Вѣроятно, и онъ уже, какъ многіе иные, отошелъ въ нездѣшній міръ.

Сторожъ освѣдомился, что мнѣ нужно.

— Скажите, пожалуйста,—спросилъ я,—кто сегодня дежурный воспитатель въ пансіонѣ?

Мнѣ стало даже неловко. Съ какой стати я потревожилъ человѣка? Вѣроятно, воспитатели моего времени или умерли, или давно уже успѣли перейти на службу въ какіялибо другія мѣста.

Я рѣшилъ, что, узнавъ кто дежурный, скажу, что мнѣ не его нужно и уйду.

— Иващенко,—сказалъ сторожъ.

— Какой? Неужели Петръ Семеновичъ!—воскликнулъ я съ полнѣйшимъ удивленіемъ и радостью: Петръ Семеновичъ Иващенко, учитель словесности, былъ воспитателемъ и въ мое время, при томъ однимъ изъ любимцевъ большинства воспитанниковъ.

— Да, Петръ Семеновичъ Иващенко,—подтвердилъ солдатъ.

Этого было достаточно. Теперь мнѣ уже опредѣленно захотѣлось побывать въ пансіонѣ.

И я сталъ подниматься по когда-то столь знакомой мнѣ витой лѣстницѣ.

Не безъ внутренняго волненія дернулъ я ручку у звонка. Дядька, отворившій мнѣ дверь, былъ тоже изъ новыхъ.

— Могу-ли я видѣть воспитателя?—обратился я съ вопросомъ.

— Извольте. Сейчас доложу, — сказалъ дядька и направился съ докладомъ.

Черезъ минуту я уже узналъ приближающуюся ко мнѣ знакомую фигуру.

— Чѣмъ могу служить? — спросилъ Петръ Семеновичъ, видимо, не узнавая меня.

Конечно, ему было не легко меня узнать: мало-ли насъ, гимназистовъ, прошло, такъ сказать, черезъ его руки за долгіе годы воспитательства и учительства.

Но когда я назвалъ себя, онъ узналъ меня разомъ и, скажу правду, искренно обрадовался.

— Пойдемъ, голубчикъ, пойдемъ въ мою комнату. Сердечно радъ, что ученикъ навѣстилъ стараго учителя. Спасибо, отъ души спасибо!

И я чувствовалъ, что онъ дѣйствительно говоритъ такъ отъ полнаго сердца.

— Черезъ полчаса, — говорилъ Иващенко на ходу, — у насъ молитва, а потомъ, когда улягутся спать воспитанники, мы съ вами посидимъ. Можно будетъ и отлучиться ко мнѣ на квартиру. Поужинаемъ и вспомнимъ доброе старое время. Не откажетесь?

Еще бы отказаться!..

Я прослушалъ молитву, побывалъ въ спальнѣ, потомъ осмотрѣлъ весь пансіонъ.

— То же самое, то же самое, — говорилъ Иващенко, — ничто не измѣнилось кромѣ людей. А изъ насъ, вашихъ воспитателей, только два и осталось: я и Гартманъ; Апоздаль ушелъ отъ насъ, Тимченко умеръ.

Въ десять часовъ вечера, когда легли старшіе воспитанники (порядокъ остался прежній: старшіе ложились часомъ позже младшихъ), которымъ Иващенко меня представилъ, какъ ихъ старшаго „коллегу“ и „воспитанника, не забывшаго стараго воспитателя“, мы пошли на квартиру къ Петру Семеновичу.

Она находилась въ другомъ корпусѣ, во внутреннемъ дворѣ гимназіи.

Нужно было, однако, небольшой кусокъ пути сдѣлать черезъ садъ.

И снова у меня мелькнула мысль.

— Петръ Семеновичъ, не будете-ли вы любезны сдѣлать мнѣ маленькое одолженіе? — обратился я къ нему.

— Пожалуйста, что такое?

— Пройдемтесь разочекъ по саду.

— Что такъ?

— Да такъ, старину вспомнить хочется.

— Съ удовольствіемъ, — согласился воспитатель.

И мы обошли кругомъ. Тихо, словно говоря о быломъ, шелестѣли листья, ярко мерцали звѣзды на темномъ украинскомъ небѣ.

Много лѣтъ прошло съ того времени, много воды утекло... Сколько уже другихъ юношей успѣло побывать въ этомъ саду.

Молодость, веселье, надежды.

Я шелъ и ничего не говорилъ. Иващенко, словно уважая мое молчаніе, тоже не произносилъ ни слова.

Тихо шелестѣли листья деревьевъ, задумчиво свѣтили алмазныя звѣзды на далекихъ небесахъ...

Я шелъ и думалъ:

— Привѣтъ тебѣ нашъ старый садъ, привѣтъ тебѣ отъ бывшаго питомца... Кто знаетъ, суждено-ли мнѣ когда нибудь снова увидѣть тебя.

Я шелъ по саду... И сладко было мнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ грустно, грустно...

Тихими шагами обошли мы весь садъ.

— Ну, теперь ко мнѣ? — спросилъ Иващенко.

— Пойдемъ, Петръ Семеновичъ, — отвѣтилъ я.

И мы пошли на квартиру моего стараго воспитателя. Незатѣйливый ужинъ и дружеская бесѣда о старомъ, новомъ и надеждѣ на дальнѣйшее будущее задержали насъ до разсвѣта.

Мы простились и уже навсегда: года черезъ полтора я узналъ, что Петра Семеновича не стало.

XVII.

Литераторы и журналисты.

Какъ вамъ понравится нижеслѣдующее поэтическое произведеніе?

Долго Русь терѣла,
Турки стали нападать,
Вдругъ она не захотѣла
И дала себя имъ знать.
Наши двинулись, какъ тучи,
Турки стали удирать,
Поднялся песокъ летучій,
Мы пустились догонять.
Враги струсили ужасно,
А нашимъ невѣдомъ страхъ,
Сопротивляться напрасно,—
Мы вѣдь всѣхъ сотремъ во прахъ.
Съ крикомъ русскіе идутъ,
Турки сдѣлали редуть
И запрятались въ траншею,
Мы же ихъ прогнали въ шею.
Убѣжали всѣ оттуда,
Было много хоть враговъ,
Раненыхъ валялась гряда,
Также кучи мертвецовъ.

Не правда-ли, если и не очень складно, то, во всякомъ случаѣ, какъ говорится, здорово?

Это замѣчательное стихотвореніе я, даю въ томъ торжественное слово, не выдумалъ.

Я запомнилъ его цѣликомъ и, вѣроятно, не одинъ я, а и многіе изъ товарищей.

Въ былые дни оно намъ такъ понравилось и приводило насъ въ такое веселое настроеніе, что его знали на память почти всѣ воспитанники старшаго возраста. Даже малыши, и тѣ декламировали.

Стихотвореніе несомнѣнно отличалось сильными чувствами и написано было, конечно, подѣ непосредственнымъ вліяніемъ нашихъ недавнихъ побѣдъ надъ многочисленной турецкой арміей.

Это было много времени послѣ окончанія войны и патриотическое настроеніе ихъ автора, хотя ужъ нѣсколько поздно, вылилось въ приведенныхъ мною звучныхъ строкахъ.

Вѣроятно, самъ авторъ стиховъ находилъ ихъ очень звучными.

Не все, однако, были такого мнѣнія.

Въ одинъ прекрасный день или, быть можетъ, стольже прекрасное „послѣ обѣда“, одинъ изъ нашихъ товарищей, нѣкій Антонъ Костовскій, прозванный, за свой какъ-то особенко дребежжащій по козлиному голосъ, „Козой“, торжественно обращаясь къ группѣ старшихъ воспитанниковъ, сказалъ:

— Господа, не хотите-ли я вамъ прочитаю кое-что очень хорошенькое?

Козлиный голосъ звучалъ весьма многозначительно. Костовскаго мы знали за человѣка, который, какъ говорится, „ради краснаго словца не пожалѣетъ ни мать, ни отца“. Очень неглупый отъ природы, много читавшій и недурно уметвенно развитый, Костовскій обладалъ насмѣшливымъ характеромъ. Онъ любилъ пошутить, но всегда нѣсколько зло. А ужъ какія нибудь смѣшныя стороны въ томъ или другомъ изъ товарищей онъ умѣлъ находить какъ-то разомъ и оттѣнялъ ихъ необычайно талантливо, хотя и грубовато.

И самое лицо его было какое-то насмѣшливое, подвижное...

Жаль только, что его насмѣшливость носила довольно злобный характеръ, и потому не всегда и далеко не всею была пріятна.

Былъ у насъ и другой насмѣшникъ, Самчукъ. Остроумный не менѣе Костовскаго и стольже неглупый и развитой, Самчукъ тоже умѣлъ подмѣтить смѣшныя стороны въ характерахъ товарищей, но дѣлалъ это съ такимъ

неудержимымъ весельемъ, настоящимъ малорусскимъ юморомъ и настолько безобидно, что всё вокругъ заливались самымъ чистосердечнымъ хохотомъ, и зачастую больше всёхъ именно тотъ, кто послужилъ мишенью для шутки.

Въ шуткахъ Самчука сквозила безконечная доброта сердца, желаніе просто на просто развеселить товарищей и заставить ихъ посмѣяться отъ души, никого не оскорбляя, никому не дѣлая серьезной неприятности.

Костовскимъ же всегда руководило несомнѣнное желаніе поставить избираемое имъ лицо непременно въ смѣшное, при томъ неприятное положеніе, и чѣмъ дольше это положеніе длилось, тѣмъ болѣе наслаждался его устроитель.

Такова была разница между этими двумя пансіонскими остроумцами.

На Самчука за его шутки немислимо было сердиться, на Костовскаго обижались многіе, имѣя на то полнѣйшее основаніе.

Но онъ этимъ нисколько не смущался.

Надо къ тому же сказать, что насмѣшки Костовскаго были неприятны лично тому, надъ кѣмъ онъ въ данное время изощрялся, зато другіе были весьма и весьма непрочь посмѣяться: такова ужъ натура человѣческая, таково то, что называется «стаднымъ чувствомъ».

Вотъ почему, когда онъ предложилъ „прочсть кое-что очень хорошенькое“, присутствующіе единогласно откликнулись:

— Читай, читай.

— Ну, слушайте.

— Молчаніе, тишина!—раздались крики.

Все стихло.

— Начинаю!..

И Костовскій, принявъ самую торжественную позу, какимъ-то особеннымъ, декламаторскимъ манеромъ сталъ читать...

Долго Русь терпѣла,
Турки стали нападать...

По началу мы толкомъ не вполне разобрали въ чемъ дѣло и какого именно впечатлѣнія отъ насъ добивается нашъ „Коза“.

Но когда чтеніе дошло до

Турки сдѣлали редуть
И запрятались въ траншею,
Мы же ихъ прогнали въ шею,

то дружный хохотъ всѣхъ присутствующихъ заглушилъ голосъ чтеца.

Послышались аплодисменты.

— Bravo, bravo, bravissimo!.. Читай дальше.

Костовскій выкрикнулъ конецъ:

Раненыхъ валялась груда,
Также кучи мертвецовъ.

Тутъ ужъ рѣшительно всѣ пришли въ самый неистовый восторгъ.

— Бисъ!.. Бисъ!.. Прочти еще разъ, повтори! — вопила толпа.

Но декламаторъ перешелъ на ораторскую прозу. Онъ посмотрѣлъ на присутствующихъ, откашлялся и произнесъ:

— Милостивые государи и, я бы сказалъ, милостивыя государыни, если-бы таковыя среди насъ присутствовали. Къ сожалѣнію, однако, милостивыхъ государынь здѣсь нѣтъ и потому приходится довольствоваться одними только милостивыми государями. Только-что я имѣлъ честь прочитатъ въ вашемъ почтенномъ собраніи поэтическое произведеніе, удостоившееся съ вашей стороны единодушныхъ знаковъ одобренія. И эти знаки одобренія съ вашей стороны не напрасны, они, конечно, вполне заслужены. Не мной, о, разумѣется, не мною! Я, такъ сказать, только счастливый исполнитель, артистъ, на долю котораго выпала великая честь прочитатъ передъ вами эти поистинѣ вдохновенныя строки. Моя личная заслуга состоитъ только въ томъ, что мнѣ удалось отмѣтить то, что хотѣлъ сказать авторъ. Итакъ,

милостивые государи, ваше одобрение я не могу и не долженъ принять на свой счетъ. Мнѣ кажется, что для васъ составить огромное удовольствіе узнать автора столь замѣчательнаго творенія. Конечно, авторъ скромнень, ибо скромность есть удѣлъ всѣхъ истинно великихъ душъ. Онъ хочетъ остаться неизвѣстнымъ, онъ не желаетъ назвать свое имя. Не столько, впрочемъ, не хочетъ, сколько не рѣшается по причинѣ своей скромности. Но зато это обязаны сдѣлать другіе. Я, изъ глубокаго уваженія къ создателю этого, быть можетъ, лучшаго изъ всѣхъ поэтическихъ произведеній міра, рѣшился открыть вамъ имя автора. Желаете?

И Костовскій окинулъ собравшихся такимъ хитрымъ взглядомъ, что у многихъ невольно явилось нехорошее желаніе позабавиться на чужой счетъ.

— Автора!.. Подать сюда автора!—послышалось со всѣхъ сторонъ.

Костовскій снова, съ полнѣйшимъ сознаниемъ своего, надо отдать справедливость, довольно дешеваго торжества, посмотрѣлъ на присутствующихъ.

— Авторъ все еще скромничаетъ, — промолвилъ онъ, — но въ такомъ случаѣ я назову вамъ его имя.

— Назови автора, мы хотимъ знать его имя! — закричали товарищи. И на эти крики Костовскій открылъ было ротъ, но сказать ничего уже не успѣлъ: изъ группы воспитанниковъ отдѣлился блѣлокурый мальчикъ съ неправильнымъ, даже некрасивымъ, но крайне симпатичнымъ лицомъ и, весь блѣдный, нервной походкой подошелъ къ Костовскому.

— Послушай, — дрожащимъ отъ волненія и обиды голосомъ сказалъ онъ, — это не хорошо. Откуда ты взялъ эти стихи? Отдай!..

Бѣдный авторъ не выдержалъ, и выдалъ себя. Быть можетъ, Костовскій самъ и не рѣшился-бы назвать его имя и удовольствовался только тѣмъ, что хорошенько-бы его помучилъ, но бѣдныя предпочелъ покончить все дѣломъ разомъ.

И теперь „Коза“ могъ сказать прямо:

— Вы хотѣли знать автора, не такъ-ли? Ну такъ вотъ онъ передъ вами!..

Общій хохотъ присутствующихъ перебилъ его слова, раздались крики:

— Bravo, авторъ. Да здравствуетъ Цыбульскій.

Кто-то даже заоралъ:

— Ура!..

А Цыбульскій теперь уже не блѣдный, а весь красный, растерянно говорилъ:

— Послушай.. это свинство.. отдай.

Не отдать чужой вещи Костовскій, конечно, не имѣлъ права. Но онъ сказалъ:

— У меня вашей рукописи, господинъ поэтъ, не имѣется. У меня своя собственная.

Цыбульскій круто повернулъ въ сторону и пошелъ къ своему мѣсту, преслѣдуемый насмѣшливыми взглядами:

— Поэтъ, вотъ такъ поэтъ!

Этотъ злополучный Цыбульскій былъ однимъ изъ моихъ лучшихъ пріятелей.

Когда „Коза“ читалъ стихи и я хохоталъ вмѣстѣ съ прочими..

Дѣло въ томъ, что и я пописывалъ, и тоже стишки. Мнѣ, однако, казалось, что мои творенія много лучше прочитаннаго, которое, дѣйствительно, было вонъ изъ рукъ плохо.

Но я никому и никогда не открывалъ тайны своего авторства.

Писать—это было мое личное наслажденіе и очень для меня дорогое..

Настолько дорогое, что я не рѣшился никого посвящать въ эту тайну, боясь малѣйшей критики, малѣйшаго осужденія.

И, слѣдовательно, я отчасти могъ понять душевное настроеніе Цыбульскаго.

Я отъ души смѣялся надъ плохими стихами, но странное дѣло: какъ только я узналъ имя автора, насмѣшливое настроеніе покинуло меня какъ-то разомъ, и

я уже не смѣялся вмѣстѣ съ прочими, когда сконфуженный и разсерженный Цыбульскій, преслѣдуемый насмѣшками товарищей, удалялся на свое мѣсто. Мнѣ было страшно досадно на Костовскаго, обидно за друга и, самъ ужъ не знаю почему, за себя лично. Вѣдь и я могъ такимъ-же точно образомъ попасть на язычекъ «Козъ».

Звонокъ, призывающій на занятіе, прекратилъ дальнѣйшее издѣвательство.

Оно, конечно, имѣло бы продолженіе вечеромъ („Коза“ не любила быстро выпускать жертву изъ своихъ рукъ; въ этомъ отношеніи онъ напоминалъ кошку, играющую съ мышью), но случилось иначе.

Я, Цыбульскій и Самчукъ сидѣли вмѣстѣ.

Когда начались занятія, Цыбульскій досталъ книгу и, стараясь сохранить наружное хладнокровіе, сталъ, по-видимому, старательно учить урокъ.

Но едва-ли онъ его понималъ толково. Его всего какъ-то нервно передергивало... Отлично зная характеръ Костовскаго, онъ, конечно, могъ быть въ твердой уверенности, что тотъ не оставитъ его въ покоѣ и вечеромъ.

Тутъ ужъ не до уроковъ, разумѣется.

Я это понялъ и мнѣ захотѣлось хоть сколько нибудь утѣшить товарища.

— Послушай,—тихонько обратился я къ нему,—почему ты не сказалъ мнѣ, что пишешь?

— И ты пристаешь,—съ досадой огрызнулся Цыбульскій,—отстань. Ну, какое тебѣ до этого дѣло.

— Потому-что,—совѣмъ уже шопотомъ признался я,—и я тоже иногда пишу.

Цыбульскій недовѣрчиво посмотрѣлъ на меня. Можетъ быть, онъ подозрѣвалъ меня въ коварствѣ, что въ его положеніи было простительно.

Я это понялъ и сказалъ:

— Не шучу... Я тоже иногда пишу.

Цыбульскій снова посмотрѣлъ на меня. Теперь, вѣроятно, онъ увидѣлъ, что никакихъ коварныхъ намѣреній съ моей стороны не было.

Онъ только коротко спросилъ:

— Стихи?

— Да.

И тогда Цыбульскаго словно прорвало. Онъ заговорилъ, обращаясь ко мнѣ, все тѣмъ же шопотомъ, но теперь быстро и горячо:

— Я не пойму, какимъ образомъ „Коза“ нашель эти проклятые стихи. Они написаны мною уже давно, еще во время войны. Я тогда еще и правилъ стихосложенія не зналъ. Теперь пишу уже иначе. Я тебѣ, если хочешь, покажу, а это, конечно, слабо.

Но, хоть разговаривали мы и тихо, а Самчукъ, какъ оказалось, слыхалъ все.

Онъ неожиданно вмѣшался въ разговоръ.

— Да, братъ Цыбуля, — сказалъ онъ, — это ты написалъ изрядную галиматью. Не стихи, а рубленая капуста. Развѣ такіе стихи бываютъ? Ни кожи, ни рожи, а нѣчто совершенно несуразное. Прости ужъ за правду - матку.

Цыбульскій вспыхнулъ.

— А ты зачѣмъ подслушиваешь. Я не съ тобой говорю, а съ нимъ.

Онъ указалъ на меня.

Самчукъ засмѣялся.

— Я и не думаю подслушивать, — сказалъ онъ просто, — а вы такъ тихо секретничаете, что за десять верстъ слышно. Знаешь, бываетъ, такъ называемый, „театральный шопотъ“... Это, когда актеръ говоритъ „въ сторону“, будто-бы про себя. Публика слышитъ, а другіе дѣйствующія лица, словно уши законопатили. Знаешь что: ты не сердись, а прямо возьми да и покажи намъ, что-нибудь другое. Ты вотъ сказалъ ему, что твою „Войну“ (Самчукъ такъ озаглавилъ знаменитое произведеніе) написалъ уже давно. Можетъ быть, теперь дѣло обстоитъ иначе. Покажи что-нибудь... не стѣняйся. Честное слово, мы смѣяться не станемъ, по крайней мѣрѣ я лично. Если плохо, такъ-таки прямо и скажу, что никуда не годится. А если сносно, по моему, тоже откровенно скажу.

Но, видимо, и Цыбульскому хотѣлось возстановить всю репутацію.

Онъ покраснѣлъ, словно дѣлая надъ собою усиліе, ни слова не говоря полѣзъ въ ящикъ, порылся тамъ, вынулъ исписанный четкимъ почеркомъ листокъ бумаги и молча вручилъ ему Самчуку.

А затѣмъ уткнулся носомъ въ книгу. Ему все-таки было неловко.

Самчукъ, какъ истинный хохоль, не торопился. Онъ довольно долго читалъ, вѣроятно нѣсколько разъ, словно разжевывая и взвѣшивая каждое слово.

Наконецъ онъ сказалъ:

— Вотъ тутъ ужъ никакой чепухи нѣтъ. Это настоящіе стихи.

— Ты не шутишь?—быстро обернувшись въ его сторону спросилъ Цыбульскій.

— Ничуть,—серьезно отозвался Самчукъ,—это, по моему мнѣнію, настоящіе стихи. И размѣръ, и слогъ, и смыслъ, все, какъ тому и быть надлежитъ. Да вотъ пусть онъ прочтетъ.

И онъ передалъ мнѣ листокъ.

Послѣ того я нѣсколько разъ читалъ эти стихи. Мнѣ они тогда очень понравились. Цѣликомъ я ихъ уже не помню, но начало запомнилъ и по сей часъ. Называлось стихотвореніе „Изгнанникъ“...

Начиналось оно такъ:

Туманъ надъ городомъ вставалъ,
Спускалась почъ въ тиши могильной,
А я по улицамъ бѣжалъ,
Томимый злобою безсильной.
Куда? Зачѣмъ? Но я не могъ
На тѣ вопросы дать отвѣта...
Я миновалъ родной порогъ
Безъ сожалѣнья, безъ привѣта.

Вообще все это стихотвореніе, по объему довольно длинное, было весьма романтично. Говорилось о сынѣ, молодомъ человѣкѣ, покинувшемъ отчій домъ для какихъ-то скитаній, неизвѣстно какими потребностями выз-

ванныхъ, но далекихъ, исполненныхъ всяческихъ огорченій, нужды и опасностей.

Все это носило, конечно, подражательный характеръ, но, повторяю, мнѣ въ то время очень и очень нравилось.

Прочитавъ это стихотвореніе я даже позавидовалъ: мои стихи, какъ мнѣ казалось, были гораздо лучше „Войны“, но много хуже „Изгнанника“!..

Искренность, однако, первое достоинство честной и отзывчивой молодости.

Я обратился къ товарищу и горячо, отъ полноты сердечной, воскликнулъ:

— Ты настоящий поэтъ, Цыбульскій!

— Не смѣешься?—спросилъ Цыбульскій, и глаза его загорѣлись какимъ-то особеннымъ блескомъ.

— Ей Богу!—восторженно подтвердилъ я.

Мы плохо въ тотъ день готовили уроки. Откровенность напала на всѣхъ. Пришлось и мнѣ показать свои творенія. И я тоже былъ признанъ поэтомъ. Тутъ уже мы стали великодушничать: Цыбульскій говорилъ, что мои стихи лучше, я горячо утверждалъ, что совершенно, совершенно наоборотъ.

— А ты, Самчукъ, не пишешь?—спросилъ кто-то изъ насъ.

Намъ очень хотѣлось, непременно хотѣлось, чтобъ и Самчукъ повинился въ авторствѣ.

Тотъ нѣсколько замялся, но потомъ махнулъ рукой и сказалъ какимъ-то замогильнымъ голосомъ, словно рѣшаясь на самое отчаянное дѣло:

— Только не стихи, а такъ... одну повѣстужку... да только никакъ окончить не могу.

Потомъ мы читали эту „повѣстужку“. Она даже была помѣщена въ одномъ изъ нашихъ пансіонскихъ рукописныхъ журналовъ.

Главнымъ героемъ ея былъ извѣстный малорусскій разбойникъ „Кармелюкъ“. Она и озаглавлена была его именемъ. Тоже что-то слишкомъ романтическое, причемъ, въ описаніяхъ Самчука, Кармелюкъ, хоть и былъ самымъ настоящимъ разбойникомъ, но обладалъ такими добродѣ-

телями, какія и праведнику иному не снились. Онъ грабилъ и убивалъ только злыхъ людей, а добрыхъ надѣлялъ деньгами, соединялъ передъ алтаремъ брачными узами разныхъ молодыхъ людей и дѣвицъ, родители коихъ, по разнымъ причинамъ, а главное по непостижимому упрямству, препятствовали счастью своихъ дѣтей, и такъ далѣе въ этомъ родѣ.

Но какимъ образомъ „Коза“ могъ добыть рукопись „Войны“?

Листокъ, на которомъ она была написана, оказался на мѣстѣ...

Слѣдовательно, могло-быть только одно: Костовскій лазилъ въ ящикъ Цыбульскаго. Вѣроятно, ему что-нибудь было нужно (это у насъ не считалось за грѣхъ, только потомъ слѣдовало сказать), но, увидѣвъ рукопись, не удержался отъ соблазна и переписалъ ее.

— Постояй-же, „Коза“,—сказалъ Самчукъ,—ты у меня потанцуешь.

— Да ты что хочешь дѣлать?—съ тревогой спросилъ Цыбульскій.

Ссориться съ Костовскимъ ему дальнѣйше не хотѣлось, ибо тотъ могъ насолить изрядно.

— А ужъ это мое дѣло,—отвѣчалъ Самчукъ.—Вы только мнѣ не мѣшайте.

— Да стоитъ ли съ нимъ связываться?—продолжалъ трусить Цыбульскій.

— Стоитъ, и очень даже стоитъ,—рѣшительно заявилъ Самчукъ.

Во время главной получасовой передышки отъ занятій не произошло никакихъ событій.

Въ восемь часовъ вечера мы, по обыкновенію, спустились пить чай.

Костовскій торжествовалъ. Не подлежало никакому сомнѣнію, что онъ твердо намѣревался продолжить свои издѣвательства надъ горемыкой Цыбульскимъ.

„Коза“ весело болталъ въ кругу своихъ многочисленныхъ сторонниковъ (на сторонѣ бѣднаго стихотворца были только Самчукъ, я, да нашъ товарищъ Ельниковъ,

сидѣвшій въ столовой рядомъ съ нами и державшій себя нейтрально, т. е. ничего не говорившій) о томъ, что на Руси появился новый поэтический талантъ, который намѣренъ затмить славу величайшихъ русскихъ поэтовъ — Державина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова...

— А ужъ о Василиѣ Кирилловичѣ Тредьяковскомъ и говорить нечего, — распространялся „Коза“, умышленно выдвигая имя этого трудолюбиваго, но безталаннаго стихослагателя времянь императрицы Анны Иоанновны. — Правда, онъ хорошо писалъ:

„Замерзають быстры рѣки,
Въ шубы лѣзуть человѣки“

или:

„Вѣтры сѣверные ду-
Ють гулять я не пойду“,

но тѣмъ не менѣе и ему далеко до нѣкоторыхъ нашихъ современныхъ молодыхъ талантовъ.

Мнѣ лично были весьма непріятны эти насмѣшки и въ особенности по той причинѣ, что я зналъ уже и хорошее, по моему мнѣнію, стихотвореніе Цыбульскаго. Самъ авторъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ, то усиленно краснѣя, то внезапно блѣднѣя. Вообще, онъ, видимо, переживалъ прескверныя минуты своей жизни. Ельниковъ сосредоточенно молчалъ (увы! потомъ оказалось, что и онъ пописывалъ — причина невольнаго сочувствія къ Цыбульскому) и только одинъ Самчукъ, весело улыбаясь, упинывалъ за обѣ щеки булку, запивая ее жидкимъ, но горячимъ, какъ кипяткомъ, казеннымъ чаемъ.

Обычнымъ порядкомъ, покончивъ съ чаепитіемъ, направились мы обратно въ пансіонъ.

И не успѣли еще подняться туда, какъ вокругъ Костовскаго уже стала собираться группа воспитанниковъ старшаго возраста.

— Пойдемъ и мы туда, — сказалъ, обращаясь къ намъ, Самчукъ.

— Ну, вотъ еще, съ какой стати, — отвѣчалъ я: — Костовскій снова начнетъ свои глупости.

— Начнетъ, да, можетъ быть, не кончитъ,—какъ-то загадочно отвѣтили Самчукъ.

Цыбульскій отказался наотрѣзъ, такъ что Самчукъ даже разсердился.

— Чортъ съ тобой, не хочешь—не надо.

— Чего-же ты злишься,—съ досадой отозвался Цыбульскій,—вѣдь, согласишься самъ, вовсе ужъ не такое великое удовольствіе быть нелѣпой мишенью «козинаго» остроумія.

— Эхъ, голубчикъ мой, — сказалъ Самчукъ, смягчаясь,—развѣ тебѣ неизвѣстно изрѣченіе «хорошо смѣется тотъ, кто смѣется послѣдній».

И онъ болѣе не настаивалъ на томъ, чтобы бѣдный стихотворецъ присутствовалъ вмѣстѣ съ нами.

А мнѣ сказалъ:

— Ну, идемъ.

И мы вмѣшались въ группу товарищей, гдѣ Костовскій, очевидно, намѣревался продолжить начатый имъ шутовской спектакль.

«Коза» хихикалъ, предвкушая грядущее наслажденіе. Онъ обдумывалъ свои будущія остроты...

Товарищи тоже посмѣивались.

Вообще, настроеніе было довольно таки веселое: посмѣяться надъ кѣмъ-нибудь по столь исключительной причинѣ было все таки, какъ никакъ, не совсѣмъ обычнымъ явленіемъ.

Случай представлялся весьма удобный.

И вдругъ, совершенно неожиданно, среди собравшейся толпы раздался голосъ Самчука.

— Господа, а господа!

Голосъ былъ такой веселый, можно выразиться, улыбающійся.

Всѣ обернулись къ говорящему.

— Можно и мнѣ вставить слово?—самымъ невиннымъ тономъ спросилъ хохоль.

— По поводу чего?—спросилъ кто-то.

— А все по тому же поводу... о новомъ поэтѣ,—простодушничалъ Самчукъ.

Самчука любили вообще, а тутъ еще, словно кстати, онъ, какъ подумали многіе, собирався поддержать Костовскаго.

Спектакль обѣщаль сдѣлаться вдвойнѣ интереснымъ: два самые острые пансіонскіе язычка выступали противъ одной и той же жертвы.

Разумѣется, сейчасъ же отовсюду послышались одобрительные голоса.

— Тише, господа, Самчукъ хочетъ говорить. Говори. Слово за тобой, «Мазепа».

Самчука почему-то называли «Мазепой». Вѣроятно, за его самое чистокровное «хохлацкое» происхожденіе. Малороссовъ у насъ въ пансіонѣ и помимо Самчука было достаточное количество, но Самчукъ какъ-то болѣе всѣхъ прочихъ удовлетворялъ истинно малорусскому типу. Его по этой причинѣ и прозвали «Мазепой», предполагая; очевидно, что малорусскій гетманъ времени Петра Великаго являлъ собою самага хохлѣйшаго изъ всѣхъ хохловъ, какіе только были на бѣломъ свѣтѣ.

Здѣсь надо сказать, что всякаго рода прозвища были у насъ въ большемъ ходу. Фамилія сама по себѣ, а прозвище, иногда удачное, иногда и вовсе неподходящее, само по себѣ. Почти каждый изъ воспитанниковъ носилъ какое-нибудь прозвище. Давалось оно еще въ младшихъ классахъ, а потомъ такъ ужъ и оставалось до самага конца гимназіи. Мало того: многіе изъ насъ не только по окончаніи гимназіи, не только въ университетѣ, а и послѣ того—въ жизни, такъ и сохранили въ обращеніи между собою школьное прозвище, хоть, сплошь и рядомъ, кличка была не изъ умныхъ.

Но привычка—вторая натура.

Костовскій тоже увидѣлъ въ Самчукѣ неожиданнаго союзника.

— А... это интересно,—отозвался онъ,—ну-ка, говори... мы послушаемъ. Умныя рѣчи и послушать пріятно; умъ хорошо, а два лучше.

Самчукъ, какъ ранѣе «Коза», принялъ ораторски-торжественную позу.

— Милостивые государи, — началъ онъ, — какъ вамъ уже извѣстно, у насъ появился поэтъ... замѣчательный поэтъ, который неминуемо долженъ затмить своими произведеніями славу всѣхъ стихотворцевъ древняго, средняго и новаго времени...

Въ толпѣ воспитанниковъ, въ предвкушеніи дальнѣйшаго наслажденія, уже мѣстами слышался сдержанный смѣхъ. Костовскій тоже весело улыбался, но что касается меня лично, то я при началѣ рѣчи былъ въ полнѣйшемъ недоумѣніи.

Что-же это, въ самомъ дѣлѣ, вздумалъ Самчукъ? Говорилъ, кажется, одно а дѣлаетъ совсѣмъ другое. Ясно, что и онъ намѣренъ только продолжать надъ Цыбульскимъ издѣвательства начатыя „Козой“.

Такой двойственности я отъ него никоимъ образомъ не ждалъ. Мнѣ все это становилось до крайности неприятно и даже тяжело.

А «Мазепа» продолжалъ:

— Нашъ многоуважаемый товарищъ, г. Костовскій, уже имѣлъ случай познакомить почтенное собраніе съ однимъ изъ талантливыхъ произведеній, принадлежащихъ перу новаго поэта. Вы, въ свою очередь, оцѣнили его по достоинству. Что касается меня, то я не стану здѣсь касаться поэтическихъ достоинствъ (вполнѣ очевидныхъ!), а возьму дѣло съ другой стороны. Упоминаемое поэтическое произведеніе, быть можетъ, вовсе не предполагалось къ опубликованію. Костовскій, какъ онъ сказалъ, предписываетъ это скромности, какъ свойству всѣхъ великихъ душъ. Я тоже съ этимъ согласенъ, но, думаю, всѣ изъ васъ будутъ согласны со мною и въ томъ, что изъ скромности одного изъ нашихъ товарищей отнюдь не вытекаетъ, какъ слѣдствіе, то, что другой, значительно менѣе скромный, забирается самовольно въ чужой ящикъ, шарить, какъ опытный въ этого рода вещахъ человѣкъ, въ чужомъ имуществѣ и распоряжается съ нимъ, какъ со своей собственностью. Милостивые государи! У насъ есть поэтъ, но есть также и хорошая ищейка. Все, что я могу

и долженъ сказать, такъ это то, что отъ визита въ чужой ящикъ не далеко и до подобнаго же путешествія въ чужой карманъ. Отсюда выводъ можетъ быть только одинъ: берегите, господа, ваши ящики, берегите ваши карманы!..

И Самчукъ, окончивъ свою неожиданную рѣчь, направился прочь.

Увы!.. Настроеніе толпы измѣнчиво подобно морю. Со всѣхъ сторонъ снова раздались крики и смѣхъ:

— Bravo!..

— Берегите карманы!

— И носовые платки!

«Коза», ничего подобнаго не ожидавшій, даже поблѣднѣлъ.

Онъ подошелъ къ Самчуку и тихо сказалъ:

— Я тебѣ этого не забуду.

«Мазепа» равнодушно посмотрѣлъ на него и отвѣтилъ:

— А и не забывай себѣ. Мнѣ-то до этого какое дѣло.

«Спектакль», такимъ образомъ, закончился не такъ, какъ предполагалось.

Побѣда, и при томъ побѣда полная, осталась на этотъ разъ за Самчукомъ.

Цыбульскаго оставили въ покоѣ. Поговорили теперь уже о поведеніи Костовскаго, нашли, что и въ самомъ дѣлѣ его поступокъ оправдать нельзя, но въ скоромъ времени перестали говорить и объ этомъ.

Костовскій и Самчукъ долго были въ натянутыхъ отношеніяхъ, но потомъ забылось и это.

Случай этотъ имѣлъ за собою другія послѣдствія, гораздо болѣе важныя.

Онъ способствовалъ объединенію тѣхъ воспитанниковъ, которые такъ или иначе интересовались литературой.

Цыбульскій, Самчукъ, вашъ покорный слуга, Ельниковъ оказались людьми съ «писательскимъ зудомъ». Да и помимо насъ такихъ было еще нѣсколько человекъ.

Но кромѣ того были между нами и другіе товарищи, сами лично не писавшіе ничего, но любившіе литературу не менѣе насъ.

Образовался цѣлый кружокъ молодежи много читающей и думающей.

Пансіонская бібліотека въ то время была у насъ недурная, но сверхъ того многіе изъ насъ старались заводить, по мѣрѣ возможности, насколько позволяли карманныя средства, собственныя бібліотечки..

У нѣкоторыхъ составился очень недурной подборъ книгъ, и въ этомъ отношеніи мы дѣятельно соревновали между собою.

Уходя въ отпускъ по праздничнымъ днямъ, каждый изъ насъ, насколько это было возможно, возвращался обратно съ какою-нибудь новинкой.

Помнится такой случай. Какъ-то я, Цыбульскій и тотъ же потерпѣвшій неудачу Костовскій, почти одновременно, возвращаясь изъ отпуска, столкнулись у пансіонскихъ дверей.

Каждый несъ что-то тщательно завернутое въ бумагу и связанное бечевкой.

— Купилъ?

— Что?..

— А вотъ увидимъ.

Мы обмѣнялись этими краткими словами, и потомъ, отдавъ отпускные билеты воспитателю, торжественно развернули свои покупки..

И, о удивленіе: у каждаго изъ насъ оказалось по четыре тома тогда недавно только вышедшаго полного собранія стихотвореній... Н. А. Некрасова.

Показали мы другъ другу свои драгоценныя покупки и... отъ души расхохотались.

Большее единодушіе въ выборѣ трудно было и вообразить. И, надо все́мъ намъ отдать полную справедливость, мы всегда были искренно счастливы при приобрѣтеніяхъ такого рода. Съ книгой же вообще привыкли обращаться, какъ со святыней своего рода.

Не обходилось и безъ зависти со стороны другихъ,

если кому-нибудь случалось приобрести какое-либо цѣнное изданіе.

Но если зависть вообще чувство не изъ похвальныхъ, то въ случаяхъ подобнаго рода она гораздо извинительнѣе, нежели при какихъ-либо другихъ обстоятельствахъ.

И зависть-то эта какая-то благородная.

Бѣднѣ всѣхъ насъ былъ Самчукъ, но онъ, какъ хорошій ученикъ, имѣлъ постоянно „казенные уроки“, т.-е. занимался съ малышами, получая по семи рублей въ мѣсяць за урокъ. Такихъ уроковъ у него всегда бывало не менѣе двухъ, и почти всѣ заработанныя этимъ нелегкимъ трудомъ деньги нашъ милѣйшій „Мазепа“ употреблялъ на покупку книгъ.

„Собственная библіотека“ у него составила одна изъ самыхъ лучшихъ.

Иногда, по праздникамъ, мы цѣлою компаніей направлялись къ „букинистамъ“ и тамъ, по относительно недорогой цѣнѣ, дѣлали солидныя приобретенія по книжной части.

„Букинисты“ эти въ большинствѣ случаевъ изрядные плуты, но иногда у нихъ можно было дѣлать весьма недурныя покупки... Мы держали ухо востро, торговались съ ними до изнеможенія и, роясь среди разныхъ старыхъ изданій и подержанныхъ книгъ, проводили въ ихъ незатѣйливыхъ лавкахъ, пыльныхъ и довольно грязныхъ, не мало хорошихъ минутъ.

Быть можетъ, какъ слѣдствіе этого, у меня и по сей часъ осталась еще великая любовь въ досужее время навѣщать лавки букинистовъ.

Чаще всего покупались нами произведенія изящной словесности, но были товарищи, дѣлавшіе и иной подборъ: специально историческихъ книгъ или по естественнымъ наукамъ. Товарищъ Воейковъ, прозываемый нами „герцогомъ Ршелье“ (онъ перевелся къ намъ изъ Ршельевской одесской гимназіи, названной такъ въ честь упомянутаго герцога, устроителя города Одессы), приобреталъ книги исключительно по философіи...

Вкусы и наклонности каждого из нас начинали обрисовываться уже в то время.

В связи с этим находится и издание рукописных журналовъ.

В них много из нас пробовали свои литературные силы.

Такихъ журналовъ в разное время было у нас не мало. Издавались они отдѣльными кружками, и не в одной, конечно, нашей гимназiи, но и в другихъ, а ихъ къ тому времени, когда я кончалъ ученiе, в городѣ было уже четыре. Издавались журналы и в другихъ учебныхъ заведенiяхъ, даже и женскихъ. «Редакцiи» такихъ журналовъ, конечно, обмѣнивались между собою свои ми изданiями.

Нельзя, однако, сказать, чтобы наши журналы жили между собою в дружбѣ и единствѣ.

Критиковали другъ друга отчаянно.

Я лично (в неизмѣнномъ и твердомъ союзѣ с Цыбульскимъ, Самчукомъ и Ельниковымъ) участвовалъ в изданiи „Бесѣды“, „Отголосковъ“ и „Гимназиста“...

У Костовскаго и его партiи в распоряженiи были „Вѣтерокъ“ (исключительно с веселой сатиры-юмористической программой) и „Солнце“...

И, сказать правду, мы уж не только „критиковали“ другъ друга, а временами прямо бранились.

Задора было, хоть отбавляй. А порою случалось и настоящее остроумiе.

В дальнѣйшей жизни в настоящую литературу и журналистику из нас в концѣ-концовъ пошли не очень много, но кое-кто пошелъ.

Есть теперь люди уже извѣстные и на ученомъ поприщѣ. Что касается невольнаго виновника нашего литературнаго сближенiя, Цыбульскаго (фамилiя мною, конечно, измѣнена), то, будучи еще студентомъ, онъ напечаталъ в столичныхъ периодическихъ изданiяхъ нѣсколько очень хорошихъ стихотворенiй.

Весьма вѣроятно, что изъ него выработался бы не послѣднiй поэтъ, но неумливая смерть не разбираетъ

своихъ жертвъ. Даровитый Цыбульскій умеръ въ молодыхъ годахъ...

Погасла заря розовыхъ надеждъ, оборвались крылья золотыхъ мечтаній, на которыхъ онъ стремился къ свѣту и правдѣ.

Для окончанія этого очерка позвольте вспомнить нѣкоторый казусъ.

Какъ-то, когда я уже былъ признанъ товарищами за изряднаго стихотворца, подходитъ ко мнѣ нѣкто Вельчопольскій и, таинственно отводя въ сторону, говоритъ:

— Послушай, хочешь заработать четыре рубля (именно четыре, почему-то)?

Конечно, заработать столь солидную по тѣмъ временамъ сумму я былъ очень не прочь.

— Научи меня писать стихи,—столь же таинственно пояснилъ Вельчопольскій.

Надо сказать, что Вельчопольскій — самый породистый полякъ (мы такъ и называли его „паномъ“) — весьма неважно владѣлъ русскимъ языкомъ даже и прозаическимъ, а тутъ вдругъ возымѣлъ неожиданное стремленіе заговорить „языкомъ боговъ“, т.-е., проще говоря, стихотворнымъ.

Научить стихотворству!..

Просьба была въ достаточной мѣрѣ дикая, но еще болѣе дико было то, что я, со своей стороны, изъявилъ полнѣйшее на то согласіе.

— Попробую,—отвѣчалъ я съ достоинствомъ.

Несомнѣнно мною овладѣло желаніе заработать четыре рубля, на каковыя можно было купить какую-нибудь хорошую книжку...

Мы принялись за дѣло очень горячо. Трудно было сказать съ точностью, кто выказалъ большое усердіе — ученикъ или учитель.

Оба, насколько хватило силъ, старались не ударить въ грязь лицомъ.

Педагогъ я былъ строгій, взыскательный и вспыльчивый. Если „панъ“, который въ потѣ лица своего старался едѣлаться поэтомъ, чего-нибудь не понималъ, то я

не стѣснялся въ выраженіяхъ, называя его „мѣдной башкой“, „чугуннымъ лбомъ“ и прочими болѣе или менѣе сильными прозваніями; но мой трудолюбивый питомецъ на это не обижался...

Онъ, очевидно, перенесъ бы и болѣе чувствительныя поношенія, лишь бы только добиться своего.

Обученіе продолжалось около мѣсяца.

Наконецъ, „панъ“ рѣшился держать экзамень на аттестатъ стихотворной зрѣлости...

Сидѣлъ я у лѣсной опушки,
Была грустна душа моя,
Со стадомъ шли въ село пастушки
И пастухи, всѣ пѣснь поя...

Такъ начиналось экзаменаціонное сочиненіе.

Обсудивъ это дѣло, мы увидѣли, что толку изъ его не выйдетъ.

Я добросовѣстно объявилъ „пану“, что хотя нѣкоторые проблески поэтическаго таланта у него и имѣются, но російскаго поэта изъ него никоимъ образомъ не выработается.

Однако, я посовѣтовалъ ему попытать свои силы въ родной ему польской поэзіи.

— Видно ужъ такъ придется, — сказалъ онъ почему-то съ грустью, ибо, въ сущности, поляку, конечно, удобнѣе и естественнѣе всего было-бы писать именно на своемъ языкѣ...

Но расплатиться со мной за понесенные труды онъ пожелалъ по чести.

— Ты работалъ много, а потому, во всякомъ случаѣ, долженъ взять деньги.

Я, будучи добросовѣстнымъ, сталъ отказываться.

Но мы оба были благородны и не хотѣли уступить другъ другу.

Борьба благородствъ закончилась взаимной уступкой: я получилъ ровно половину уставленнаго вознагражденія, т.-е. два рубля.

Такъ никому изъ насъ не было обидно.

Какъ сейчасъ помню, на эти деньги я купилъ полное собраніе сочиненій Н. Ѳ. Щербины, довольно извѣстнаго въ свое время и талантливаго поэта.

XVIII.

Больница.

Помню только одно, и то смутно, отрывчато.

Я падалъ, именно не упалъ, а падалъ въ какую-то пропасть, безконечную, бездонную, темную и страшную...

Меня жгло какимъ-то огнемъ, голова пылала, тѣло горѣло...

И еще помню, смутно, какъ какой-то далекій сонъ, тяжелый, жестокой...

Около меня разговаривали....

— Ну, что, какъ?—говорилъ одинъ тревожный голосъ.

— Трудно сказать,—отвѣчалъ другой.

— Неужели умереть?

— Это ужъ зависитъ отъ Бога.

— Развѣ нѣтъ надежды?

— Надежда всегда бываетъ, — отвѣчалъ второй голосъ, — но у него организмъ слабый, ему трудноѣе, чѣмъ другимъ.

— Бѣдный мальчикъ,—сказалъ на это первый голосъ.

Разговаривали, какъ потомъ оказалось, нашъ инспекторъ и гимназическій врачъ.

А я лежалъ и все это слышалъ. Мнѣ захотѣлось крикнуть говорящимъ, что я ихъ слышу, чтобы они перестали говорить, что я не хочу умирать, что мнѣ хочется жить, жить и жить, безконечно жить, всегда жить, никогда не умирая.

Умереть шестнадцати лѣтъ, умереть чуть ли не въ тотъ моментъ, когда именно начинаешь жить уже вполне умственной жизнью.

Боже, какъ тяжело, какъ жутко!..

Я и это сознавалъ.

Я хотѣлъ крикнуть такъ громко, чтобы меня услышалъ весь міръ, но понималъ и то, что, несмотря на всѣ мои усилія, голосъ мнѣ не повиновался, что я не могъ крикнуть.

Бываютъ иногда такіе сны, но на этотъ разъ я понималъ, что это вовсе не сонъ, а дѣйствительно близость возможной смерти.

Можетъ быть, около меня и еще разговаривали, но больше я уже опять ничего не помню.

А вотъ что помню вполне сознательно.

— Ага, вотъ теперь мы молодцомъ.

Это говорилъ нашъ гимназическій докторъ.

Но я плохо видѣлъ его, тѣло мое все еще горѣло, глаза буквально заплыли...

Сознаніе уже полное, но какой-то туманъ.

Болѣзнь моя была страшная, тяжелая—натуральная оспа. Безъ памяти я пролежалъ, все время борясь со смертью, около двухъ недѣль.

Жизнь на этотъ разъ побѣдила. Молодой, хоть и слабый отъ природы организмъ вынесъ ужасную болѣзнь.

Началось томительно-медленное выздоровленіе.

Докторъ навѣдывался дважды въ день, фельдшеръ изъ общаго отдѣленія больницы (я лежалъ въ отдѣльной палатѣ, отдѣленной отъ остальныхъ больничныхъ комнатъ толстой каменной стѣной) раза четыре, а сестра милосердія находилась у моей кровати безотлучно. Ее пригласили специально на этотъ случай, такъ какъ вообще сидѣлокъ у насъ въ пансіонскомъ лазаретѣ не полагалось.

Я уже хорошо понималъ, что начинается выздоровленіе, но всетаки не былъ увѣренъ въ благополучномъ исходѣ.

— Докторъ, скажите откровенно, теперь уже нѣтъ опасности, я не умру?—допытывался я.

— Когда-нибудь въ другой разъ,—шутливо отвѣчалъ докторъ,—но только никакъ ужъ не теперь. Скоро вполнѣ молодцомъ будете, только терпите, голубчикъ. всѣми силами старайтесь не чесать лица, а то вся красота пропадетъ, останетесь рябымъ.

Но меня не это страшило, а то, что я могу умереть. Доктору я и вѣрилъ, и не вѣрилъ.

— А вы всетаки дайте честное слово, — приставаль я къ нему, — что вы въ самомъ дѣлѣ говорите правду, что я непременно буду живъ.

— Да хоть десять честныхъ словъ, — смѣясь говорилъ докторъ.

По его веселому настроенію, конечно, можно было судить, что ничто страшное мнѣ не грозитъ, но я все-таки продолжалъ сомнѣваться.

Къ доктору нельзя было слишкомъ приставать, да къ тому же въ скоромъ времени онъ сталъ навѣщать меня только разъ въ сутки, но зато фельдшера я допекалъ болѣе основательно. Тутъ ужъ я не удовольствовался простымъ „честнымъ словомъ“, а прямо требовалъ, чтобы онъ „побожился“.

И фельдшеръ исполнялъ мое желаніе въ полной мѣрѣ:

— Да говорятъ-же вамъ „ей-Богу“, крестъ меня побей, если вру.

И онъ крестился.

На меня это дѣйствовало успокоительно, но когда уходилъ фельдшеръ, я немедленно-же принимался за сестру милосердія.

Бѣдная женщина! Я таки порядкомъ изводилъ ее разсужденіями о своей возможной смерти, такъ что она иногда даже выходила изъ себя и говорила.

— Перестаньте же, пожалуйста, говорить глупости.

Тогда я обижался.

— Вы не имѣете права грубить мнѣ.

— Да я и не грублю, — съ удивленіемъ отвѣчала сестра.

— Какъ же не грубите, когда говорите, что я глупъ,— возражалъ я.

— Я этого не сказала.

— Какъ не сказали? Вы сказали, что я говорю глупости, а глупости можетъ говорить только глупый человекъ, слѣдовательно, по вашему, я глупъ.

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Я сильно капризничалъ и придирался. Думаю, что бѣдная сестра милосердія искренно желала бы удрать отъ меня за тридевять земель, куда-нибудь за море-океанъ въ тридешатое государство...

Къ сожалѣнію, она этого не могла сдѣлать, а потому и была моею постоянной жертвой.

Наконецъ, ее надоумило. Ей пришла въ голову простая мысль, которая почему-то не осѣнила меня.

— Давайте я вамъ буду читать что-нибудь,—предложила она.

Достали книгъ и дѣло пошло на ладъ. Лично мнѣ читать было нельзя, не позволяли глаза, но сестра милосердія рьяно исполняла свою обязанность, читая почти все время, когда я не спалъ, безъ передышки...

И я все рѣже и рѣже допекалъ ее разговорами о своей смерти...

Да и вообще дѣло пошло на поправку.

Бредъ мой въ началѣ болѣзни, по рассказамъ фельдшера, а равно и тѣхъ воспитанниковъ, которые тогда были въ лазаретѣ (меня отдѣлили дня черезъ два послѣ заболѣванія, когда отчасти опредѣлилось, что болѣзнь заразительная), носилъ буйный и вообще странный характеръ.

Нѣсколько разъ я срывался съ кровати и бѣжалъ куда-то, такъ что меня пришлось ловить и силой укладывать на мѣсто.

При этомъ я поролъ какую-то невѣроятную чепуху: кричалъ, что на меня вотъ-вотъ свалится пирамида, что меня какой-то фараонъ непременно хочетъ ударить по головѣ обелискомъ и что за мной гонятся цѣлыя полчища сфинксовъ.

Вообще, весь бредъ мой носить исключительно древне-египетскій характеръ...

Для другихъ это было мало понятно, и даже у доктора явилась мысль, что, во время болѣзни, я сошелъ съ ума.

Но потомъ, когда я лично могъ сообразить въ чемъ тутъ дѣло, эта непонятная для русскаго мальчика египетская неразбериха объяснилась очень просто и ясно.

Все заключалось въ томъ, что болѣзнь захватила меня какъ разъ въ то время, когда я читалъ историческій романъ „Уарда“, принадлежащій перу извѣстнаго нѣмецкаго писателя Георга Эберса.

Мѣсто дѣйствія этого романа—древнѣй Египеть.

Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ прочитаннаго и образовался мой бредъ, о которомъ фельдшеръ, никакъ не понимая въ чемъ дѣло, говорилъ:

И такія вы страшныя слова все кричали, что просто одинъ ужасъ... „абилисъ“, „свинскъ“... ничего и понять нельзя.

Фельдшеръ нашъ начитанностью и ученостью не отличался, хотя потолковать любилъ.

Я пробовалъ объяснить ему суть дѣла, ссылаясь даже на Библию, но онъ стоялъ на своемъ.

— То, что въ Библии, то было, а этого ничего не могло быть.

И добавлялъ сокрушенно покачивая головой:

— И пишутъ же, прости Господи, такія книги, что изъ за нихъ молодой человекъ чуть ума не рѣшился.

Въ больницѣ нашей я, конечно, бывалъ неоднократно уже ранѣе этого случая. Серьезно боленъ я былъ только этотъ одинъ разъ, но бывали и прежде легкія лихорадки, а потомъ и такъ приходилось „лежать“...

Нападетъ иногда такая лѣнь, что рѣшительно ничего дѣлать не хочется...

Не похвально оно, конечно, что и говорить, но правда прежде всего.

Уроки выучены плохо, а то и совсѣмъ не выучены. Вотъ утромъ и направляешься къ воспитателю.

— Петръ Семеновичъ, позвольте въ больницу.

— Что такъ?

— Нездоровится... голова болитъ.

— Правда?—сомнѣвается воспитатель.

— Болитъ.

— Ну, ступайте,—разрѣшаетъ воспитатель и выдаетъ записку къ фельдшеру.

Являешься въ больницу. Надѣваешь халатъ, туфли и ожидаешь доктора не безъ трепета.

Докторъ, однако, у насъ былъ добрѣйшій.

— Что у васъ тамъ?—спрашиваетъ.

— Голова болитъ.

Посмотрить, покачаетъ сомнительно головой и скажетъ:

— Въ сущности вы здоровы, ну, да такъ ужъ и быть—оставайтесь до завтра.

Поступалъ такъ, разумѣется, не я одинъ. Это практиковалось довольно часто.

„Болѣзнь“ такого рода носила у насъ латино-русское названіе.

Febris pritivoralis!..

А проще сказать—притворная лихорадка.

И не стану утверждать, чтобы „больные“ проводили время слишкомъ ужъ скучно.

Мнѣ думается, совсѣмъ наоборотъ.

Пожалуй даже слишкомъ весело для такого мѣста скорби, какъ больница.

Были между пансіонерами и такіе господа, которые очень ужъ часто „хворали“, такъ что и сами воспитатели замѣчали:

— Да вѣдь вы, кажется, нѣсколько дней тому назадъ были въ больницѣ.

— Былъ.

— У васъ тогда что болѣло?

— Голова.

— А теперь опять голова?

— Н...нѣтъ, — мялся „больной“, — теперь меня лихорадитъ.

— Ну, какъ знаете, — говорить, сомнительно покачивая головою, дежурный воспитатель, — я задержать не могу, а только... того... неудобно какъ-то.

И бывали случаи, когда докторъ, человекъ весьма добродушный, съ позоромъ изгонялъ такого „больного“ изъ лазарета.

Но въ общемъ, однако, „отдохнуть“ позволялось, конечно, если эта болѣзнь-отдыхъ повторялась съ добросовѣстнымъ промежуткомъ времени.

Но всему бываетъ свой конецъ. Поправлялся я сперва довольно медленно, а потомъ, съ приливомъ силъ, значительно быстрѣе.

И вотъ, въ концѣ концовъ, насталь такой день, когда мнѣ сдѣлали ванну и подъ руки (ходить самостоятельно я отъ слабости не могъ) отвели въ общую палату.

Странное ощущеніе испытываетъ человекъ, выздоравливающий послѣ тяжелой и опасной болѣзни.

Совсѣмъ, какъ только-что начинающій ходить младенецъ. Да оно такъ и есть: опасность смерти миновала, наступаетъ новая жизнь. Словно второй разъ на свѣтъ родился.

Помню, когда, спустя нѣсколько дней послѣ перевода моего въ общую палату, мнѣ удалось, наконецъ, самому, безъ посторонней помощи, пройти по всей комнатѣ, я залился такимъ веселымъ и безотчетнымъ смѣхомъ, на который способенъ только самый крохотный ребенокъ, отдающій себѣ весьма плохо отчетъ въ томъ, почему именно ему сдѣлалось смѣшно...

Такъ себѣ, смѣшно, да и только.

Засмѣялся, захохоталъ я на всю палату и... сѣлъ на полъ: у меня не хватило силъ пойти обратно къ своей кровати.

Пришлось взять меня подъ руки, но долго еще послѣ того у меня дрожали ноги.

Постепенно, однако, я приучался „ходить“ и черезъ нѣсколько дней уже держался на ногахъ совершенно твердо.

Лютый недугъ пощадилъ также и мое лицо, слѣдовъ

почти не осталось, а это случается не такъ часто въ подобныхъ случаяхъ.

Словомъ, на этотъ разъ все обошлось для меня вполне благополучно.

Лишь только въ пансіонѣ стало извѣстно о моемъ выздоровленіи, какъ уже на другой день утромъ, передъ началомъ занятій, въ больницѣ побывало рѣшительно все старшее отдѣленіе.

Поздравленіямъ, пожеланіямъ и даже поцѣлуямъ, хоть такая сантиментальность у насъ практиковалась рѣдко, не было конца.

Со всѣхъ сторонъ только и слышалось:

— Поздравляю.

— Улепетнулъ таки изъ лапъ костлявой старухи.

— Скорѣй поправляйся, да и въ пансіонъ.

Но именно въ пансіонъ-то мнѣ вернуться и не пришлось.

Однажды я и двое товарищей, спеціально „заболѣвшіе“ для того, чтобы провести время со мною, сидѣли и читали.

Приходитъ фельдшеръ.

— Къ вамъ пришли,—обратился онъ ко мнѣ.

— Кто?—не безъ удивленія спросилъ я.

— Не знаю, какой-то пожилой господинъ.

Накинувъ на плечи возможно франтоватѣе казенный больничный халатъ и засунувъ ноги въ истоптанныя туфли (мы, впрочемъ, называли ихъ не туфлями, а пантофлями), я направился въ пріемную.

И когда, спустя полчаса, вернулся я со свиданія, то на вопросы товарищей о томъ, кто это ко мнѣ приходилъ, я взволнованный и, самъ ужъ не знаю, радостный или грустный, отвѣчалъ имъ:

— И такъ, господа, до свиданья.

— Какъ прикажешь понимать? — воскликнули товарищи.

— А очень просто: ухожу изъ пансіона.

— Ну-у?..

Сообщеніе это произвело полный эффектъ, но у меня

про запасъ имѣлась и еще болѣе того удивительная новость:

— И изъ гимназіи ухожу, перехожу въ другую.

Тутъ ужъ товарищи прямо не повѣрили и въ одинъ голосъ возопили.

— Врешь!

Но я отнюдь не думалъ лгать. Обстоятельства, дѣйствительно, сложились такимъ образомъ, что мнѣ пришлось оставить и пансіонъ, и гимназію.

XIX.

Въ новый путь.

„Пожилой господинъ“, нанесшій мнѣ неожиданный визитъ въ пансіонскую больницу, былъ мой опекунъ, приходившійся кромѣ того мнѣ близкимъ родственникомъ.

Онъ-то и сообщилъ неожиданное извѣстіе.

Здоровье мое вообще было не изъ крѣпкихъ и нашъ гимназическій докторъ нашель, что дальнѣйшее мое пребываніе въ пансіонѣ для меня тяжеловато...

Тамъ все-таки, хоть насъ держали довольно свободно, существовалъ извѣстный распорядокъ въ жизни, нарушать который было немыслимо ради одного какого-нибудь отдѣльнаго лица, а мнѣ прежде всего, по мнѣнію врача, нужно было возможно болѣе пользоваться свѣжимъ воздухомъ.

Опекунъ мой и предложилъ, если я соглашусь на это, взять меня изъ пансіона и снова сдѣлать приходящимъ воспитанникомъ.

Съ пансіономъ я сжился, но, во всякомъ случаѣ, быть приходящимъ нравилось мнѣ болѣе, а потому, само собой разумѣется, на это предложеніе я согласился съ радостью.

А вотъ уходить изъ гимназіи мнѣ въ сущности не хотѣлось, но были для этого основательныя причины, и когда я ихъ узналъ, то, разумѣется, хоть и не охотно, но пришлось согласиться и на это.

Мнѣ представился случай получить небольшую стипендію, условіемъ полученія коей удовлетворялъ во всемъ городъ только я.

Стипендія эта была учреждена только недавно однимъ большимъ любителемъ минералогическихъ наукъ и предназначалась исключительно для дѣтей лицъ, сдѣлавшихъ при жизни своей что-нибудь по части этой науки.

Покойный отецъ мой былъ минералогъ и, какъ сынъ его, я имѣлъ право на эту стипендію.

Конечно, причина достаточно основательная, чтобы убѣдить меня.

Уходить изъ гимназіи, правда, не хотѣлось, но было и утѣшеніе: стипендія была назначена при той самой гимназіи, гдѣ я учился уже ранѣе, въ первые годы, при жизни отца.

Хотя дружескія связи мои съ товарищами ранняго дѣтства и ослабѣли нѣсколько, но все таки я переходилъ въ уже извѣстное мнѣ учебное заведеніе.

— Снова, значить, изъ „паштета“ сдѣлаешься „карандашомъ“, — шутливо говорили товарищи.

Но все-таки всѣмъ намъ было грустно: за четыре года совмѣстной жизни мы сошлись очень тѣсно, особенно въ послѣднее время, когда появилась уже общность и умственныхъ, и нравственныхъ стремленій.

Но съ другой стороны было и пріятное.

— Да ты гдѣ будешь жить? — спрашивали товарищи.

Пока я и самъ этого не зналъ. Опекунъ мой подыскивалъ подходящее мѣсто, причемъ я, какъ непремѣнное условіе, хотѣлъ чтобы у меня была „своя отдѣльная комната“.

Опекунъ смѣялся, говорилъ, что у меня „аристократическія замашки“, но, конечно, согласился на мое желаніе.

— Мы къ тебѣ будемъ приходить въ гости, — заявляли пріятели.

На это я, уже предчувствуя будущую самостоятельность, шутливо, но не безъ чувства удовлетвореннаго самолюбія отвѣчалъ:

— Милости просимъ.

Наконецъ, подходящее помѣщеніе было найдено въ одномъ милѣйшемъ домѣ нѣкоей вдовы, приходившейся даже, въ смыслѣ родства, какой-то десятой водѣ на киселѣ какимъ-то опять-таки очень далекимъ отцовскимъ родственникамъ. А можетъ быть и нѣтъ, навѣрно не знаю, да оно и не важно.

— Какъ только поправишься окончательно, почувствуешь достаточно силъ, такъ и перебирайся съ Богомъ, — пожелалъ мнѣ опекунь.

Первымъ дѣломъ, когда мнѣ было позволено выйти на воздухъ, я направился освидѣтельствовать мое будущее мѣсто пребыванія.

И хозяйка и, главное, „квартира“ произвели на меня самое благопріятное впечатлѣніе.

Возвратился обратно въ больницу я въ весьма прекрасномъ настроеніи духа, а по пути забѣжалъ въ пансіонъ, гдѣ не преминулъ похвалиться.

— Ну, что, хорошая комната? — на перебой интересовались пріятели.

— Недурная, могу сказать прямо, недурная, — скромно отвѣчалъ я.

— Ну, теперь, братъ, ты долженъ насъ брать „въ отпускъ“, — смѣялись друзья.

— Но только съ условіемъ, — отшучивался я.

— Съ какимъ?

— Ведите себя чинно и благородно, какъ подобаетъ послушнымъ мальчикамъ.

Конечно, „братъ въ отпускъ“ я не могъ никого, но никто не мѣшалъ пріятелямъ, если они того пожелаютъ, приходить ко мнѣ въ гости.

Это было тѣмъ легче, что воспитанники старшихъ классовъ, даже и не имѣвшіе въ городѣ лицъ, къ кото-

рымъ они могли-бы ходить на праздники, пользовались праздничнымъ правомъ проситься на нѣсколько часовъ прямо „въ городъ“.

Такъ и на отпускныхъ билетахъ писалось.

Шутить-то мы шутили, но въ дѣйствительности всёмъ намъ было довольно грустно.

Лично я испытывалъ двойственное чувство: съ одной стороны было жалко разставаться съ добрыми друзьями и нѣсколько страшило будущее „самостоятельное положеніе“, съ другой же стороны разставались съ друзьями мы весьма условно и „самостоятельное положеніе“ представлялось чѣмъ-то заманчивымъ.

Предстояло проститься съ воспитателями и вообще съ начальствомъ.

Чехъ Апоздаль выказалъ полное равнодушіе къ моему уходу.

— Желаю всего хорошаго.

Только всего онъ и сказалъ. Вѣрнѣе всего и эта короткая фраза была выраженіемъ простой вѣжливости. Апоздаль вообще никогда близко съ пансіонерами не сходилъ и, кажется, ни къ кому изъ насъ не чувствовалъ благорасположенія.

А ко мнѣ, какъ я думаю, такъ даже и наоборотъ: его чувства были нѣсколько враждебны.

Съ нѣмцемъ Гартманомъ отношенія наши были значительно лучше.

Помимо воспитательства, онъ еще завѣдывалъ пансіонской бібліотекой.

Я былъ въ этомъ дѣлѣ одинъ изъ его двухъ „помощниковъ“ по части записи и раздачи книгъ.

Эту свою обязанность я исполнялъ рьяно и добросовѣстно, тѣмъ болѣе, что помощники бібліотекаря у насъ не назначались, а выбирались товарищами. Слѣдовательно, это надо было цѣнить, какъ своего рода честь.

Самъ по себѣ Гартманъ, быть можетъ, и не выбралъ бы меня уже по одному тому, что я былъ не „нѣмцемъ“, а „французомъ“, т. е. учился французскому языку, что, по мнѣнію Гартмана, было уже изряднымъ недостаткомъ.

Но противъ свободнаго выбора со стороны воспитанниковъ онъ, разумѣется, не протестовалъ и выборъ ихъ утвердилъ.

„Помощникомъ“ же я оказался прекраснымъ, бібліотеку зналъ наизусть, и потому Гартманъ весьма скоро оцѣнилъ мои достоинства.

Въ особенности при сношеніяхъ съ маленькими воспитанниками.

Тутъ, дѣйствительно, было не такъ то легко, — требовалось основательное знаніе дѣла.

Ученикъ старшихъ классовъ приходилъ и просто спрашивалъ ту или иную книгу.

Найти ее на полкѣ, если она не взята ранѣе кѣмъ-либо другимъ, записать въ книгу, вотъ и все.

А какой-нибудь малышъ просилъ:

— Дайте мнѣ что-нибудь почитать.

Вотъ это самое „что-нибудь“ и смущало нашего Гартмана.

Нельзя сказать, чтобы онъ былъ большимъ знатокомъ по части русской литературы, особенно дѣтской.

Зналъ какой-нибудь десятокъ или полтора названій, и только.

Обыкновенно, на запросъ малыша, онъ и называлъ какую-либо изъ этихъ книгъ.

— Да я уже читалъ ее, — плаксивымъ голосомъ произносилъ малышъ.

Гартманъ на это совѣтовалъ:

— А вы возьмите и почитайте еще разъ. Это очень хорошая книга, ее нужно читать два раза.

Но малышъ на этотъ счетъ тоже имѣлъ „свое собственное мнѣніе“.

— Нѣтъ, Ричардъ Ричардовичъ, вы дайте что-нибудь другое, — просилъ онъ.

Гартманъ снова называлъ заглавіе, а такъ какъ оказывалось, что мальчуганъ и эту книгу уже читалъ, то снова давалъ совѣтъ прочесть ее вторично.

Результаты были тѣже.

Тогда, поставленный въ затруднительное положеніе нѣмецъ обращалъ свои взоры на меня.

— Выручай, молъ.

И я немедленно же давалъ подходящій совѣтъ, такъ какъ всѣ книги пансіонской бібліотеки читалъ и зналъ очень хорошо.

Все кончалось ко взаимному удовольствію: малышь получалъ книгу и удалялся вполне удовлетворенный, бібліотекаръ выходилъ изъ своего затруднительнаго положенія.

Въ скоромъ времени Гартманъ сталъ считать меня, какъ онъ выражался, „книжнымъ человѣкомъ“, а потомъ и прямо говорилъ маленькимъ мальчикамъ, чтобы они обращались со своими требованіями непосредственно ко мнѣ:

— Онъ посоветуетъ, онъ знаетъ.

Съ моимъ уходомъ Гартманъ терялъ, такимъ образомъ, толковаго помощника.

Въ этомъ именно смыслѣ онъ и выразилъ свое искреннее сожалѣніе, когда я съ нимъ прощался.

Впрочемъ, онъ и вообще поговорилъ со мной на прощаніе довольно долго.

Послѣдній его совѣтъ былъ непременно научиться нѣмецкому языку.

— Это необходимо, — говорилъ онъ и, конечно, вполне справедливо, — особенно тому, кто любитъ литературу. У насъ — нѣмцевъ литература превосходная, у насъ есть Гете, Шиллеръ, Гейне, Уландъ, Шильгагенъ...

Гартманъ перечислилъ по меньшей мѣрѣ два десятка именъ...

Я заявилъ, что очень уважаю нѣмецкую литературу и, хоть въ подлинникахъ читать нѣмецкихъ авторовъ не могу, но въ переводахъ читалъ уже кое-что, назвалъ даже нѣкоторыхъ писателей, которыхъ позабылъ перечислить самъ Гартманъ...

— А все таки на нѣмецкомъ языкѣ читать ихъ лучше, — сказалъ воспитатель.

На это я ничего не могъ возразить.

И послѣ того мы разстались добрыми друзьями.

Съ воспитателемъ Иващенко мы простились весьма сердечно...

Этотъ вообще болѣе всѣхъ другихъ находился съ пансіонерами въ близкихъ отношеніяхъ, зналъ ихъ наклонности, способности и прочее.

— Для васъ будетъ лучше, — сказалъ онъ, — когда вы станете приходящимъ. Здоровье у васъ и въ самомъ дѣлѣ не изъ крѣпкихъ, такъ что въ закрытомъ заведеніи вамъ оставаться не стоитъ. Берегите здоровье, а что, пожалуй, еще важнѣе, душу. А будетъ свободная минутка, такъ не забывайте забѣжать сюда къ намъ повидаться со старыми пріятелями. Четыре года, прожитые вмѣстѣ, это не шуточное дѣло.

Пансіонскимъ дядькамъ пришлось, конечно, сдѣлать на прощаніе подарокъ.

На это дѣло я ассигновалъ рубль на человѣка.

Иванъ-Ябеда, принимая кредитку, пожелалъ мнѣ всякихъ благъ и заявилъ:

— Вотъ теперъ, когда вы уже старшій, я на васъ никогда не жаловался, а въ младшихъ классахъ, сами знаете, безъ того было нельзя, потому вѣдь баловство, а развѣ его можно допускать.

Старый Вавиловъ довольно равнодушно засунулъ полученный рубль въ карманъ и сказалъ:

— Господь съ тобой, живи себѣ въ новомъ мѣстѣ на доброе здоровье и не поминай меня старика лихомъ, коли ежели я въ чемъ тебя обидѣлъ, а я на тебѣ обиды не имѣю.

Послѣ того погрузился въ обычное дремотное состояніе.

И вотъ, въ одинъ прекрасный день, сбѣгалъ я за извозчикомъ, собралъ немногочисленные пожитки, состоящіе изъ чемодана съ бѣльемъ и платьемъ, нѣсколькихъ десятковъ книгъ и, сопровождаемый цѣлой кучей товарищей, направился къ выходу.

Церомонія прощанія вышла даже до нѣкоторой степени торжественна. Рукопожатіямъ, пожеланіямъ и поцѣлуямъ было отведено достаточно изрядное мѣсто.

Говорили и каждый порознь, и все вмѣстѣ.

— До свиданья!-- кричали пріятели.

— А вы ко мнѣ навѣдывайтесь,—откликнулся я.

— Будемъ непремѣнно, принимай гостей съ честью и привѣтомъ.

Прощались такъ долго, что извозчикъ сталъ уже поглядывать на меня нетерпѣливо.

Надо было кончать.

— Трогай,—разрѣшилъ я, наконецъ.

Извозчикъ чмокнулъ, подобралъ возжи и дрожки, подпрыгивая по булыжной мостовой, стали отдаляться отъ желтаго зданія гимназiи.

Съ крыльца доносились привѣтственные возгласы, я отвѣчалъ, снимая кепи...

И такъ, я очутился въ новомъ положенiи, ѣхалъ, такъ сказать, на „собственную квартиру“.

Путь былъ не очень далекий, и когда гимназiя скрылась за поворотомъ въ слѣдующую улицу, я поудобнѣе разѣлся на дрожкахъ и принялъ „независимый видъ“ свободнаго человѣка.

Довольно ободранный возница лѣниво похлестывалъ свою жалкую клячу.

Я сидѣлъ и думалъ: каково-то будетъ житься на новомъ мѣстѣ?

XX.

„У себя“.

Осторожный стукъ въ дверь пробуждаетъ меня отъ сладкаго сна.

— Кто тамъ?

— Это я, Левъ Михайловичъ, уже десять часовъ, а вы вчера просили васъ разбудить не позже девяти. Ну, а я и думаю, пусть себѣ поспитъ лишній часокъ.

Это говоритъ моя квартирная хозяйка Клавдiя Васильевна.

— Благодарю васъ, сейчасъ встану,—отвѣчаю я, но затѣмъ сейчасъ же засыпаю опять.

Впрочемъ, такъ какъ время уже достаточно позднее, то черезъ какихъ-нибудь десять минутъ я снова просыпаюсь, на этотъ разъ уже самъ, безъ всякаго посторонняго воздѣйствія, и начинаю, не слишкомъ торопясь, одѣваться.

Чувства довольно странныя: я все никакъ не могу толкомъ сообразиться.

Слишкомъ ужъ привыкъ за истекшіе четыре года жить по сигнальному звонку.

Вставать—отчаянный трезвонъ на все пансіонское помѣщеніе, чай пить—снова трезвонъ, обѣдать—такой же трезвонъ, идти на занятія—то же самое.

Теперь совѣмъ не то.

— Чай готовъ. Какъ будете пить: у насъ или у себя? — спрашиваетъ меня изъ за двери квартирная хозяйка.

Сегодня праздникъ, потому отвѣчаю:

— Я бы у себя, если можно.

— Хорошо,—отзывается Клавдія Васильевна,—сейчасъ скажу подать.

По буднямъ, когда спѣшишь, чтобы не опоздать въ гимназію, во-первыхъ, и встаешь ранѣе, а, во-вторыхъ, разводить „чайныя церемоніи“ времени нѣтъ. Идешь въ столовую, наскоро проглатываешь стаканъ, другой чаю съ молокомъ и булкой или просто молока, накидываешь на спину ранецъ и черезъ пять минутъ уже шагаешь по улицамъ города по направленію къ гимназіи.

Въ праздникъ же можно побаловаться, спѣшить некуда, и потому какъ-то особенно пріятно попить чайку „у себя“.

Это „у себя“ состоитъ изъ маленькой, но очень чистой и веселой комнатки съ голубыми обоями, въ одно окошко, выходящее въ садъ.

Но для меня этой маленькой комнатки вполне достаточно.

На мой личный взглядъ она и обставлена съ до-

статочнымъ комфортомъ: кровать съ чистымъ бѣльемъ и свѣжей наволочкой, у изголовія табуретка, у окна „письменный столъ“, въ сущности простой, бѣлый, но обтянутый клеенкой, около стола плетеный стулъ, который я громко именую „кресломъ“, кромѣ того еще пара вѣнскихъ стульевъ, а на стѣнѣ двѣ полки съ книгами. Учебныя книги стоятъ столбикомъ на столѣ, а на полкахъ „библіотека“...

Тутъ все хорошіе друзья: Пушкинъ, Некрасовъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ и многіе другіе любимые мною авторы, за чтеніемъ которыхъ я забываю рѣшительно весь міръ земной.

Читать я ихъ готовъ безъ конца. Сперва считаешь немного Пушкина, потомъ Некрасова и такъ далѣе. Насладишься стихами, берешься за прозу.

Книгъ у меня около сотни томовъ, всѣ ихъ я знаю почти на память.

Словомъ, новой своей обстановкой я весьма доволенъ. Первые дни мнѣ было довольно странно, даже какъ-то неловко, но уже черезъ нѣсколько дней я совершенно освоился съ моей „собственной квартирой“ и сталъ себя чувствовать, какъ рыба въ водѣ.

Праздничный день — дѣло великое. Можно съ полной увѣренностью сказать, что сегодня у меня непременно будутъ гости.

Часу въ первомъ раздается звонокъ, потомъ звукъ голосовъ.

— Онъ дома?

— Дома, прошу входить, — отзывается Клавдія Васильевна и потомъ ужъ говоритъ мнѣ.

— Левъ Михайловичъ, къ вамъ пришли гости.

Изъ простого Медвѣдева для пансіонскаго начальства или, въ крайнемъ случаѣ, „господина Медвѣдева“ для пансіонерскихъ дядекъ, я сдѣлался „Львомъ Михайловичемъ“.

Все-таки, могу признаться, вещь довольно пріятная: сознаешь себя до нѣкоторой степени взрослымъ. Сознаніе того, что теперь я уже съ именемъ и отчествомъ,

т.-е. тоже не лыкомъ шить, наполняетъ мою юную душу извѣстной долей самолюбія...

Для полного его удовлетворенія я не могъ удержаться отъ соблазна и разорился на цѣлый цѣлковый: заказалъ себѣ сотню визитныхъ карточекъ, гдѣ кромѣ имени, отчества и фамиліи значится также и адресъ.

Эти карточки я раздавалъ своимъ знакомымъ довольно щедро.

— На, вотъ, на всякій случай, чтобы не забыть адреса.

Въ общемъ удалось уже раздать этихъ карточекъ десятка полтора.

Ну, развѣ это не пріятно?

Праздничные гости чаще всего пансіонеры: Цыбульскій, Самчукъ, Ельниковъ и другіе.

Каждый разъ они, поздоровавшись со мной и справившись о томъ, какъ я поживаю, добавляютъ:

— А и хорошо у тебя здѣсь.

— Да, ничего себѣ,—скромно отвѣчаю я, — ну, а у васъ тамъ какъ, все благополучно?

Начинаются рассказы о томъ, о семъ. Дѣлами пансіона я, конечно, продолжаю интересоваться и всѣ „новости“ очень близки моему сердцу.

Въ свою очередь и я передаю все, что нахожу интереснаго „о другой гимназіи“...

Главнымъ образомъ сравненіе учителей новыхъ и старыхъ.

— А грекъ у васъ каковъ, строгій?—освѣдомляются друзья.

— Нѣтъ, грекъ у насъ хорошій, снисходительный,—съ величайшимъ удовольствіемъ слѣдуетъ отвѣтъ съ моей стороны.

— Вызывалъ тебя?

— Да.

— И сколько поставилъ?

— Четыре.

— Ну-у?—слѣдуетъ удивленный возгласъ.

Оно и въ самомъ дѣлѣ удивительно. Въ первой гим-

пазіи учитель греческаго языка былъ очень взыскательный и больше тройки я у него никогда не получалъ. А тутъ, вдругъ, четверка.

Пріятели даже сомнѣваются.

— Неужели такъ-таки и поставилъ четыре. Не врешь?

— Ну, вотъ еще. Съ какой же стати мнѣ врать.

Самчукъ покачиваетъ головой и не безъ лукавства замѣчаетъ:

— Да, у нихъ грекъ, надо думать, дѣйствительно снисходительный, если ему ставить четверки. Для этого нуженъ не учитель, а идеаль доброты и снисходительности.

Замѣчаніе это приводитъ всѣхъ въ самое веселое настроеніе.

А тѣмъ временемъ въ передней снова раздается звонокъ, и опять вопросъ:

— Дома?

— Дома, дома, пожалуйста, — отвѣчаетъ Клавдія Васильевна, и снова кричитъ мнѣ:

— А къ вамъ еще гости.

Оказывается — товарищи изъ новой гимназіи. Переходъ мой туда сопровождался возобновленіемъ хорошихъ отношеній съ друзьями ранняго дѣтства.

Саша Натаровъ, Коля Бирюковъ и другіе, но только уже не малыши, съ которыми нѣкогда мы играли въ индѣйцы, а подростки, почти юноши.

Входятъ и эти.

На правахъ гостепріимнаго и вѣжливаго хозяина знакомя между собою старыхъ и новыхъ друзей.

— Позвольте представить: Натаровъ, Самчукъ.

— Очень пріятно познакомиться.

— Цыбульскій, Бирюковъ.

— Очень пріятно...

— Словомъ, все, какъ тому и слѣдуетъ быть. По началу разговоръ не очень клеится.

— А мы къ тебѣ по дѣлу, — заявляетъ Натаровъ.

— Что именно?

— У тебя, кажется, есть тотъ томъ Бѣлинскаго, гдѣ находится его главная статья о Пушкинѣ.

— Есть.

— Дай, пожалуйста, на нѣсколько дней... нужно.

И тутъ постепенно завязывается общій разговоръ. Черезъ какой-нибудь десятокъ минутъ натянутое настроеніе сглаживается, а еще спустя немного между новыми знакомыми завязывается уже и споръ.

А тутъ какъ разъ, прямо, можно сказать, во время, за дверью раздается голосъ Клавдіи Васильевны.

— Левъ Михайловичъ, можетъ-быть гости напьются чайку. У меня самоваръ готовъ.

— Очень благодаренъ, пожалуйста, — отзываюсь я на это.

Пріятно, знаете ли, чувствовать себя настоящимъ хозяиномъ, который въ собственной квартирѣ можетъ, не ударивъ въ грязь лицомъ, угостить своихъ добрыхъ знакомыхъ чаемъ, и не какъ-нибудь просто, а съ молокомъ, лимономъ, булкой и даже сухарями.

Это не всякому гимназисту дано.

На столѣ появляется шипящій самоваръ, отъ котораго паръ валитъ валомъ.

За чаемъ бесѣда становилась еще болѣе оживленной. Если же у меня случались лишнія деньги, то я „ставилъ“ и другое угощеніе: сыръ, колбасу, ветчину, масло.

Иногда и сами „гости“ приносили хозяину угощеніе, въ родѣ, напримѣръ, сладкихъ пирожковъ, мармеладу, пастилы или чего-либо иного.

Хозяинъ для соблюденія тона говорилъ:

— Ну, вотъ еще... съ какой это стати ты тратишься.

Но приношеніе всегда принималось съ благодарностью, и въ самомъ скоромъ времени отъ него оставались только пріятныя воспоминанія.

Часа въ три пансіонеры раскланивались, имъ нужно было уходить.

— А съ вами, Натаровъ, очень пріятно потолковать, — говорилъ Самчукъ, прощаясь и пожимая руку новаго знакомаго, — въ слѣдующій разъ я надѣюсь встрѣтиться и тогда я представлю вамъ нѣкоторыя соображенія по тому вопросу, по которому у насъ разногласіе.

— Съ удовольствіемъ выслушаю, — отвѣчалъ Натанъ, — но только, мнѣ думается, вы здѣсь взяли неправильную точку зрѣнія.

У дверей прощались Цыбульскій съ Бирюковымъ.

— Эхъ, — говорилъ первый, — какъ не хочется уходить отсюда въ пансіонъ. Здѣсь такъ весело. И счастливы же вы, господа приходящіе.

— Ничего, потерпите... только вѣдь два года остается, — говорилъ „приходящій счастливецъ“...

Да, „только два года“...

Въ то время это казалось такимъ незначительнымъ срокомъ.

Тогда говорилось „только два года“, а теперь, когда что-нибудь вспоминаешь, съ грустью произносишь:

— Вотъ уже и два года прошло съ того времени, когда...

И невольно думаешь: неужели *уже* два года. Боже мой! Какъ быстро несется время, а вѣдь два года это такъ долго, сколько воды за этотъ промежутокъ времени утекло, сколько событій смѣнилось, сколько людей ушло съ житейской сцены, чтобы уже никогда не возвратиться обратно, никогда, никогда...

„Только два года“ и „уже два года“ — это большая разница, такая, какая существуетъ между расцвѣтающею юностью и надвигающеюся старостью.

Собирались мы иногда и по вечерамъ, наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Тогда было еще какъ-то веселѣй, теплѣй и уютнѣй въ моей маленькой комнаткѣ.

Иногда любила къ намъ зайти и посидѣть съ нами полчаса моя квартирная хозяйка.

У Клавдіи Васильевны Аршаницыной я прожилъ все время до окончанія ученія.

Я сохранилъ о ней наилучшія воспоминанія; полагаю, что и она обо мнѣ тоже.

Вдова офицера, женщина еще не старая, но замѣчательно привѣтливая, она какъ-то по родственному привязалась ко мнѣ.

У нея былъ сынъ, но умеръ въ дѣтскомъ возрастѣ... Эту потерю ей трудно было забыть...

Вотъ теперь мой Васенька былъ бы уже такой, какъ вы... даже постарше немного, — нерѣдко говорила она мнѣ...

И глаза ея заволакивались невольными слезами.

Быть-можетъ, именно въ силу этихъ грустныхъ воспоминаній, она относилась ко мнѣ такъ ласково и мягко,

Она всегда старалась почти по матерински доставить мнѣ удобства и удовольствія...

И я какъ-то случайно услыхалъ ея разговоръ съ одной изъ знакомыхъ.

— Онъ вѣдь сирота, такой худенькій, блѣдненькій... такъ пусть ужъ чувствуетъ себя здѣсь, какъ въ родномъ домѣ.

Это она, какъ я понялъ, говорила обо мнѣ.

Если иногда было задано много уроковъ и приходилось засидѣться попозднѣе, то Клавдія Васильевна всегда искренне сокрушалась по этому поводу:

— Экіе какіе эти учителя, какъ много задають... Вѣдь такъ недолго и здоровье потерять.

А ларчикъ открывался весьма просто: довольно лѣнивый по природѣ, я оттягивалъ, по возможности, время, когда нужно было садиться за уроки. Вотъ и приходилось потомъ сидѣть иногда до поздней ночи.

И когда я объявилъ Клавдіи Васильевнѣ, что, по окончаніи гимназіи, уѣду учиться въ столичный университетъ, она была огорчена совершенно искренно:

— И охота вамъ забираться Богъ знаетъ въ какую даль, въ чужой городъ. Развѣ у насъ тутъ университетъ хуже вашего столичнаго. Такіе же доктора выходятъ и лѣчатъ, слава Богу, не хуже вашихъ питерскихъ и московскихъ. И адвокаты такіе же, и учителя. Оставайтесь-ка вы лучше тутъ, да такъ у меня и живите себѣ на доброе здоровье.

И въ день моего отъѣзда она очень горевала и даже всплакнула не на шутку.

Раза два, будучи студентомъ, я приѣзжалъ изъ сто-

лицы въ городъ К. и каждый разъ навѣщалъ мою бывшую квартирную хозяйку.

Я даже останавливался у нея и встрѣчи наши носили самый дружескій характеръ.

А потомъ я какъ-то пріѣхалъ и уже не нашель Клавдіи Васильевны.

Сошла съ житейской сцены и она.

XXI.

Послѣ долгой разлуки.

Въ первые моменты мы даже чувствовали себя неловко, словно два почти незнакомые челоѡвка.

Но это было недолго, и въ скоромъ времени мы уже забрасывали другъ друга вопросами:

— А помнишь, какъ ты вымазалъ мнѣ лицо вареньемъ?

— Помню. А вотъ помнишь ли ты, какъ сейчасъ же побѣжала и наябедничала на меня папѣ?

— И тебя потомъ поставили въ уголъ.

— А тебѣ стало меня жалко.

— Ну, вотъ еще... ни капельки не жалко.

— А почему же ты плакала, когда меня продержали въ углу полчаса и все еще не хотѣли выпустить?

— Да я вовсе и не плакала.

— Нѣтъ плакала, даже, можно сказать, ревѣла.

— Фу, какія ты выраженія употребляешь... совѣмъ какъ тогда, а ужъ, кажется, не маленькій.

Да, теперь оба мы были далеко не маленькіе. Мнѣ оставалось нѣсколько мѣсяцевъ до окончанія гимназіи, а Лидочка, та самая маленькая дѣвочка, „кузина“, съ которой мы шесть лѣтъ тому назадъ, послѣ смерти моего отца, разстались, возвратилась обратно въ К. уже по окончаніи, прошлой весной, института въ одномъ изъ южныхъ городовъ.

Этотъ годъ она отдыхала, а будущей осенью пред-

полагала ѣхать для продолженія своего образованія или на высшіе женскіе курсы, или за границу.

Этотъ вопросъ еще не былъ рѣшенъ окончательно.

Мачеха сильно осунулась за эти годы. Мы изъ дѣтскаго возраста перешли въ юношескій, а ея время стало уже склоняться къ закату.

Я, какъ и раньше, въ дни безмятежнаго дѣтства, называлъ ее мамой...

Мнѣ какъ-то особенно пріятно и сладко было произносить это слово..

Вѣдь для меня эта добрая женщина, въ свое время, замѣняла родную мать, которую я если и помнилъ, то лишь въ смутномъ туманѣ, какъ какой-то прекрасно-ласковый, но едва уловимый памятью образъ...

Какъ только я получилъ извѣстіе, что мачеха съ племянницей пріѣзжаютъ въ К., то сильно взволновался, а въ день ихъ пріѣзда ожидалъ на вокзалѣ поѣзда задолго до его прибытія...

Шесть лѣтъ я никого изъ нихъ не видѣлъ. Лѣтомъ, когда въ пансіонѣ нельзя было оставаться, я жилъ или у своего опекуна, или уѣзжалъ въ деревню, но за все это время мачеха не навѣдывалась въ К.

Изрѣдка мы переписывались, но и только. О кузинѣ своей я и совсѣмъ ужъ мало имѣлъ свѣдѣній.

Зналъ только изъ писемъ мачехи, что ученіе ея идетъ благополучно и что она жива и здорова.

Постепенно образъ этихъ двухъ дорогихъ для меня лицъ становился все болѣе и болѣе тусклымъ, отодвигался отъ меня, но въ тотъ моментъ, когда я узналъ, что мнѣ снова придется свидѣться съ ними, все это прошло какъ-то разомъ, и онѣ стали для меня столь же близки и дороги, какъ ранѣе...

Конечно, мачеху я узналъ сейчасъ же по выходѣ ея изъ вагона, но про Лидочку только догадался.

Встрѣться я съ нею одинъ на одинъ, я бы навѣрно не узналъ ее. Перемѣна была сильная.

То же самое, конечно, было и съ моей стороны. Вотъ почему при встрѣчѣ мы дичились одинъ другого.

Мы даже начали было говорить „на вы“, но мачеха

сейчасъ же замѣтила намъ, что „брату и сестрѣ“ такъ относиться другъ къ другу не подобаетъ.

Послѣ этого справедливаго замѣчанія мы перешли „на ты“, и это слово незамѣтно сдѣлало свое дѣло...

Подичились немного, а потомъ ледъ растаялъ и все пошло по старому.

Какъ никакъ, а мы были уже, хоть и совѣмъ, совѣмъ юными людьми, но уже съ воспоминаніемъ о прошломъ, и первые дни только о немъ и вспоминали...

Каждая мелочь, каждый случай изъ дѣтской жизни доставлялъ намъ богатый матеріалъ для бесѣды.

Но къ воспоминаніямъ присоединилось и другое, чего въ дѣтствѣ быть не могло: надежды на будущее, планы дальнѣйшей жизни.

Мачеха предложила мнѣ поселиться на квартирѣ вмѣстѣ съ нею.

— И тебѣ, — говорила она, — будетъ удобнѣе и намъ не такъ жутко: все-таки мужчина въ домѣ.

„Все-таки мужчина“ — это довольно лестно для семнадцатилѣтняго юноши...

Я сталъ было даже колебаться: не бросить ли мнѣ мою „собственную квартиру“, но послѣ нѣкоторыхъ размышленій по этому поводу рѣшилъ, что лучше ужъ оставить все по старому.

Съ одной стороны мнѣ не хотѣлось стѣснить мачеху, съ другой — самого себя, такъ какъ въ послѣднее время „на моей квартирѣ“ собиралась постоянно цѣлая куча товарищей, а потому шумъ и гамъ стояли изрядные.

Да и прожить въ К. мнѣ предстояло уже недолго.

По окончаніи гимназій я твердо рѣшилъ уѣхать въ столичный университетъ.

Эти соображенія я высказалъ мачехѣ и, хоть не безъ грусти, она признала ихъ правильностью.

— Да, теперь ужъ ты взрослый, — задумчиво говорила она, — время идетъ и идетъ... даже не замѣчаешь. Но, во всякомъ случаѣ, ты почаще приходи къ намъ. Если не каждый день, то какъ только возможно.

Я, конечно, далъ торжественное слово и исполнялъ

его добросовѣстно: приходилъ не менѣе трехъ разъ въ недѣлю, хотя и жилъ совсѣмъ въ другой части города.

Лидочка читала много, вѣроятно не меньше моего. Мачеха любила послушать, когда читають въ слухъ, а потому я старался отдѣлаться отъ уроковъ какъ можно раньше, чтобы имѣть вечеръ въ своемъ распоряженіи.

Пили чай и поочередно читали, конечно, обмѣниваясь впечатлѣніями и взглядами на прочитанное.

Въ уютной семейной квартирѣ, въ свѣтлой столовой комнатѣ вечера проходили незамѣтно...

Во всемъ этомъ былъ послѣдній отголосокъ дѣтства, послѣднія вѣпшыки лучшей поры жизни.

Эти нѣсколько мѣсяцевъ, быть-можетъ, были пріятнѣйшими изъ всей моей жизни.

„Писательствомъ“ я занимался по-прежнему съ необычайнымъ рвеніемъ.

Чернилъ, перьевъ и бумаги изводилъ огромное количество, главнымъ образомъ на стихи.

У меня имѣлась толстѣйшая тетрадь, гдѣ тщательнѣйшимъ почеркомъ были переписаны плоды моей творческой фантазіи.

Отдѣльныхъ стихотвореній набралась уже добрая сотня, на самыя разнообразныя темы.

Въ огромномъ большинствѣ все это было ужасно плохо и не стоило, какъ говорится, ни гроша, хотя я лично не взялъ бы за эти сокровища и милліона.

Оно, конечно, это говорится болѣе для краснаго словца, да къ тому же, разумѣется, никто бы мнѣ этихъ милліоновъ и не далъ. Думаю, что такого страннаго человѣка, который предложилъ бы за мои писанія милліоны, не нашлось бы даже среди величайшихъ безумцевъ всѣхъ временъ и народовъ. Но могу сказать только, что писанія мои лично для меня были очень дороги и отказаться отъ этого занятія я бы ни за что не согласился.

Однако, среди массы написаннаго, которое рѣшительно никуда не годилось, было всетаки нѣсколько довольно сносныхъ вещицъ, конечно, если отнести сънисходительно къ семнадцатилѣтнему стихотворцу.

Лидочкѣ и мачехѣ о своихъ литературныхъ опытахъ я рѣшилъ не говорить ни слова...

Иногда былъ близокъ къ тому, чтобы проболтаться, но справился съ этимъ желаніемъ и удержалъ языкъ за зубами, даже и намека не сдѣлалъ.

И вдругъ, въ одинъ прекрасный день, моя тайна открылась самымъ неожиданнымъ образомъ, неожиданнымъ отчасти и для меня самого.

У одного изъ моихъ товарищей, въ домѣ коего мы нерѣдко сходились, былъ братъ, студентъ одного изъ старшихъ курсовъ городского университета.

Случайно какъ-то въ его руки попало нѣсколько моихъ стихотвореній: младшій братъ, мой товарищъ, не удержалъ и показалъ.

И когда почтенный студіозъ необычайно мрачнымъ голосомъ выразилъ свое желаніе „потолковать относительно стиховъ“, я сконфузился отчаянно.

Однако, отказаться отъ этой бесѣды было неловко.

— Видите ли, молодой другъ мой (до этого времени я и видѣлъ-то этого угрюмаго господина всего лишь нѣсколько разъ, такъ что и самъ не понимаю какимъ образомъ получилъ право на прозвище „друга“, хотя и молодого),— началъ онъ замогильнымъ голосомъ,—я прочиталъ ваши стихи...

Я то краснѣлъ, то блѣднѣлъ, но промолчалъ.

А студентъ продолжалъ:

— Скажу вамъ правду... очень много чепухи... Вы не обижайтесь, а есть ерунда ужасная.

Вступленіе было отнюдь не изъ пріятныхъ, но нечего было дѣлать, приходилось выслушать до конца.

— Подобную чушь,— строго продолжалъ студіозъ,— и безъ васъ пишутъ пудами. Это напрасный изводъ бумаги, чернилъ и перьевъ. Трата, во всякомъ случаѣ, совершенно непроизводительная, ибо все это стоитъ денегъ, которыя даромъ не даются. Конечно, вамъ этого не понять, такъ какъ до сихъ поръ вы лично никогда еще ничего не заработали (мой строгій собесѣдникъ не зналъ, очевидно, о тѣхъ двухъ рубляхъ, которые я по-

лучилъ за обученіе стихотворству своего товарища Вельчопольскаго), а всегда существовали на готовыя денежки... Да!.. Полагаю, что съ этими словами вы и сами будете согласны.

Не знаю ужъ, право, былъ ли я въ то время согласенъ съ этими справедливыми словами, но знаю только, что думалъ совершенно искренно:

— И чего это ты, чортъ бы тебя взялъ, привязался ко мнѣ: вѣдь я твоего мнѣнія не спрашивалъ.

Я отъ всей души проклиналъ нескромность товарища, посвятившаго своего милаго брата съ сокровенныя тайны моего творчества и показавшаго ему мои рукописи.

Но конецъ рѣчи студента былъ нѣсколько иной:

— Много вы настрочили глупостей, но, однако, между массой написаннаго хлама я нашелъ двѣ, три вещицы не лишеныя смысла... И стихъ, и размѣръ, и содержаніе, все какъ слѣдуетъ быть въ сносныхъ стихахъ. Мнѣ кажется, что въ васъ что-то такое сидитъ... не ахти что такое, но все-таки есть. Иначе говоря, если вы серьезно поработаете, то изъ васъ, быть-можетъ, что-нибудь и выработается. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ кажется. Впрочемъ, я долженъ вамъ сказать откровенно, что это только мое личное мнѣніе, а самъ я въ стихахъ не достаточно толковый судья. Вотъ почему я отобралъ кое-что и рѣшилъ показать одному моему пріятелю. Онъ писатель, работаетъ въ газетахъ и хоть такими пустяками, какъ стихи, самъ и не занимается, но, вѣроятно, понимаетъ въ нихъ болѣе, нежели мы съ вами. Посмотримъ, каково будетъ его мнѣніе. Если онъ одобритъ, то, пожалуй, что-нибудь для васъ можно будетъ сдѣлать.

Послѣ этого онъ, пожавъ мнѣ, однако, весьма крѣпко руку, удалился съ мрачнымъ видомъ.

Вообще, это былъ очень мрачный господинъ.

Я остался въ полнѣйшемъ недоумѣніи, но, во всякомъ случаѣ, былъ не только обиженъ, а и перепуганъ.

— Для чего ты ему показалъ,—набросился я на товарища,—я тебя вѣдь не просилъ показывать. Теперь онъ передастъ какому-то тамъ своему знакомому. Пойдетъ

обсужденіе, насмѣшки. Очень пріятно!.. А все ты виноватъ.

Товарищъ сконфуженно молчалъ. Въ самомъ дѣлѣ: онъ вѣдь былъ таки виноватъ.

Мы даже разстались нѣсколько сухо, а я въ теченіе нѣсколькихъ дней былъ въ очень скверномъ расположеніи духа и, думая только объ этомъ, впалъ въ изрядную разсѣянность во всемъ другомъ.

Лидочка замѣтила это.

— Что такое съ тобой?—участливо спрашивала она.

— Ничего,—уныло отзывался я.

— Здоровъ ли ты?

— Какъ быкъ,—съ нѣкоторой злобой отзывался я.

— Хорошія выраженія подбираешь, нечего сказать,—не безъ досады замѣчала на это Лидочка.

Я моментально же чувствовалъ раскаяніе за свою грубость.

— Бога ради, прости меня... я что-то раздраженъ.

— Но почему?—спрашивала уже тревожно Лидочка.

— Право, самъ не знаю.. такъ, безъ причины.

Но такое настроеніе длилось всего лишь нѣсколько дней. Постепенно оно изгладилось.

Все снова пошло обычнымъ порядкомъ.

Мрачнаго критика моихъ произведеній я не встрѣчалъ довольно долго, а потому позабылъ и о немъ.

Но вотъ, въ одно изъ воскресеній, я, по обыкновенію, въ полдень позвонился въ квартиру мачехи.

Меня встѣтила Лидочка, но какая-то странная, суетливая и совершенно встревоженная.

— Фу ты, какъ поздно!—воскликнула она.

— Помилуй, какое же поздно. Только вѣдь двѣнадцать часовъ. Я раньше никогда и не приходилъ,—совершенно справедливо замѣтилъ я по этому поводу.

— Но я тебя жду съ девяти часовъ.

— По какой причинѣ?

— Но, суди самъ, это все довольно странно.

— Что странно?—вопросилъ я съ полнымъ удивленіемъ, такъ какъ не могъ ожидать ровно ничего страннаго.

— Твоя фамилія, твои имя. Неужели жетакое совпаденіе?

— Въ чемъ дѣло, объяснись толкомъ. Я, честное слово, не понимаю твоихъ словъ. Ты говоришь загадками.

— Никакихъ загадокъ... смотри самъ.

И съ этими словами Лидочка сунула мнѣ прямо подъ самый носъ (ей можно это простить, ибо она была очень взволнована) номеръ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Я посмотрѣлъ, сначала не повѣрилъ своимъ собственнымъ глазамъ, протеръ ихъ, чтобы еще разъ удостовѣриться, а послѣ того совершенно растерялся.

Въ газетѣ были напечатаны стихи, а подъ ними цѣликомъ моя фамилія, мое имя.

— Неужели твое?—воскликнула Лидочка, взглянувъ на меня глазами полными не то радости, не то страха.

Такъ какъ стихотвореніе было мое и сверхъ того, добровольно не совершая никакого преступленія (я вѣдь и самъ ничего подобнаго не ожидалъ), я былъ, такъ сказать, захваченъ на мѣстѣ его совершенія, то мнѣ осталось только еле-еле слышнымъ голосомъ прошептать:

— Мои... конечно... мои.

— И ты молчалъ, ты никогда ни единымъ словечкомъ не обмолвился, что пишешь. И кому? Лучшему твоему другу. Хорошо, нечего сказать, хорошо.

Мнѣ осталось только повиниться. Я объяснилъ все, даже о критическомъ отзывѣ студента рассказалъ.

Тогда Лидочка пришла въ страшное негодованіе:

— Онъ глупецъ!—воскликнула она звонкимъ голосомъ.

Но потомъ мы рѣшили, что онъ просто только очень строгій цѣнитель.

Вѣдь, въ сущности, онъ-то и былъ косвенной причиною того, что стихи мои попали въ печать.

Скоро мы очень развеселились. Я обѣщала Лидочкѣ показать и другіе плоды своего творчества.

— Всѣ, рѣшительно всѣ, я хочу перечитать ихъ всѣ.

Приказаніе было такъ рѣшительно, что ослушаться я не посмѣлъ.

— Да, вотъ что, — сказала Лидочка, — я вся горю отъ нетерпѣнія, такъ изволь сейчасъ же отправляться домой, захвати свои рукописи и къ обѣду возвращайся.

Просить себя я не заставилъ. Это тѣмъ болѣе, что, во-первыхъ, послѣ испытаннаго потрясенія, мнѣ было далеко не лишнимъ вздохнуть чистымъ воздухомъ, во-вторыхъ, я по пути надѣялся встрѣтить хоть кого-нибудь изъ товарищей (для чего рѣшилъ, хоть это было и не очень по дорогѣ, пройти главной улицей), а въ-третьихъ, желалъ купить номеровъ газеты съ моими стихами на всѣ наличные капиталы.

А у меня таковыхъ было слишкомъ рубль.

Странная случайность: первое знакомое лицо, попавшееся мнѣ на встрѣчу, когда я поворотилъ на главную улицу, былъ не кто иной, какъ именно суровый критикъ.

— А, юноша, мое почтеніе!—воскликнулъ онъ, и уже вовсе не мрачно

— Здравствуйте,—началь было я, но онъ перебилъ:

— Видѣли?

— Видѣлъ... благодарю васъ,—радостно заговорилъ я.

— Я тутъ не при чемъ. Хорошо, ну и напечатали. Помните, я и тогда сказалъ вамъ, что у васъ несомнѣнный талантъ. Да я и всегда утверждалъ это, я всѣмъ это говорилъ, и не ошибся.

Пусть это и не совсѣмъ такъ, но я былъ безконечно счастливъ.

Затѣмъ студентъ снова перешелъ на мрачный тонъ и объявилъ:

— Извольскій (это его знакомый сотрудникъ газеты) сказалъ, что всего они выбрали три стихотворенія. Остальное гадость. Вы сходите-ка сами въ редакцію и спросите Извольскаго. Скажите, что я прислалъ. Тамъ все и узнаете. Однако, до свиданья. Я спѣшу.

Весь этотъ вечеръ мы съ Лидочкой читали мои стихи.

Какъ критикъ, кузина была болѣе чѣмъ снисходительна. Она такъ хвалила меня, что, будь я самонадѣянь, я бы возомнилъ себя великимъ поэтомъ.

— Ты поѣдешь въ Москву,—говорила Лидочка, прощаясь,—тамъ дорога шире. Тамъ журналы, газеты. Но только дай слово, что все написанное ты прежде всего будешь приносить мнѣ. Никому другому, а мнѣ. Хорошо? Честное слово?

Могъ ли я не объщать.

И болѣе усерднаго читателя моихъ стихотворныхъ грѣховъ я не могъ найти...

Дружба дѣтскихъ лѣтъ замѣнилась другой, болѣе осмысленной и сознательной.

Послѣ „долгой разлуки“ мы сдружились уже на почвѣ умственныхъ интересовъ.

Ахъ, милая моя сестренка, дорогая Лидочка, славный другъ, зачѣмъ и ты ушла изъ этого міра такъ неожиданно, такъ рано?

XXII.

Послѣдній разъ.

Почти два мѣсяца усиленныхъ занятій и постоянныхъ тревогъ.

Физически мы сильно утомлены, но нравственный подъемъ духа въ насъ великъ.

Вотъ и послѣдній экзамень. Экзамень для большинства нетрудный — исторія, но это, пожалуй, самый тревожный день въ нашей гимназической жизни.

Еще бы: въ этотъ день мы послѣдній разъ гимназисты. А дальше... прощай, гимназія!

Насъ вызываютъ по алфавиту, каждый поочередно подходитъ къ длинному, покрытому зеленымъ сукномъ столу, за которымъ возсѣдаетъ экзаменаціонный трибуналъ, дрожащей рукой вынимаетъ билетъ и, пока отвѣчаетъ предшествующій товарищъ, садится въ сторонѣ на стулъ и обдумываетъ будущій отвѣтъ.

Послѣ того снова подходитъ къ столу. Вопросы экзаменаторовъ и отвѣты экзаменующагося длятся въ среднемъ немногимъ менѣе десяти минутъ, сообразно съ тѣмъ, насколько быстро отвѣчаетъ экзаменующійся.

Насъ около сорока человѣкъ въ классѣ и на то, чтобы

переспросить всѣхъ требуется времени около семи часовъ. Но тѣ, которые „отдѣлялись“, домой не уходятъ, а или продолжаютъ сидѣть въ залѣ, или же толкуются въ коридорѣ до самаго конца.

Каждому хочется знать, какъ держать экзаменъ прочіе товарищи.

Только что отвѣтилъ я. Быстрыми шагами выхожу въ коридоръ.

— Ну, что, какъ? — бросается ко мнѣ цѣлая толпа.

— Выдержалъ, — отвѣчаю я съ чувствомъ полнѣйшаго облегченія.

Экзамена по исторіи — предмету мною любимому — я не боялся, но въ послѣдній моментъ все-таки струсилъ: а вдругъ „срѣжутъ“.

Наконецъ, вызванъ и послѣдній по алфавиту ученикъ. Уставшіе экзаменаторы встаютъ изъ-за стола, а у выхода изъ залы ихъ окружаетъ весь классъ.

— Всѣ выдержали, всѣ, — отбойривается директоръ, — теперь только пожалуйте, господа, за аттестатами.

Мы, оживленно бесѣдуя, расходимся по домамъ.

И такъ какъ мы уже не гимназисты болѣе, то большинство, а въ сущности почти всѣ, первымъ дѣломъ спѣшимъ скинуть съ себя „гимназическую шкуру“.

Обѣдать я обѣщаль у мачехи, а потому, чтобы скорѣе поспѣть, взялъ извозчика.

Однако, предварительно поѣхалъ къ себѣ на квартиру.

— Погоди, — говорю я извозчику, — остановись у подъѣзда.

— Долго пробудете? — вопрошаетъ возница.

— Нѣтъ... минутъ десять, не болѣе.

Черезъ десять минутъ извозчикъ уже смотритъ на меня съ изумленіемъ и даже нѣсколько подозрительно.

Причина вполне понятная: скрылся въ дверяхъ юноша въ гимназической формѣ, а назадъ вернулся молодой человекъ въ сѣромъ пальто, такомъ же пиджакѣ, изъ подъ котораго видна синяя русская рубаха, черной шляпѣ съ широчайшими полями и основательной палкой въ рукахъ.

— Поѣзжай, — говорю я возницѣ.

Тотъ исполняетъ приказаніе, но искоса смотритъ на меня все еще подозрительно: мой маскарадъ ему не всеѣмъ понятенъ.

Кто знаетъ, быть можетъ, я даже какой-нибудь мошенникъ. Всякій вѣдь народъ бываетъ на свѣтѣ.

У мачехи цѣлое торжество. Меня ждуть къ семейному, но, во всякомъ случаѣ, парадному обѣду.

Лидочка, увидѣвъ меня входящимъ, взвизгиваетъ отъ волненія...

Въ солидной дѣвицѣ невольно узнаю маленькую дѣвочку, подругу первыхъ дней дѣтства.

Она находитъ, что „штатское“ ко мнѣ „ужасно какъ идетъ“.

А давно ли, кажется, она, когда я поступилъ въ приготовительный классъ, восторгалась моимъ мундиромъ, находя, что я въ немъ „красавчикъ“...

Не очень давно, только девять лѣтъ тому назадъ.

Меня даже и не спрашиваютъ—благополучно ли сошелъ мой экзаменъ.

Вся моя фигура утверждаетъ это: на мнѣ костюмъ свободнаго гражданина.

Меня поздравляютъ, пьютъ за мое здоровье и прочее въ этомъ духѣ.

И я замѣчаю, что во мнѣ прибавляется изрядная доля важности...

Это видно, между прочимъ, изъ того, насколько независимо я прихлебываю изъ рюмки крѣпкой портвейнъ и дымлю папирсой.

— На какой же ты факультетъ рѣшилъ поступить?— спрашиваетъ мачеха, такъ какъ до сего времени я колебался въ окончательномъ выборѣ.

— На филологическій или юридическій, — говорю я, но всетаки прибавляю:

— Въ крайнемъ случаѣ на естественный или медицинскій, но только не на чисто математическій...

Математикъ я, дѣйствительно, плохой...

По окончаніи обѣда я извиняюсь, говоря, что мнѣ необходимо отлучиться „по одному важному дѣлу“...

Причина уважительная. Меня не задерживаютъ.

„Важное дѣло“ состоитъ въ томъ, что у меня имѣется непреодолимое желаніе прогуляться по главной улицѣ въ штатскомъ костюмѣ...

Какъ будто можно кое-что припомнить по этому поводу.

Что именно?..

Уже не мою ли давнишнюю прогулку по городскимъ улицамъ въ гимназическомъ мундирѣ?

Право не знаю.

Но я не одинъ. На главной улицѣ такихъ молодыхъ людей цѣлые десяткп...

Да оно и быть иначе не можетъ, если принять во вниманіе, что въ городѣ цѣлыхъ четыре гимназіи.

Что касается „реалистовъ“, то они сегодня отсутствуютъ: въ реальномъ училищѣ кончаютъ экзамены только черезъ два дня.

Но и намъ еще предстоитъ однажды нарядиться въ гимназическую форму...

И этотъ разъ ужъ на самомъ дѣлѣ „последній разъ“.

Именно въ день раздачи „аттестатовъ зрѣлости“. Директоръ вручаетъ каждому изъ насъ драгоценный документъ, жметъ руку „какъ равный гражданинъ равному гражданину“, говоритъ соответственную столь важному въ нашей жизни случаю рѣчь, и на этомъ кончаются наши долгиіе счета съ гимназіей.

Дружной группой выходимъ мы изъ парадныхъ дверей гимназіи (это для пуцей торжественности, ибо вообще для гимназистовъ существуютъ боковые входы, а парадный лишь для учительскаго персонала и частныхъ лицъ; но теперь и мы „частныя лица“) и, толпясь у входа, перекидываемся возгласами:

— И такъ въ четыре часа.

— Да.

— На пристани.

— Никто пусть не опаздываетъ.

— Позже четырехъ ждать не будемъ.

— Смотрите.

А въ четыре часа дня у лодочной пристани или, такъ называемаго, «перевоза» черезъ рѣку собрался весь классъ.

Но это уже не были «гимназисты», форма отсутствовала, вмѣсто мундировъ и кепи виднѣлись всевозможнѣйшихъ цвѣтовъ пальто, пиджаки, широкополыя шляпы.

Владѣлецъ лодокъ Прокопъ, какъ называли его въ городѣ, немедленно же отпустилъ «на прокатъ» должное количество лодокъ.

Лодкахъ въ шести мы размѣстились и, черезъ нѣкоторое время съ веселыми пѣснями уже плыли внизъ по рѣкѣ.

Внизъ по матушкѣ по Волгѣ,
По широкому раздолью...

Такъ, довольно нестройно, несло съ одной лодки, а другая заливалась по своему:

Гой ты Днѣпръ, ты мой широкій,
Ты кормилецъ нашъ родной.

А на третьей дружно гремѣла старинная студенческая пѣсня.

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!..

Пѣвали мы эту пѣсню и въ гимназiи, но только теперь получили полное право пѣть ее по настоящему, на положенiе студентовъ.

Быстро, обгоняя другъ друга, словно состязуясь между собою, скользили лодки по синимъ волнамъ рѣки.

Недалеко уже и мостъ, а за нимъ, на берегу широкаго залива, Никольская слободка.

Эта слободка—любимое мѣсто для прогулокъ всей учащейся молодежи города.

„Окончившіе гимназисты“, по изстари заведенному обычаю, неизмѣнно праздновали „выпускъ“ общей поѣздкой на лодкахъ въ Никольскую слободку.

Приблизившись къ цѣли, мы увидѣли на берегу нѣсколько уже ранѣе насъ причалившихъ лодокъ и группу другихъ молодыхъ людей.

На берегу послышались крики.

— Эй, какая гимназiя?

IV 2526

— Вторая, а вы?—отзывались съ нашихъ лодокъ.

— Третья.

— Дорогу второй гимназіи, да здравствуетъ вторая гимназія!—неслось съ берега.

— Vivat четвертая!—отвѣчали мы взаимными привѣтствіями.

И не успѣли мы высадиться и смѣшаться съ третьегимназистами, какъ показались еще лодки.

— Эй, кто тамъ?—кричали мы.

— Первая гимназія,—отзывались съ лодокъ.

— Ура, первая гимназія!—кричали береговые.

Черезъ нѣсколько времени подѣхала, встрѣченная бурными привѣтствіями, и четвертая гимназія.

Около ста пятидесяти юношей собрались праздновать день „выпуска“.

Тамъ и сямъ неслись пѣсни. Гимназисты всѣхъ четырехъ гимназій образовали одно общее, радостное, молодое, веселое...

А вечеръ надвигался, солнце спускалось все ниже и ниже, темнѣло небо...

— Эй, господа, зажигать костры!

Молодежь разсыпалась по берегу, собирая сухія вѣтви, палки, камышъ и вообще весь возможный для горѣнія матеріалъ.

И, когда небо потемнѣло окончательно, при блескѣ первыхъ звѣздъ, весь рѣчной берегъ озарился поэтическимъ заревомъ пылающихъ костровъ.

А пѣнье, смѣхъ, крики и разговоры неслись все громче и громче...

Только уже рано утромъ всѣ двадцать пять лодокъ одновременно двинулись въ обратный путь.

Такъ прощались мы съ гимназіей.

На пристани разбились на отдѣльныя группы и послѣ того... уже никогда не собирались всѣ вмѣстѣ.

Различные университеты, а потомъ и жизнь разбросали насъ въ разныя стороны...

Повѣсть для дѣтей, съ рис. М. 902 г., ц. 65 к Въ колѣнк. пер. 1 р. 25 к.

Гриммъ, братъ я. Библиотека сказокъ собранныхъ бр. Гриммъ. Перев. подъ редакц. А. Терешкевича. Изд. 2-е, вв. 1—2 младшій возрастъ. 3, 4, 5, 6. —средній возрастъ; 7, 8, 9 и 10—старшій возрастъ, съ рисун. ц. по 20 к. Въ папкѣ по 2 вып. 50 к.

— „Дѣдушкины сказки“. 8 изб. сказокъ съ рисун. М. 99 г. ц. 45 к. Въ папкѣ 60 к.

— Избранныя сказки. Съ рис. ц. 35 коп. Въ папкѣ 50 коп.

Диккенсъ. Скрага Скрудль или три добрыхъ духа. Перев. Сердобольскаго Изданіе 3-е. М. 900 г. ц. 35 к.

— Малютка Тимъ и др. Разск. для дѣтей Съ рис. М. 902 г. ц. 45 к. Въ папкѣ 60 к.

Джемисонъ, Леди Дженъ. Пов. съ рис. М. 99 г. ц. 80 к. Въ папкѣ 1 р.

Догановичъ, А. Отзвѣчивыя сердца. Разск. для дѣтей, съ рис. М. 1901 г. цѣна 30 к. Въ папкѣ 45 к

— „Васильки“. Раз. и сказ. для мал. дѣт., съ 20 рис. М. 98 г. ц. 30 коп. Въ папкѣ 45 коп.

Добранравовъ. Н. Изъ простой жизни. Разказы для дѣтей. Съ рис. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— Совраскина доля. Пов. съ рисун. ц. 25 к. Въ папкѣ 45 к.

— Исторія одного поугая. (Разказанная изъ самимъ). Пов. съ рисун. ц. 30 к. въ папкѣ 45 к.

Додэ, А. Прекрасная Нивернеза. Исторія одного стараго судна и его экипажа. Съ рисунками, ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— Привлеченіе Тартарена, ц. 50 к. Въ папкѣ 65 к.

Елифановъ, Изъ Игорьъ Кн. Новгородъ-Сверскій. Ист. разск. съ рис., ц. 20 к. Въ пап. 35 к.

— Герой былого времени. Ист. пов. изъ жизни Князя Александра Невскаго. Съ рис. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

Жоржъ-Зандъ. Походенія Грибуля. Съ рисун. ц. 45 к. Въ папкѣ 60 к. Иппантьевъ. Въ плѣну у хивинцевъ. Разказъ. Съ рис. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

Кинлингъ. Смѣлце мореплаватели. Разказъ. Съ рисунками ц. 50 к. Въ папкѣ 65 к

Козлова. Поюшій камень. Кавказ. легенда. Съ рис., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к

— Кольцо. Разск. Съ рис., ц. 25 к. Въ папкѣ 40 к.

Коринфскій, А. В. „На ранней зорькѣ“ Стихотворенія для дѣтей, съ рис. Слб. 96 г. ц. 50 к. Въ папкѣ 70 к.

Кругловъ А. В. „Превращенія Зины“, для дѣтей младш. возр. съ рис. изд. 2-е. М. 900 г. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Все пріатели“. Разск. для дѣтей млад. возраста, съ рис. Изд. 3-е. М. 1903 г. цѣна 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— Далекое Рождество. Изъ дѣт. восп., съ рис. Изд. 2-е. М. 99 г. ц. 30 к. Въ пап. 45 к.

— „Въ гостяхъ“. „Въ Крыму“. Очеркъ. Изъ раз. пріят. Изд. 2-е съ рис. ц. 20 к. Въ пап. 35 к.

— „Котофей Котофеевичъ“, Пов. для дѣтей, съ рис. Изд. 3-е. Ц. въ пап. 1 р.

— „Первое говѣнье“ (изъ дѣтскихъ воспоминаній). Съ рисун. Изд. 2-е. М. 900 г. ц. 40 к. Въ папкѣ 55 к.

— „Изъ золотого дѣтства“. Повѣсть для дѣтей, съ 55 рисун. въ текстѣ. Изд. 4-е. М. 1903 г., ц. въ папкѣ 1 р.

— „Разные разказы“ для дѣтей школ. возр. (2-е изд. книги. Подарокъ на елку). Съ рис. М. 198 г. ц. 1 р. Въ папкѣ 1 р. 25к.

— „За чужимъ горбомъ“. Пов. для дѣтей. Изд. 4-е. Съ рис. ц. 80 к. Въ папкѣ 1 р.

— „Падэръ и Одэ“. Пов. для дѣтей. М. 901 г., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Разными дорогами“. Пов. для дѣтей. Изд. 2-е. М. 901 г. ц. въ пап. 1 р. 25 к.

— „Сердобольныя“. Разск. М. 903 г., ц. 25 к. Въ папкѣ 40 к.

— На скользкомъ пути. Разск. для дѣтей съ рис. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

Кругловъ и Догановичъ. „Маша“. Пов. съ рисун. М. Михайлова. Изд. 3-е ц. 40 к. Въ папкѣ 55 к.

Лаухина, М. „Красавка разбойникъ“. Пов. для дѣтей. Съ рис. ц. 80 к. Въ папкѣ 1 р.

— Соловейко. Разск. для дѣтей. Съ рис. ц. 25 к. Въ пап. 40 к.

— Свѣтлые дни. Разск. Съ рис. ц. 25. Въ папкѣ 40 к.

— Прѣмшъ. Повѣсть изъ жизни одной дѣвочки, цѣна 35 к. Въ папкѣ 50 к.

Леббокъ, Дж. „Красоты природы

и ея чудеса". Перев. съ англ. Изд. 2-е М. 1902 г. ц. 65 к. Въ папкѣ 80 к.

Лукашевичъ. Свѣтлячекъ. Разсказы, сказки и сценки для мал. дѣтей. Съ рисун. М. 98 г. Въ папкѣ ц. 80 к.

Лукьяновскій. Русск. на-родн. сказки и быль. Съ рисун., 2 т. ц. ц. по 80 к. Въ пап. по 1 р.

— Сказаніе о томъ, какъ построена церковь Трифона, ц. 20 к. Въ папкѣ 30 к.

Лѣвсиичій, А. н. „Приключенія Ивасека“ мален. хохла. Поэма въ стих. съ рис. Из. 2-е. М. 96 г. ц. 30 к. Въ пап. 45 к.

Львовичъ, В. По родному краю. Сборникъ статей по отечествовѣднію. Книга для чтенія въ школѣ и дома. М. 1902 г. ц. 1 р. Въ папкѣ 1 р. 25 к.

— Народы русскаго царства. Сборникъ статей по этнографіи. Книга для чтенія въ школѣ и дома. Съ рисун. въ текстѣ. М. 1902 г., ц. 2 р. Въ переп. 2 р. 50 коп.

Любичъ-Кожуровъ. Въ царствѣ пчелъ и муравьевъ. Пов. Съ рис., ц. 30 к., въ папкѣ 45 к.

— „Подкидышъ“. Разсказъ изъ жизни птицъ. Съ рис. ц. 30 коп. Въ папкѣ 45 к.
— Нѣтъ худо безъ добра. (Во имя любви). Разск. Съ рис. ц. 25 к. Въ папкѣ 40 к.

— Надзиратель и др. разсказы изъ жизни птицъ. Съ рисунками ц. 40 к. Въ папкѣ 55 к.

Любичъ-Кожуровъ и Медвѣдевъ. Въ стойлахъ. Изъ жизни лошадей. Съ рис. ц. 35 к. въ пап. 50 к.

— „Друзья-Пріятели“. Разск. изъ жизни животныхъ. Съ рис. ц. 75 к. Въ пап. 1 руб.

Маминъ-Сибирякъ, Д. „На вольномъ воздухѣ“ (на волю). Разск. для дѣтей, съ рис. М. 95 г. Въ папкѣ 45 к.

Маутнеръ. Исторіабѣднаго Оеда. Прикл. мален. словака, ц. 30 к. Въ папкѣ 45 коп.

Медвѣдевъ, Л. Первые шаги. Разск. для дѣтей. Съ рисунк. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— Изъ жизни писателей. Воспоминанія для дѣтей, ц. 45 к. Въ папкѣ 60 к.

— Господинъ котикъ. Разск. Съ рис. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— Въ гимназій. Стран. изъ воспоминаній ц. 1 р. 25 к. Въ папкѣ 1 р. 50 к.

— Приключенія мальчика, раз. Съ рисунк. ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

Митропольскій Ив. — „Изъ жизни“. Разск. для дѣтей, съ рисунк. М. 99 г. ц. 40 коп. Въ папкѣ 55 к.

— „Рыцарь“. Разск. изъ исторіи одного медвѣда. М. 1900 г. ц. 25 к. Въ пап. 40 к.

— „Сторожъ“ и др. разск. съ рисунк. М. 1902 г. ц. 30 коп. Въ папкѣ 45 к.

— „Артемовы питомци“. (Три арабченка). Разсказъ. Съ рисунк., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Оеодоръ Коробейникъ“ и др. разсказы. Съ рисунк., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Тяжелый годъ“. Разсказы изъ 12 года. Съ рисун., ц. 40 к. Въ папкѣ 55 к.

— „Муравьи спасители“ и др. раз. для дѣтей, съ рис., ц. 30 к. Въ папкѣ 45 к.

— „Разсказы про сѣдую старину“. Съ рисун., ц. 30 коп. Въ папкѣ 45 к.

Монгомери. „Его не поняли“. Повесть для дѣтей. М. 1901 г., ц. 45 к. Въ папкѣ 60 к.

Мюзереръ. „Пережитое“. Воспом. Съ рис. ц. 50 к. Въ пап. 65 к.

Николаевъ. „Палестина“, геогр. оч. ц. 20 к.

Никольскій А. М. „Уроки жизни“. М. 902 г. ц. 60 коп. Въ папкѣ 65 к.

— „Наши животныя“. Очерки съ рисунк. М. 902 г., ц. 50 к. Въ папкѣ 65 к.

Позняковъ, Н. „Блесточки“, воспоминанія и разск. для дѣтей, съ рисунками. М. 99 г., ц. 40 к. Въ папкѣ 55 к.

Потапенко, И. Н. „Золотая медаль“. Съ рисунками. М. 99 г., ц. 50 к. Въ папкѣ 65 к.

Разинъ, А. Разоренный годъ. Истор. пов. изъ 1812 г. съ рис. Изд. 4-е, ц. 40 к. Въ пап. 55 к.

— Гетманъ Степанъ Острица. Истор. пов. Съ рис. Изд. 4-е, ц. 40 к. Въ папкѣ ц. 55 к.

Разинъ, А. „Жизнь не для себя“ Пов. для дѣтей, съ рис., изд. 3-е. ц. 30 к. Въ папкѣ ц. 45 к.

Сергѣенко. Хитрецъ. Разсказы для дѣтей, съ рис. М. 99 г., ц. 30 к. Въ папкѣ ц. 45 к.

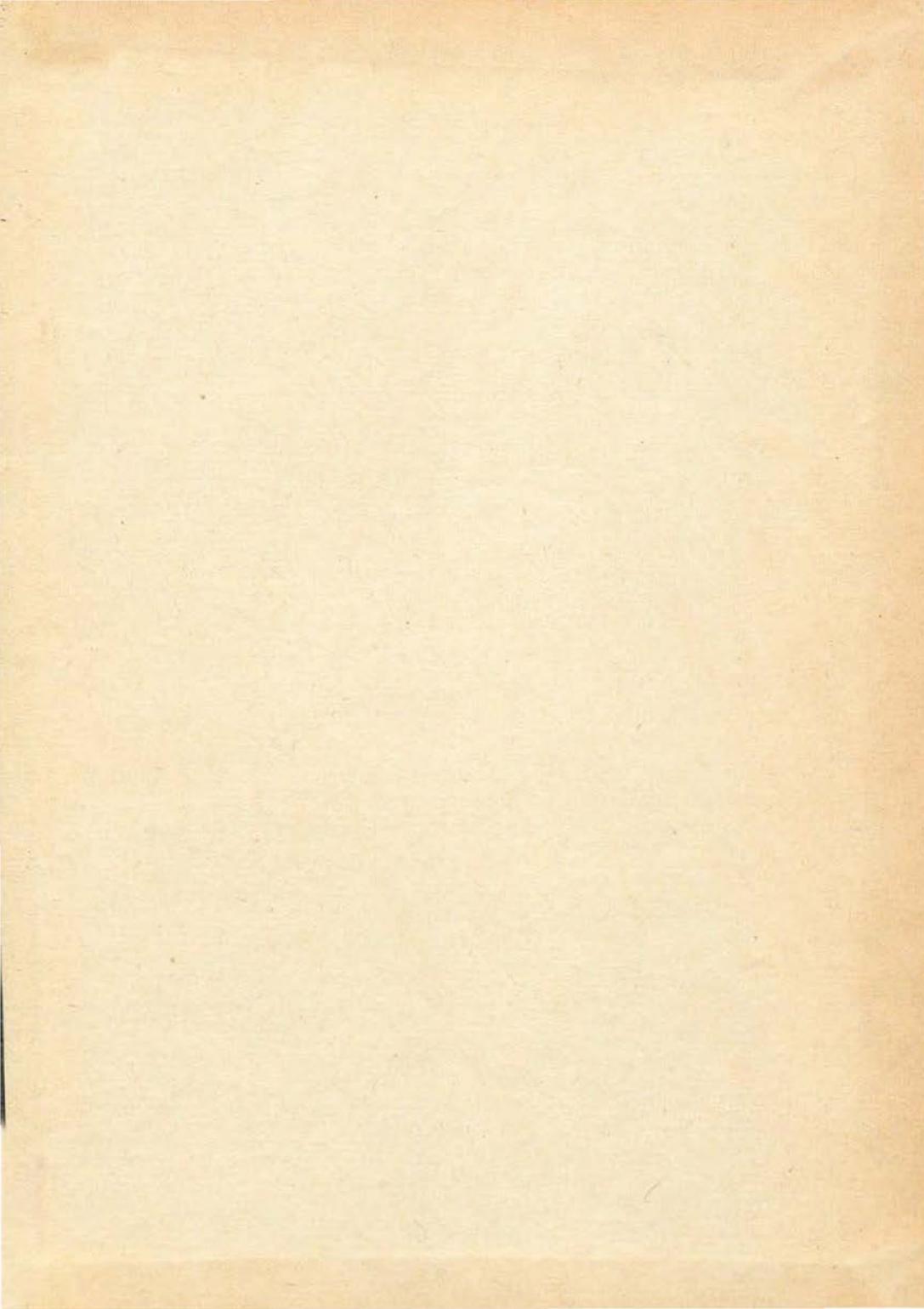
— Галя. Повесть для дѣтей, съ рис. ц. 1 р. Въ пап. 1 р. 25 к.

Сизова. Князь Вячко. Истор. пов., ц. 25 к. Въ пап. ц. 40 к.

Цѣна 1 руб. 25 коп., въ папкѣ 1 руб. 50 коп.

0

PKT
MB





2007337452